

ВЛАДИМИР
ЛУГОВСКОЙ

ВЛАДИМИР
ЛУГОВСКОЙ

БИБЛИОТЕКА
ПОЭТА

Советская
песня

Gi

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Редакционная коллегия

*В. Н. Орлов (главный редактор), В. Г. Базанов, Б. И. Бурсов,
Б. Ф. Егоров (зам. главного редактора), В. М. Жирмунский,
В. О. Перцов, А. А. Прокофьев, А. А. Сурков, А. Т. Твардовский,
Н. С. Тихонов, С. И. Чиковани, И. Г. Ямпольский*



*Большая серия
Второе издание*



С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ

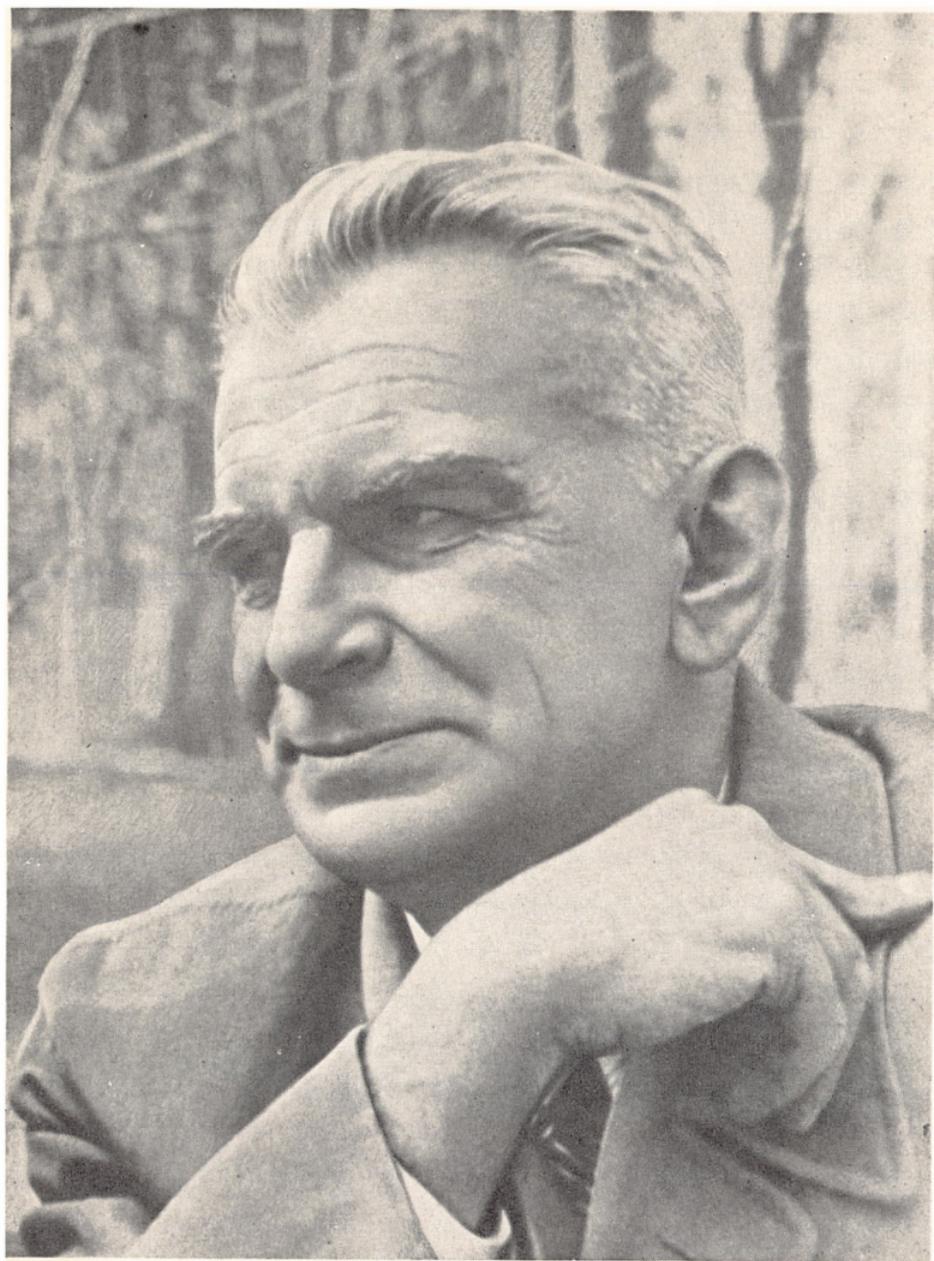
ВЛАДИМИР ЛУГОВСКОЙ

**СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМЫ**

*Вступительная статья
и составление
В. Огнева*

*Подготовка текста и примечания
Н. Банк*

В книгу включены лучшие стихи В. Луговского, одного из выдающихся советских поэтов, чье творчество, уходящее корнями в 20-е и 30-е годы, столь живо, страстно и молодо прозвучало в середине 50-х годов, когда были созданы его получившие широкое признание читателями книги «Солнцеворот», «Синяя весна» и «Середина века».



В. А. ЛУГОВСКОЙ

1

«Мы, поэты двадцатых годов...» — писал Владимир Луговской в одной из своих статей. Он любил подчеркивать — «двадцатых». Он знал, что это значит. Он был романтик...

«Все мое творчество, — говорил В. Луговской на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, — вся моя жизнь поэта была посвящена... борьбе за... *мир разума*, конечного порядка, справедливости, борьбе против черного и страшного хаоса старого мира. Объектом этой борьбы был я сам, мое социальное поколение и все, что входило в поле моего зрения, мысли и чувства...»¹

Он был романтик, — он мечтал о «*конечном порядке*».

«Мое поколение... встретило мировую войну в тринадцать лет и в шестнадцать лет услышало октябрьские залпы...»²

В. Луговской (он родился 1 июля 1901 года) принадлежал к тому славному поколению советской поэзии, к которому относятся Э. Багрицкий, И. Сельвинский, Н. Тихонов, П. Антокольский, М. Светлов, — поколению, начавшему творческий путь в 20-е годы и передавшему эстафету революционной поэзии поэтам последующих времен.

В. Луговской ничуть не преувеличивал, когда говорил: «Так яростна была наша жажда перестройки, так трудна была ломка, так ощутительна трагедия».³ Это было сказано в 1934 году. А в одной из последних дневниковых записей поэта читаем: «Знаю, что жить

¹ В. Луговской, Раздумье о поэзии, М., «Советский писатель», 1960, с. 171.

² Там же, с. 172.

³ Там же, с. 172.

мало остается, и знаю, что писал не так, как хочется, и вижу все, в каждой строке вижу недостатки. Иногда только всплывает что-то ночью. . .»¹ И с трибуны в 1934 году и в предсмертной дневниковой записи Луговской выразил себя настоящего, — таким он был по воле, в конечном счете, не только личных, но и исторических обстоятельств.

Поэты-ровесники Луговского начинали в буре романтических надежд, они испытали на себе всю сложность эпохи пятилеток, героический взлет духовной энергии народа в годы Отечественной войны. Психологическая сложность перестройки веками складывавшихся представлений о мире и о человеке, не простая диалектика идеала и реальных возможностей его воплощения, — не могли не придать долгому и честному пути поэта драматического характера. Частный опыт художника, делавшего «длинное дело страны», здесь красноречив не в меньшей степени, нежели общий.

В. Шкловский писал: «У разных писателей разная судьба. Есть писатели однократные, которые начинаются быстро, сильно и потом не могут даже повторить себя. Очень немногие писатели начинаются многократно. Еще меньшее количество медленно вырастает, как будто принимает от жизни новые притоки». Так рос Луговской. «Он рос как ель, — продолжает Шкловский. — Первые пять-шесть лет ель растет как ребенок, не перегоняя его. Потом ель упирается в землю желтыми лапами и гонит в небо зеленую шумящую стрелу, под тенью которой автобус кажется маленьким».²

Шкловскому вторит П. Антокольский: «Случай Владимира Луговского оказался особым случаем. Его уже не было в живых, а он продолжал на наших глазах изменяться и расти. . . Дело в том, что после его смерти выходили новые книги Луговского. Каждая из них раскрывала его заново, в новом ракурсе. И эта удивительная посмертная щедрость казалась нам чудом. . .»³

Антокольский не говорит только о том, что «чудо» заключалось для нас не в самом по себе долголетьи и нарастании таланта, а в том, что взлет творческой энергии Луговского в середине 50-х годов последовал за трагическим периодом кризисного пятнадцатилетия. . .

Он был романтик. Но важно — в какое время быть романтиком. Эмоциональный контекст времени — реальный фактор. Луговской был

¹ Архив поэта.

² «Страницы воспоминаний о Луговском», М., «Советский писатель», 1962, с. 112.

³ Там же, с. 32.

романтиком и тогда, когда время подхватывало поэзию на своих крыльях, он оставался им и тогда, когда ветер (любимейший образ Луговского) по личным или общим причинам не мог надувать паруса его поэзии. Отсюда — и сила и слабости Луговского.

Может быть, самая главная черта той стихии, которую мы именуем романтической поэзией, есть чувство непомерности. Леди Макбет говорит мужу: *напрягись* для подвига. Вот это напряжение для подвига и есть постоянное состояние героя в романтическом произведении. Луговской писал:

Я жить хочу! И глыба сил моих
Не хочет распадаться. Так живу я,
Как будто завтра должен умереть.
Цветет ли дерево, идет ли человек —
На всё смотрю с высоким удивленьем,
С безмерной благодарностью...

«Самым драгоценным» в поэзии и облике Луговского П. Антокольский считает «напряженный лиризм», «восторг перед жизнью». ¹ Мир у него «распахнут настезь», прибой раскинулся «на триста верст», «солнце взлетает, медью волос звеня», эпоха у него «рычит», а эпитеты размашисты и гиперболичны: «стоградусный шторм», «огромное молчанье», «исполинская ночь», даже кокон у него — «чудовищный». Добрым, мудрым Гулливером казался поэт К. Паустовскому. И когда в зрелые годы свои Луговской писал, что «добрые великаны» нам очень нужны, он высказывал свое сокровенное желание, чтоб непомерность страсти служила добру, не была разрушительной. И здесь-то была ахиллесова пята его романтизма. Он всегда стоял навтыжку перед эпохой, подобно нерассуждающему солдату. Но у него было чистое сердце и богатое воображение.

Люди, близкие Луговскому, отмечали большое несоответствие его внешнего облика с внутренним. Широкоплечий, рослый красавец с могучим разлетом удивительных бровей, рокошущий бархатный бас, горделивый профиль, строевая выправка, изысканные манеры, — этот облик, казалось, дышал спокойной уверенностью в себе и преизбытком силы. Но как обманчиво было первое впечатление! За всем этим скрывались наивное чистосердечие, доброта и, если хотите, слабость, склонность к рефлексии, крайняя уязвимость. «Он был шедр, добр, раскрыт настезь... Но прежде всего честен и чи-

¹ «Страницы воспоминаний о Луговском», с. 131.

стосердечен. Даже свойственная ему рисовка, даже самолюбование не были позой в полном смысле слова. Нет, это был перехлест богатых душевных сил, — вечно артистическое, или актерское, свойственное многим одаренным людям»,¹ — писал его близкий друг П. Антокольский.

Все это так. Но в контексте времени личные качества таланта опять-таки — отражение каких-то существенных сторон действительности. И искренний максимализм Луговского, имевший обратной стороной духовную растерянность, и попытки преодолеть эту растерянность рассудочными средствами, в том числе и рисовкой, — все это черты духовной биографии не одного Луговского.

2

В 1925 году А. В. Луначарский, тогда один из редакторов «Нового мира», напечатал первые поэтические опыты В. Луговского: «Год двадцатый» и «Разведка». Стихи о гражданской войне были наивны, сумбурны, но уже здесь определилась захлебывающаяся от волнения назывная скоропись Луговского («Звезда и шлем, звезда и ночь и слякоть, казачья шашка, церковь и Арбат»), его эмоционально-экспрессивные эпитеты («сумбурный дождь», «радостные лужи», «трущобный старый ужас»), его синтаксис повторных восклицаний («Вот эта ночь! Вот это год двадцатый!»... «Вот эта жизнь! Вот эта кровь и нервы!»), наконец типично «луговское» применение далеких ассоциаций («ползти и падать первым в пальбу, в теплушку, в рыжие года»).

Как всякий художник, Луговской не стоял на месте в своем развитии, но, в отличие от многих поэтов, он рано определил свой стиль. Это был пафосный рассказ, с особой манерой риторического синтаксиса, с неточным, повышено экспрессивным употреблением слова. Образная смелость выростала не на базе парафраза, основой ей служила фактография, смещенная силой чувства до образа.

До появления первых стихов в прессе Луговской уже много лет писал. Вырос поэт в семье преподавателя литературы Первой московской мужской гимназии. Детские годы его протекали в Москве, в одном из тихих арбатских переулков, среди книг, музыки (мать будущего поэта была певицей), старинных гравюр, общения его родителей с такими людьми, как В. Брюсов, В. Ключевский, П. Саку-

¹ «Страницы воспоминаний о Луговском», с. 22.

лин. Отец поэта был знаком с Л. Н. Толстым. В семье Луговских царил покой, дружеское взаимопонимание. Луговские были вполне лояльны к советской власти. Более того, это была та самая русская интеллигенция, которая искренне ждала и приближала революцию. А. Ф. Луговской, отец поэта, сразу же после Октября пошел работать в Наркомпрос.

Казалось бы, обстановка крайне благоприятствовала спокойному и гармоничному развитию дарования В. Луговского. Но подобно будущему своему соратнику по поэзии Илье Сельвинскому, В. Луговской, не доучившись в Первом Московском университете, сбежал в армию. Его влекли «борьба... романтика революции, необыкновенный подъем». В 1919 году он стал курсантом, в 1921-м окончил Военно-педагогический институт, служил в Кремле, был политпросветчиком. Так или иначе, вплоть до 1928 года, когда поэт окончательно определился и «воспринял литературу как профессию»,¹ В. Луговской был связан с Красной Армией, вел кочевой, спартанский образ жизни.

Отзвук этих годов доносит поэма «Жизнь» (1932). И может быть, первым романтическим расчетом с «законченным в себе приютом вещей» была гордая причастность героя поэмы к этому неуютному миру личной свободы и несвязанности с устойчивым бытом. Это был «огромный, горький, черствый, вздыхающий нетерпеливым телом» мир. Блоковский ветер тревоги, окоем кровавых зарев, ночных зовов, жажда подвигов во имя Революции — вот что манило юношу Луговского, с его очень темпераментным, очень честным, очень искренним, но немного книжным представлением о революции.

Первой книгой стихов Луговского был сборник, выпущенный в 1926 году кооперативным издательством «Узел». Назывался он «Сполохи». На титульном листе красовалось изображение издательской марки работы В. Фаворского: «узел» состоял из розы и пучка орудий производства поэта — современные карандаши и ручки соседствовали с гусиным пером, правда довольно ощипанном...

«Сполохи» начинались стихами о буслаевской Руси — разгульными, дерзкими, диковатыми:

И, словно напившись прадедовской браги,
Напяливши ночь на плечи,
Сходились лесов вековые ватаги
На злое, весеннее вече.

¹ Автобиография. — ЦГАЛИ.

Ощущение России как забубенной вольницы, жестокой, бездумной, ошалевшей от своей «сильной силы», шло от книжного (по В. Ключевскому?) восприятия отечественной истории, перенесенной на недавние события гражданской войны. И все это было помножено на рвущуюся из души готовность к личному подвигу, на романтический темперамент молодости (цитирую раннюю редакцию):

Я в полночь рванул дощаную дверцу, —
Ударило духом хвои.
Распалось мое ошалевшее сердце,
И стало нас снова — двое.

И ты, мой товарищ, ватажник каленый,
И я, полоумный гусярник;
А нас приволок сюда парус смоленый,
А мы — новгородские парни. . .

«Ушкуйники», «Отходная», «Дорога», четыре стихотворения из цикла «XVIII—XIX в.» непосредственно и довольно органично переходят в стихи о гражданской войне. И в дальней и в ближней истории поэт видит ее железную поступь, будущее мнится ему достигнутым через жестокое очищение:

Да ставить кресты-голубцы на могилах,
И рваться по крови и горю. . .

(«Ушкуйники»)

Но Русь выворачивается наизнанку. . .

(«Начало века»)

Завтра — неизвестная страна.
Завтра — это страх и напряжение. . .

(«Эта ночь проходит не напрасно»)

Далекий прожектор бродил и не гас,
И ночь мне сказала прямо:
«Поймешь ли ты, мальчик, на этот раз
Железа закон упрямый?»

(«Дредноут „Марат“»)

Много грозных слов было сказано поэту по поводу стихотворения «Дорога», где есть эти сакраментальные строки:

Мне страшно назвать даже имя ее —
Свирепое имя родины.

А мотив этот весьма стойкий в творчестве Луговского. В «Повести»: «И страшная, русская, злая земля». В «Жестоком пробуждении» (1935): «Будь проклят. После, нынче и раньше, дух страшного снега и страшной природы!» Понятно, что в условиях 1937 года могло выйти постановление Президиума СП СССР, квалифицирующее как «политически вредное» стихотворение В. Луговского «Жестокое пробуждение» и некоторые иные стихи. Понятно также, что поэт мог тогда расписаться в их политической «вредности».¹

В «Дороге», начинавшейся строками: «Дорога идет от широких мечей, от сечи и плена Игорева», указывались и другие источники национальной родословной: «от белых ночей, Малютиных палачей, от этой тоски невыговоренной...», «от смертного духа морозного, от синих чертей, шевелящих в аду царя Иоанна Грозного». Поэт совершенно определенно высказывает свое отношение к тем имевшим место в российской истории фактам, когда родина наша пробивалась к своему будущему «по крови и горю». И рефрен «Азия», четырежды повторенный и завершающий стихотворение «Белый офицер» (из поэмы «Сибирь»), — отнюдь не простое «междометие», как об этом писалось в литературе о Луговском, для него это — символ «азиатчины» в том, ленинском, понимании, чему синонимом следует считать реакционность и мракобесие. Для Луговского, мыслящего исторически уже в ранних стихах, белогвардейщина и традиция азиатчины — взаимосвязаны, как «смертный дух морозный» ассоциирован с холодом иного рода — адом пыток, жестокости, насилия и деспотизма. И поэтому смехотворна та прямолинейная рапповская критика, которая защищала от поэта... «русскую природу» в лице белого снега, и поэтому ошибается сегодня Л. Левин, считая, что «стихотворение только выиграло» от того, что Луговской «вычеркнул» из него две заключительные строфы, чем переместил «центр тяжести... на лирическую тему».²

Критически оценивался финал стихотворения «Дорога»:

И нет еще стран на зеленой земле,
Где мог бы я сыном пристроиться.
И глухо стучащее сердце мое
С рожденья в рабы ей продано...

¹ В. Луговской, О моих ошибках. — «Знамя», 1937, № 6, с. 281—284.

² Л. Левин, Владимир Луговской, М., 1962, с. 76.

Рапповская критика неверно понимала строки о других «стра-нах» и «рабстве». Герой сердцем срощся с родиной, и нет в мире места, которое было бы в силах оторвать его от «свирипой», но своей земли. Но сердце бунтует против *рабства*, против слепой при-верженности всему тому темному и страшному, что позже Лугов-ской назовет «черным и страшным хаосом старого мира». Собствен-но, если бы было иначе, то последующее признание — «так яростна была наша жажда перестройки, так трудна была ломка, так ощути-тельна трагедия» — в пору было бы счесть преувеличением.

Но о какой ломке, собственно, шла речь? Критик А. Селиванов-ский, работы которого отличались, может быть, наибольшей логи-ческой последовательностью в рапповской критике 20—30-х годов, трактует это в применении к Луговскому так: «Революция еще не сумела перевоспитать все *существо поэта*». ¹ Считалось, что эпоха перековывает, переплавляет, налаживает. «Трагедией» считалась не-кая задержка в технике производства или явный брак, но вовсе не сам процесс ломки как таковой. Но, собственно говоря, нормальным можно считать только органический рост художника, а вовсе не «жестокую операцию», «лечение самыми кардинальными мерами» для «перехода на новую социальную позицию», чего требовали от художника рапповцы.

И сегодня еще в критике не изжито упрощенчество. Почему-то стало почти общим местом трактовать конкретные детали стиха Луговского как расширительные, символические. В «Сполохах»: «Я понял *несложный* и честный урок двенадцати длинных орудий», «*Простая* бытия дилемма: жизнь или залп — все впереди», «Винтовка *проста*, А жизнь — во сто крат *прощел*». Из работы в работу о Лу-говском переключиваются эти «упрощения» поэта, «улики» его идейной незрелости. Но полно! Это домыслы и упрощения самой критики. Поэт вовсе не думает, что жизнь человеческая проще винтовки. При-веденные примеры утверждают очевидное: жизнь *на войне*, рядом с ежеминутной смертью — упрощена до элементарной дилеммы: жизнь или смерть.

И сердце укрыто шинельным сукном,
И думать о доме — не надо.

(«Повесть»)

Стихи о гражданской войне — это сознательный сгусток воли, это констатация простейшей истины, что тот, кто избрал путь бури,

¹ А. Селивановский, В литературных боях. Избранные статьи и исследования (1927—1936), М., 1959, с. 421.

не может питать иллюзий: в судьбе бойца все легендарно, обрывисто, кратко — как миг подвига. Но такое понимание боевых будней революции исполнено и особой мужественной романтики, и известной трезвости.

Недаром поэзию Луговского подхватят на щит предвоенные поэты, К. Симонов например.

«Груз головы», о котором говорит Луговской в стихотворении «Повесть», — не синоним идейной сознательности, а синоним пустой рефлексии. Позднее мысль поэта о волевой собранности окажется развернутой в четвертой поэме из книги «Жизнь». Пока же Луговской дает мгновенный портрет революции, вырванный из тьмы подобно блеску молнии:

Ты ли, юность, позвала,
Ты ли полюбила
Вспененные удила,
Боевую силу?
Письма в десять рваных строк,
Шаг усталой роты,
Штык, наточенный остро,
Грохот поворота?

(«Рассвет»)

О том, что в этом прямолинейном императиве Луговской был не одинок, свидетельствуют чрезвычайно характерные строки Н. Тихонова, написанные примерно в то же время: «На повороте пусть будет буря ремеслом, и всё, что против, — всё на слом...» («Лицом к миру»).

3

Страна переходила к будничной, черновой работе восстановления. Встали новые вопросы и перед культурой молодой республики. 20-е годы прошли под знаком поляризации школ и направлений, кристаллизации реально складывающихся взглядов на будущее искусства. Школы были закономерным этапом. Конечно, в их пестроте и сумбурности деклараций, случайности комбинаций разных индивидуальностей в пределах одной группы отражалась и зыбкость, и анархичность общественных представлений, не только эстетических.

Новаторский пафос советского искусства не мог не вылиться в полемические на первых порах по отношению к прошлой культуре

формы. Споры и борьба школ означали выбор пути. Но этот выбор сделала логика классово-борьбы, а не декларации творческих групп. Школы были распущены в 1932 году.

В 1930 году прекратила свое существование и литературная группа конструктивистов (ЛЦК), в которой с 1926 года участвовал В. Луговской.

Перечитывая сегодня брошюру «Знаем (Клятвенная конструкция конструктивистов-поэтов)», сборники «Мена Всех», «Госплан литературы», «Бизнес», поражаешься той редкой путанице и невообразимой претенциозности, какой полна «теоретическая» часть программы ЛЦК. Но если оставить в стороне выпяченную метафизику теоретика ЛЦК К. Зелинского, а исходить из живой практики, то весь конструктивизм умещался в могучей самобытности Ильи Сельвинского, так как ни Багрицкий, ни Инбер, ни Агапов, ни Габрилович ничего общего с эстетикой ЛЦК не имели.

Сложнее было с Луговским. Он поистине нашел себя в конструктивизме. Рассудочность, которая в «Сполохах» была едва лишь означена, полностью восторжествовала в «Мускуле» (1926—1928). «Он самый ортодоксальный и самый последовательный, он более четкий конструктивист, чем сам Сельвинский», — писал К. Зелинский, подчеркивая, что поэтические приемы конструктивизма — локальный принцип, смыслообусловленный ритм, лаконичность эпитетов — легче всего изучать по стихам «Мускула».

Луговского этому не научили. Он пришел с такой установкой, существовавшей объективно в самом характере видения им мира как логически заданной конструкции. Как ни парадоксально, и в этом был своеобразный романтизм. В доведении до высшей точки позиции жертвенности личности, в самозабвенном отречении от себя Луговской искренне видел пафос времени.

Увы, как грустно и многозначительно звучат для нас бодрейшие стихи «Мускула»:

Хочу позабыть свое имя и званье,
На номер, на литер, на кличку сменять.

(«Утро Республик»)

Пафос бездумного исполнительства, слепой веры, полнейшего растворения в массе — вот истинная суть программы «Мускула».

Я обучаю простым законам:
Верить, вставать, вырастать, драться. . .

(«Фронты»)

Шестнадцать часов для труда!

Восемь для сна!

Ночь — свободных!

(«Утро Республик»)

И все-таки критика была недовольна. Ей хотелось «перевоспитать все *существо* поэта», хотя, казалось, что уж тут оставалось от «существа», если даже «кровь» Луговской снабдил государственным эпитетом «декретная» («Политпросвет»). Критика добиралась до «снов» героя, подозревая, что ночами он раскроется полностью и разоблачит себя, намекала на то, что *«на виду у всех»* Луговской говорит не все, оставляя сокровенное «про себя». ¹ О том, что конструктивизм сыграл для Луговского отрицательную роль, можно говорить лишь до известной степени. Он, действительно, учил его «строить стихи как можно просторней и суше», держал «руль конструкции, ритма, строфики» рукою холодной и бестрепетной. Но, как мы видели, существо поэзии Луговского этих лет определялось отнюдь не идеями конструктивизма. Вряд ли уместно переоценивать и роль разрыва с конструктивизмом в книге «Страдания моих друзей» (1929—1930).

Ветер, стой! Равнение налево!

(«Фронты»)

Поставить ветер по стойке смирно не удавалось. Лирическая стихия проникла и в некоторые стихи «Мускула». Она ворвалась в диалоги «Шагов большого сна», образной яркостью и напряженным ритмом отметив такие стихи, как «Обреченный поезд», «Перекоп», щемящей тоской пахнула из «Капитанского штиля» и «Пути в кому» («И, улыбаясь, женщина спала на юте, вся в красной кисее, как солнечный восход, как песня древняя о мировом уюте»; «Над всплывшей землею останемся мы — последний поэт и последняя лошадь»).

В цикле «Дорога Дарьяла» Луговской осваивает жанр лирического очерка. В стихи входят реальные приметы, краски, звуки жизни: духанщик, который ставит на угли похлебку, стук ставней, глазки керосиновых ламп, «злые носы» и «угрюмые пальцы», тасующие лото в духане «в желтке лучевой полосы» («Хуло»). Поэт учится видеть и слышать жизнь.

Идя от реальных впечатлений, он должен был начать думать в стихах. Увиденное требовало выводов.

¹ А. Селивановский, В литературных боях, с. 421.

В программном стихотворении «Повелитель бумаги» Луговской не может решить мучительной задачи о месте интеллигента в новой жизни потому, что только иллюстрирует ходячие мысли о «попутничестве», вкладывая в уста «стране»:

Судьбы мои не тебе вручены.
Дело твое — помочь.

То, что говорит «повелитель бумаги», как бы заранее дезавуируется интонацией иронии. Спора не получалось. А между тем спор был, — в жизни.

Интеллигенция и революция... Начиная с Блока, Горького, Маяковского тема эта не снималась. Решали ее для себя и Сельвинский — в «Пушторге», и Лавренев — в «Гравюре на дереве», и Олеша — в «Зависти», и Федин, и Эренбург.

Творческие декларации Луговского в таких стихах, как «Повелитель бумаги», «О друзьях», «Письмо к Республике от моего друга», были не столько расчетом с идеями конструктивизма, сколько поверхностным, поспешным отмежеванием от одних догм в пользу других.

Ты поднял свои кулаки,
побеждающий класс.

(«Пепел»)

Луговской очень искренне стремился слиться с этим классом и принимал на веру и собственную как бы неполноценность, и абсолютную безгрешность интеллектуального авангарда класса — РАППа. Крайне показателен грустный конфуз поэта: его клятвенное заявление верности РАППу появилось в «Известиях» буквально накануне извещения о роспуске этой организации.

Если брать в расчет не статьи К. Зелинского или Л. Авербаха, а направление классовых интересов государства, объективные закономерности в развитии социалистической культуры, общий уровень эстетической мысли конца 20-х годов, то станет очевидно, что при наличии отдельных акцентов, почти все или даже все литературные группировки объективно сходились в одном: в упрощении творческого процесса. ЛЕФ, ЛЦК, РАПП мало чем в принципе отличались друг от друга.

Принято, например, считать, что в сухости, рассудочности, волевой доминанте, так свойственным поэзии Луговского периода «Страданий моих друзей», целиком повинен конструктивизм. Но вот мы читаем «На литературном посту», орган весьма правоверных

«пролетарских писателей» за 1929 год: «Наши дни, взведшие классовую борьбу в определенные классовые рамки, не серей, а четче и сдержанней — крепость нервов и холодная отвага сейчас ценятся выше пылкого безрассудства и излишней эмоциональности. Мы требуем не намерения, а осуществления, не обещания, а исполнения». ¹

«Мы требуем. . .»

Этот приказ, этот волевой императив — от имени эпохи, страны, класса — каждый на свой лад повторяли и Маяковский, и Сельвинский, и рапповцы. . .

И Луговской зывал к эпохе:

Наполни приказом мозг мой
и ветром набей мне рот,
Возьми меня в переделку
и двинь, грохоча, вперед.

*(«Письмо к Республике
от моего друга»)*

Логика этой общей позиции сближала и отношение разных групп к теме «личной и мелкой». Маяковский «наступал на горло собственной песне», конструктивисты требовали «своеобразной отреченности», «отрыва от чувств и интересов плоти». ²

Трамвайному кодексу будней —
не верь!
Глухому уставу зимы —
не верь!
Зеленой программе весны —
не верь!
Поставь их
в журнал исходящих.

Мы в сумрачной стройке сражений
теперь,
Мы в сумрачном ритме движений
теперь,
Мы в сумрачной воле к победе
теперь
Стоим
на земле летящей.

¹ «На литературном посту», 1929, май, № 10, с. 60.

² Мена Всех. Конструктивисты поэты, М., 1924, с. 23.

Так писал Луговской в «Кухне времени».

Даже иерархия разделов в книге «Страдания моих друзей» подчеркивала неслиянность мотивов и тем разного калибра: «Раздел общественный. Раздел бытовой. Раздел любовный. Раздел строго личный. . .» Надо ли объяснять, что «мир разума, конечного порядка и справедливости» виделся молодому Луговскому весьма своеобразно.

4

...Зайдем в кабинет поэта. Здесь все так, как было при нем. Прежде всего вас поразит необыкновенная воинственность ее бывшего хозяина: на стенах развешаны шашки, пистолеты, кинжалы. Карабины, винтовки стоят, прислонившись к книжным шкафам. . . Но вы не пугайтесь: неизвестно, когда они кололи и стреляли. . . Божки, боги, тотемы из разных стран. И Будда, и Шива, и Христос. И греческая амфора на столе. Гравюры. И главное — книги. Книги всех времен и народов. На многих языках. Книги с закладками — по философии, военному делу, кораблестроению, спорту. Горка остро отточенных карандашей — страсть Луговского.

Да, знал он много. И порою — самого неожиданного. Он помнил цвета и рисунки флагов всех государств, гимны (однажды он не менее часа пел их на разных языках автору этих строк); он знал тайну светящихся облаков, форму разных полков, которую носили в разные времена в русской армии, местонахождение могил чуть ли не всех великих людей. «Романтичен был его рассказ о том, как гроб Грига качается на железных цепях в гроте скалы, нависшей над морем. . .»¹ Он весьма компетентно и азартно судил о художнике Валлотене и переводах из Уолта Уитмена, очень любил язык Лескова, часами мог говорить о Костере, Хемингуэе. . . Одним словом, Луговской был незаурядно образован, пытлив, жаден к культуре человечества. И она была для его богатой фантазии отнюдь не мертвым грузом. Он был по-настоящему интеллигентен, то есть обладал большой душевной культурой, тонко развитым чувством справедливости к чужой боли, а не только обостренным распознаванием красоты.

Это все не соответствовало тому уровню самовыражения, на каком находилось творчество Луговского периода 20-х годов, а частично — и 30-х. Существовало два параллельных потока. В стихах

¹ О. Грудцова, Луговской в Алма-Ате. — «Страницы воспоминаний о Луговском», с. 122.

еще не было личности поэта. Сознательное ограничение продолжалось и в последующие годы. Оно было продиктовано причинами неодинаковыми, но всегда обедняло поэзию Луговского, делая ее не голосом природы, а голосом воли и рассудка. Но тем яростнее и неожиданнее оказывались взрывы его дарования.

В 30-е годы Луговской живет бурной жизнью путешествий и расширением непосредственного опыта. Зима 1930 года — путешествие в Туркменистан; 1931 год — книга «Большевикам пустыни и весны» (книга первая). Летом 1930 года — заграничная командировка; 1932 год — книга стихов «Европа». Лето 1931 года — поездка в Узбекистан и Таджикистан; в 1933 году — вторая книга «Большевиков пустыни и весны». Летом 1933 года — поездка с Н. Тихоновым в Дагестан. В 1935 году — длительное пребывание за границей. С 1936 по 1938 год — работа в Азербайджане над созданием «Антологии азербайджанской поэзии». И книги, книги: «Мое поколение» (1932), «Жизнь» (1933), однотомник (1935), «Дангара» (1935), «Каспийское море» (1936), «Октябрьские стихи» (1937), «Новые стихи» (1941)...

Главная особенность этого десятилетия — напряженный поиск, накапливание опыта; через издержки, противоречия, срывы — движение к самобытности. Это была зарядка аккумулятора. Здесь начало вершинного взлета дарования поэта в 50-е годы. Луговской жил полной жизнью. Письма его сестре, друзьям источают увлеченность, азарт, большие надежды.

Казалось бы, вырвавшись из оков схоластических споров, поэт в прямом единении с реальностью получил возможность наконец-то обозначить свое «я», проявить максимум творческой расторможенности. Но в пустынях Туркменистана и тем более на военных кораблях черноморской эскадры, в виду чужих береговых огней, Луговской, ощущая накал революционной борьбы, внутренне делал из этого прежние выводы. Он «напрягался для подвига». Он «перестраивал» себя. Он еще не научился доверять себе.

В поэзии Луговского 30-х годов два голоса, которые мы слышали еще в «Страданиях моих друзей», начали реальный спор:

Так к чертовой матери
этот психологизм!

(«Пепел»)

Довольно армейского пафоса!
Довольно!

(«О друзьях»)

предвиденный и непредугаданный, без заранее заданной композиции и плана». ¹

В стихотворении «Жизнь» есть еще пережиточные «железные» образы («но штыком мне отворили зренье, ослепили боем и людьми...»), — правда, сделала это не безликая эпоха, а собственная «ненависть, которой нет сравнения, ярость, перестроившая мир». Говорить о каком-то переломе, связанном с освобождением от конструктивизма, о каком-то «рапповском» периоде — конечно, нельзя. Ни о какой дани «диалектико-материалистическому» методу в стихотворении «Жизнь» не может быть и речи. Просто здесь, под звездами величественной пустыни, поэт еще осознаннее возвращался к своей сути — жажде философского познания мира, собирания его воедино.

Я глядел
в глаза твои большие,
Жизнь,
праматерь
смерти и любви,
Я хотел понятней,
проще, шире
Каждой радости сказать:
«Живи!»

Неумолимая логика классовой борьбы еще не входила естественно в его «познавание причин и следствий», и требовалось еще одно «волевое» действие — «штыком мне отворила зренье». Характерна и образная логика финала: «Умереть, — чтобы опять родиться в новой поросли большевиков». «Откладывая» личное бытие до нового рождения, герой как бы переносит и решение кардинальных вопросов на завтра. Так даже «философская» оснастка темы жизни и смерти работает вхолостую, мимо «познавания причин и следствий».

Не в торжественной риторике стихов «Витерит», «Земли Красной Звезды», «Пустыня и я», «Туркмения», а в живой наблюдательности, сначала — очерковой («Письмо», «Милиционер Нури», «Змеевик»), а затем, во второй книге, переходящей в образное осмысление, близкое к балладному решению или романтическому монологу («Сын кулябского нищего», «Басмач», «Учитель»), — в этом было обогащение поэзии Луговского. В «Пропasti Оби-Ниола» поэт пробует расширить интонационно-ритмические возможности стиха,

¹ «Страницы воспоминаний о Луговском», с. 13.

довольно удачно стилизуя речь типичными ходами восточного стиха, используя любимый свой прием нарастающих повторов.

Две книги «Большевикам пустыни и весны» были для Луговского школой жизни, гражданского воспитания и поэзии.

Этого нельзя сказать о работе над книгой стихов «Европа», которая вышла в начале 1932 года. Литературное объединение Красной Армии и Флота командировало Луговского на корабли Черноморского флота, которые шли в заграничное плавание. Видел Луговской Европу издали и, естественно, не мог ничего открыть поэтически. Шел он по следам Маяковского. Не только ученически копируя его стих («И здесь сыграет гражданская война трагедию лучше Эсхиловой», «У полисмена свело лицо, и стало оно фисташковым»). Само направление темы и способ ее реализации были заимствованы. Конечно, в отдельных строчках, образных ходах, интонации мы угадываем Луговского, а, скажем, в стихотворениях «Интернационал», «Прощание в октябре» — и конструкцию его любимой композиции.

В стихах «Европы» отчетливо сквозит тема приближающейся военной опасности, но в те годы не только Луговской полагал, что «железный ветер» «гудит с востока». Бодрость и оптимизм стихов «Европы» иногда оборачивались похвалой, не имевшей под собой достаточно реальных оснований.

В журнале «Огонек» было опубликовано стихотворение Луговского «Переключка», где читаем:

Поднимем?!

— Есть!

Расширим?!

— Есть!

Построим?!

.....

Готовы и на месте!

В 1932 году поэт жил в Уфе. Здесь он писал вторую книгу «Большевиков», здесь, почти одновременно, создавалась книга поэм «Жизнь». Смысл ее — столкновение человека с невероятным многообразием действительности, — так формулировал Луговской задачу «Жизни». ¹ Книга состояла из пяти поэм, вначале просто пронумерованных, а в одном из последующих изданий получивших названия: «Красные чашки», «Комиссар», «Мельник», «Сапоги», «Акро-

¹ Цитирую по книге: Л. Левин. Владимир Луговской, с. 279.

поль». Поэмы написаны белым пятистопным ямбом, более характерным для русской стихотворной драматургии, но блистательно примененным и обогащенным А. Блоком в «Вольных мыслях».

«Жизнь» явилась для Луговского этапным произведением.

В характере дарования поэта романтическое начало с его интуитивным, эмоционально-окрыленным тютчевско-блоковским символизмом всегда боролось с «рассуждательством», как говорил сам Луговской, а в лучшем выражении своем — с рационалистической традицией точного пушкинского стиха. Высокий синтез придет к зрелому Луговскому.

Аналитическая задача, объективно-повествовательный тон, интонация раздумья «Жизни» были довольно смелой разведкой в неизведанную область. Почти сквозная тема книги — борьба человека нового мира с соблазнами «мирового уюта» в разных его ипостасях. В «Красных чашках» — это откровенная схватка «горького ветра мира и славной жестокой земли» с «вороватыми прикрасами ненастоящих непростых мирков, которые зовутся личным счастьем». Само определение «красные чашки», по-видимому, призвано указать на новое мещанство, на опасность мимикрии «совмещанства». Если в «Красных чашках» противник — быт, то в «Мельнике» — *собственность*, оберегаемая казуистикой философии личной свободы. В «Акрополе» — новый враг: *мировой скепсис*, отрицание реальных путей к счастью, тот аристократический индивидуализм, что сродни *зоологическому индивидуализму* героя поэмы «Сапоги». В поэме «Комиссар», написанной вне главного драматургического принципа построения остальных глав книги и представляющей собою диалог лирического героя с комиссаром Сергеем Зыковым, словно бы закрепляются все формы враждебного Луговскому мира в образе вражеской «загады» на пути самой природы, «закона развития» и «движенья». «Комиссар» — наиболее наивная, можно даже сказать неуклюжая вещь, но она ключевая для понимания попыток Луговского в 30-е годы связать воедино вопросы классовой борьбы с естественнонаучной философией жизни. Вероятно, это обстоятельство и объясняет пристальный интерес к вариациям темы «Комиссара», проходящей и в последующие годы (в «Середине века» — поэма «Новый год», в «Синей весне» — стихотворение «Баллада о Новом годе»).

Поэзия Луговского (это относится и к его лирике и к лирическому эпосу) насквозь конфликтна, драматизована. Монологи героев «взрываются» изнутри контрастом действия. Многие стихи остро сюжетны. Но когда речь идет о драматическом нерве его поэзии, имеется в виду не только это.

У Луговского была своя тема. Он стремился связать общие законы бытия с законами борьбы классов. На этом пути одной из серьезных и мучительных проблем вставала проблема счастья. Ранний Луговской запросто рассчитался с ней. В «Жизни» он собирает в фокусе «мирового уюта» все то, что как-то выходит за пределы его положительной программы. «Хаосу и тревоге старого мира мы противопоставили великую тревогу революции, ветер, вихрь революции, который сметает и бедствия человечества и *мировой уют*»,¹ — говорил поэт в речи на Первом съезде писателей. Легко заметить, что многое тут идет от Блока. Но мысль великого лирика была глубже и последовательней.

Луговской звал «хаосом» ликвидировать «хаос», тревогой заменить тревогу, одним и тем же спасительным вихрем смести и «бедствия» и «уют». Романтическая фразеология маскировала путаницу в душе поэта. Пафос душевной мобилизации, страстная целеустремленность — переделать мир на справедливых началах, — ради этого готовность отринуть все, что уводит от борьбы, размягчает, ослабляет волю, — все это благородно, достойно восхищения в позиции Луговского (да разве только его — всей поэзии тех лет!). Но начиная с «Мускула» и «Страданий моих друзей» Луговской долгие годы, как говорится, с водой выплескивал и ребенка. В стихах «Штейгер и Лорелея», «Волчий вой», «Шаги большого сна», «Жестокое пробуждение», в книге поэм «Жизнь» — «песня древняя о мировом уюте» звучит как тема трагического противоречия между понятиями *идеала* и *счастья*. Упрямо держась на «жесткую» землю и «горький ветер мира», высокомерно смешивая действительные признаки мирового мещанства с мнимыми его проявлениями, Луговской постепенно отрывался от жизни, «уходил от виденья прямого», как он скажет потом в «Середине века».

Расхождение между отвлеченной идеей всеобщего счастья и счастья каждого — вот что было причиной заблуждения.

5

Высшей точкой довоенной лирики Луговского явился тоненький сборник «Каспийское море» (1936). Льды аскетизма и лукавого мудрствования растопила любовь к женщине. И как это не раз бывало в истории поэзии, непридуманное чувство и стало тем магнитом, который собрал в упругие строчки, задал ритм, определил высоту полета всем разрозненным, казалось, впечатлениям бытия:

¹ «Раздумье о поэзии», с. 177.

О, никогда, никогда не забыть
 мне этих колючих ресниц,
 Глаз расширенных и косых,
 как у летящих птиц.
 Я слышу твой голос,
 голос ветров,
 высокий и горловой,
 Дребезг манерок,
 клекот штыков,
 ливни над головой.

(«Сивым дождем на мои виски...»)

Женщина? Ветер? Революция? Птица? Молния? История?.. Ощущение полета — вот ответ. И конечно, любовь. И конечно, революционная юность. Романтика входит в мир как воздух. Подлинную стихию нельзя отмерить и взвесить. Конструктивизм пытался сделать это. К. Зелинский сетовал, что речь связана с «горлом, т. е. инструментом, трудно поддающимся изменению».¹ Пастернак понимал, что «грудная клетка» «косного косней»... Поэзия дышит, а не теоретизирует о составе воздуха. Опыт истории, философия века, концепции мира и человека оседают через глаза, уши, мускулы, нервы поэта. Идеи становятся гемоглобином — тогда они идеи искусства. Пока они — фосфор, железо, соли — они вне искусства и порознь.

Еще в «Сполохах» особняком стояло стихотворение «Краски». Поэт стыдливо любил его, переиздавал, хотя оно наивно и слабо написано. В чем дело? Почти с детской непосредственностью говорится в нем о тоске по «набору акварели скверной» мальчика, не умеющего рисовать.

Я честность и смелость по капле коплю,
 Чтоб сделаться глубже и строже.
 И я не рисую. Но краски куплю.
 Куплю. Может быть... поможет.

«Темная жажда в рисунке сказать о звере, деревьях, солдатах» томит художника Луговского.

Искусство знает собственную логику. Его путь к сердцу не совпадает с путем чистой, голой мысли. Здесь — вечный камень преткновения для всякого ограниченного ума, глухого к эстетическому воздействию.

Луговского осудили за книгу «Каспийское море», — в критике

¹ Мена Всех. Конструктивисты поэты, М., 1924, с. 24.

высказывалось мнение, что в идейном отношении поэт сделал шаг назад по сравнению с «Большевиками» и «Европой». Это было неверно. В «Каспийском море» Луговской оттаял, стал проще, человечней, естественней. Если бы заслуга книги ограничивалась только этим, и того хватило бы. Но значение стихов о любви шире. Когда-то в «Волчьем вое» автор сводил прекраснейшее и естественнейшее чувство к «воплю, древнему и простому». «Песня древняя о мировом уюте» звучала обычно как искус, заклиная повторами: «Это ты, уходящая в пену столетий, в камень эпох»; «Всем телом зову тебя, телом зову и душой». Критике это нравилось, потому что герой в конце концов бил искусительницу козырной картой, — она ему: «тело», а он: «Челяба. Днепрогэс. Хибины. Россельмаш». Она ему: «душа», а он: «Бетон, землянки и мороз. Горячечные ночи. Пятилетка». Бетон оказывался тверже.

Мир не прост. И человек не прост. Это понимание впервые осеняет поэта, хотя он и раньше любил пофилософствовать о сложностях бытия. Сложность обнаружилась в простом, близком. «Я не пророк. Пророком мне не быть. Но яростная сила ожидания ведет меня через года, через любовь и беды... к распаду слов привычных, слепящему, как взрыв снарядных складов» («Рассвет»). Привычные слова набухали новым смыслом.

Гордый и прекрасный «ветер мира» оказывался порой «холодным, как рыба кровь» от одиночества. Оказывается, лишает сна не только «ярость», та, что «несгибаема», но и «горечь, и жалость» — те, что сами способны согнуть. И теперь не любовь заклиняет героя сдать на зов «звериного тепла» и «мирового уюта», а сам герой заклиняет: «Ярость моя, живущая столько лет... Я заклиная ее стоять всегда на моем пути». Это, правда, чисто риторическое заклинание. Можно заклинять общими словами, но все свалит, сметет с пути один только образ, выраввшийся как бы невзначай:

Соловей грохотал,

две зари отражались в реке...

(«Синий жук»)

В этом — весь Луговской. Разве не две судьбы стоят за этими двумя зарями, отраженными в одной реке?

Мы с тобой встречаемся
холодно и редко.

Ты вздыхаешь.

Улицы
бегут наперебой.

(«Песенка»)

Словно слышишь частый перестук сердца, сомнение и горечь героя...

До уровня настоящей поэзии подымаются стихи «Сивым дождем на мои виски падает седина...», «Синий жук», «Ночлег», «Мужество и нетерпенье», «Почтовый переулок».

А что же сказать о знаменитой «Песне о ветре»!

Итак, начинается песня о ветре,
О ветре, обутом в солдатские гетры,
О гетрах, идущих дорогой войны,
О войнах, которым стихи не нужны.

Логика поэзии — логика интуиции. Эмоция, заряженная ритмом, выплывает из глубин сознания и только *в конечном счете* определяется рациональным, идеологическим началом. Поэты «проговариваются» в стихах, если идеи их неорганичны, но зато никому не дано так впечатать в души эти идеи, как художнику, когда он истинно живет ими. Поэтические формулы Маяковского стали лозунгами, действительными, пока жива Революция. Стихи же, питавшиеся лозунгами, часто оказывались мертворожденными.

Не все оказалось ценным и в «Каспийском море». Безлико, описательно стихотворение — отклик на убийство С. М. Кирова; рассудочны — «Кара-Кала», «Волчьи ворота»; пустотелы и мелки — «Радость», «Шторм». Некоторые тенденции «Большевиков» — публицистическая очерковость, живописание характеров — продолжены в стихотворении «Хван-Ор».

Завоевание новых плацдармов поэзии связано с лирикой напряженного чувства, с первой попыткой самовыражения.

Опасность замкнуться в лирике субъективистского толка, потерять масштабность, историчность чувства никогда не угрожала Луговскому. Скорее обратное — слишком прямолинейно связывал поэт макро- и микрокосм чувств. Высокое блоковское начало, слившееся в едином образе облик любимой и образ России, присутствует лишь в шедеврах.

Позднее, в одном из удачных своих лирических стихотворений «Пила», Луговской скажет: «Но я последним напряженьем воли возьму в себя молочную луну, морское посеребренное поле, далекий звон и эту тишину».

«Возьму в себя»...

Без этого чувства личной принадлежности тебе всего богатства мира нет лирического поэта.

Для Луговского с его романтическим, субъективно обостренным взглядом на мир путь обезличения поэзии оказался катастрофическим.

26 апреля 1937 года в «Литературной газете» появилось упомянутое выше постановление «О книге поэта В. Луговского». За ним последовала проработка. Луговской сломался. Здесь, с этой точки, начнется медленное его отступление с позиций, с таким трудом завоеванных. «Октябрьские стихи» (1938) показали это с очевидностью. Кроме некоторых переизданных стихов в сборнике не было ничего хорошего. «Полковник Соколов», «Кухарка Даша», «Стихи к XX-летию» оставляют грустное впечатление. Вялость, нудность течения стиха, примитивность характеристик, идиллическая слащавость, так не свойственная Луговскому, — не могли не вызвать новой волны критики, на этот раз заслуженной. Наступил период творческого молчания поэта, который слился с военным периодом и почти целым послевоенным десятилетием. Это были кризисные годы. И хотя в 1941 году, в самом начале войны, вышла книга «Новые стихи», в которой рядом с холодным, официозным отделом «Ночь под Молодечно» были напечатаны знаменитая «Курсантская венгерка» и такие отличные стихи, как «Лозовая», «Мальчики играют на горе», «Не от любви, не от винных рюмок...», «Медведь» и «Шаги» — факт остается фактом: Луговской вступил в полосу жизни тяжелую и сложную.

В характере Луговского была черта, затруднявшая для него истинное понимание происходящего, меру поступков. Он трудно расставался с иллюзиями, даже тогда, когда это явно противоречило здравому смыслу.

Однажды, в Туркмении, Луговской присутствовал на представлении бродячего цирка Шапито. И когда его попросили удостоверить подлинность «удава» в халтурном номере с факиром, Луговской, хотя и ясно понимал, что «удав» поддельный, не решился разрушить иллюзию дешевого балагана. Может быть, экзотика окружающей южной ночи, слухи о близких басмачах, вся радостно-тревожная атмосфера, в которой он тогда жил, была бы разрушена для него, если бы он предпочел холодную истину сладостному обману... Он любил рассказывать, что во время похорон своего отца отстранил плечом псаломщика, стал читать над гробом стихи Блока. Вряд ли это было на самом деле. Но ему хотелось видеть себя таким со стороны. И за давностью лет все так и запечатлелось. Он уверял однажды, что видел русалок, — сначала, разумеется, это была для него игра, шутка, но потом увлекся и, когда кто-то посмеялся над этим, запальчиво стал отстаивать свою выдумку уже всерьез...

Но русалок не было. И «удав» был резиновый. . .

Резкая критика стихов Луговского подорвала в нем веру в себя. Сработала рефлексия. Он простосердечно соглашался с чужим мнением, потом заставлял себя поверить в убедительность чужих доводов. «Почему я взял то же самое название? — философствовал Луговской по поводу второй книги «Большевиков». — Потому, что хотел на том же самом материале показать, насколько выросло мое мировоззрение, насколько я и политически и поэтически острее вижу. Я хотел другим методом. . .» и т. п. Правка поздних редакций почти всегда ухудшает текст. За редким исключением.

Отечественная война, казалось, должна была отсеять все наносное, случайное, выявить наконец главное — героическое начало поэзии Луговского. Он считался поэтом мужества. К. Симонов, творчество которого многим обязано Луговскому, писал о своем учителе: «Он понимал и поддерживал в нас то, что было самым дорогим для нас самих: веру в людское мужество, в мужскую дружбу, в солдатское товарищество, в то, что поэзия не существует без дальних дорог, без испытаний, без трудностей, без волн моря и песка пустынь, без твердого выбора — с кем ты и против кого. . .»¹ Верные слова. Поэзия Луговского воспитывала предвоенное поколение солдатами. Но сам поэт не стал солдатом. О его нервном заболевании и жизни в эвакуации писалось или глухо или тактично двусмысленно. Луговской сломался морально. Ведь физически не многим отличались от него И. Эренбург, Э. Капиев или М. Светлов. . . Тот же К. Симонов вспоминает: Луговской был «тяжко болен физически, но я почувствовал. . . и меру его морального потрясения. . . Это совершенно не вязалось для меня с тем обликом, который складывался до того в моем сознании на протяжении ряда лет».²

Наступил период, когда над поэтом встала, — как он сам писал, —

Большая тусклая звезда,
Ташкентская звезда.

(«Куст») ³

В неподготовленности Луговского к серьезным жизненным испытаниям немалую роль сыграла и неподготовленность к действительной жизни той поэзии, принципы которой он долгие годы исповедовал.

¹ К. Симонов, Его место в нашей юности. — «Страницы воспоминаний о Луговском», с. 153.

² Цитирую по книге: Л. Левин. Владимир Луговской, с. 151.

³ Архив поэта (1941 г.).

Луговской оказался жертвой романтических иллюзий. Но из моральных мук поэта взошли со временем зерна большой поэзии. Чтобы зерна могли прорасти, нужна была весна. И она пришла. Луговской одним из первых в советской поэзии почувствовал приход весны. Середина века в русской поэзии ознаменовалась взлетом творческой энергии ряда крупных поэтов, до этого, в той или иной мере, не выявлявших своей активности. Эти годы как бы заново родили Л. Мартынова и прочно утвердили его как большого поэта. Испытали невиданный подъем Н. Асеев, М. Светлов, Н. Заболоцкий, Я. Смеляков, О. Берггольц, В. Луговской и другие поэты.

Над страной повеяло ветром XX съезда партии, весенним ветром больших перемен, больших надежд.

Художники возвращались к истокам революции и к своим истокам. Но просто вернуться к себе вчерашнему нельзя, да и бесполезно.

Книга поэм «Середина века», книги лирики «Солнцеворот» и «Синяя весна» — синтез всего лучшего, что было в творчестве Луговского. В известной мере «Середина века» впитала в себя многие сквозные темы Луговского. Бесконечное совпадение строк, строф, ударных эпитетов, переключки ситуаций отчасти объясняется общим знаменателем, имя которому *лирический автобиографизм*. На это обратил внимание Л. Левин в своей книге о поэте. Отчасти посчастливилось наблюдать работу Луговского над книгой (на ее последнем этапе) и автору этих строк. Складывалось впечатление, что перенесение многих старых образов в новую поэтическую среду было не всегда механическим процессом сохранения того, что казалось поэту особо дорогим (хотя и это имело место), но и яростным желанием найти единственно верное, когда-то не найденное значение «слов привычных», «распада» которых, «слепящего, как взрыв рядных складов», поэт наконец дождался.

«Середина века» писалась исподволь. Автор говорит, что начал писать ее еще в 1943 году в эвакуации. Но ее реальные очертания прорезались лишь в «незабвенное и необыкновенное лето 1956 года»,¹ лето поистине гигантского труда, когда поэт сутками не вставал из-за стола. Эпопея была закончена к осени 1956 года.

Если же учесть, что в начале года, весной, родилась книга «единого дыхания», как назвал ее поэт, — «Солнцеворот», а к 1957 году, накануне самой смерти, Луговской почти завершил работу над «Синей весной», то перед нами подлинное чудо, феноменальный взрыв творческих сил.

¹ Цитирую по книге: Л. Левин. Владимир Луговской, с. 288.

«Казалось, вся жизнь с дружбой и любовью, с разлукой и смертью друзей, с вечной радостью за свою родную природу заново прошла перед глазами...»¹ — писал Луговской о «Солнцевороте». Если «Синяя весна» — это возврат в годы пройденные, воспоминания из сегодня, через дымку лет, то «Солнцеворот» — это само сегодня; где даже то, что было, ощущается как происходящее сейчас. Слишком подвижна лава поднятых чувств, все дыбится, переживается вновь, предельно напряженно, чтобы быть воспоминанием.

Может быть, впервые у Луговского выступают на сцену слепые, могучие и темные силы природы, которые творят доброе, жизнедающее дело. Поэт «поверил» теперь и «глухому уставу зимы», и «зеленой программе весны», что когда-то «поставил в журнал исходящих». Деление на разделы «строго личный», «бытовой» и «общественный» теперь заменено временами года: «весна», «лето», «осень», «зима». И природа, участвуя в вечном круговороте времен, сама без спросу вошла в историю. И как чудесно вдруг преобразился осенний лес, вспыхнувший под пламенем выкатившегося солнца:

Помчались в соснах красные колеса,
Встряхнулись лисьи, хитрые края,
И ты прошла, смугла, светловолоса,
В кожанке рыжей, молодость моя.

(«На лисьей горке»)

Романтик Луговской хотел бы остановить мгновенье, продлить его, не дать разрушающему времени осилить то, что казалось вечным («Олень», «Та, которую я знал», «Фотограф»).

«Солнцеворот» — поэма о жажде жизни, о тоске человека «всё сущее — увековечить, безличное — вочеловечить, несбывшееся — воплотить!», говоря словами А. Блока. Поражает полная внутренняя свобода, расторможенность Луговского в этих стихах. Когда-то он бился с «замкнутым миром», понимая под этим только идею «мирового уюта». Но «замкнутым миром» была и его положительная платформа. Прямолинейность и узость ее. В середине 50-х годов многие поэты его поколения увидели мир более широким. М. Светлов поразился «горизонту», который оказался неоглядным. Луговской тоже выразил это чувство:

Жизнь голубой бесконечностью манит.
Где же предел? Мне не виден предел.

¹ Там же, с. 209.

Рощи берез в легкокрылом тумане.
Снова, как в детстве, зяблик запел.

(«Зяблик запел»)

Нервом лирики «Солнцеворота» является, конечно, вечная тема жизни и смерти. Луговской остро, повышено остро, почти пронзительно ощущал уходящее время. Такие шедевры, как «Звезды осени», «На лисьей горке», «Юность» или «Фотограф», — и об этом тоже. Но, как уже говорилось, любовь, жизнь, смерть только острее проявляют историческую сущность бытия, общественный смысл человеческого существования. К Луговскому пришло сознание сложности жизни. Серьезной ответственности за нее. «Что же так мне тревожно? Я и сам не пойму», — говорит поэт в стихотворении «Юность». Он видит, как «одинокий костер» «тьму пронзает на ощупь». «На ощупь» — это тоже необычно для Луговского. На ощупь — значит, в раздумье, в поиске, в сомненье... «Это не высказать будничным словом», — говорит он о песне зяблика, не торопясь (как бы это сделал раньше) грубо сформулировать, найти «прямое» слово. «А жить так тревожно и сложно», — признается он в «Фотографе». «Как мало себя мы знаем...» — вздыхает он в стихотворении «Сердце».

Интонация спокойного раздумья, лишь изредка взрываемая экспрессивными всплесками, — характерная черта поздней лирики Луговского.

Мудрая простота пришла к Луговскому не сразу. В «Большеви́ках» («Я хочу говорить словами совсем простыми...») была только простота *слов*. Но она шла от несложной ясности. В «Солнцевороте» и «Синей весне» — простота, идущая от ясности в мыслях. Мудрая простота.

Над необъятной Русью
С озерами на дне
Заготовали гуси
В зеленой вышине.

Заря огнем холодным
Позолотила их,
Летят они свободно,
Как старый русский стих.

(«Гуси»)

И Русь («Страшная, русская, злая земля», «дух страшного снега») возвращалась теперь доброй, просветленной и очищенной («Вес-

его. Критика весьма ехидно констатировала нервную боязнь ночного одиночества, как бы нарушающую связь с эпохой.¹ Теперь ночь учит героя думать, сопоставлять, иначе — служить той же правде, поясняя суть жизни. Как никогда до сих пор, он связал тему жизни и смерти с борьбой за правду:

Потому что, если правды
нету на земле, —
Смысла нет
родить, родиться,
гнить в могильной мгле.
(«На бульжной мостовой»)

Но Луговской оставался романтиком. И правды не существовало для него (как и для М. Светлова) без сказки, он считал, что «добрые великаны нам тоже очень нужны» («Сердце»), он хотел видеть мир юным, сильным и мужественным. «Твердите о радости в мире, твердите, что люди сильны. . .» («Сердце»).

«Синяя весна» не закончена. Неизвестно, как сложилась бы эта книга, если бы 5 июня 1957 года не перестало биться сердце Луговского. Последние стихи Луговского проникнуты острой личной болью. В них чувствуется и неразделенная любовь, и одиночество («Гу-пиб», например). Но общая нота лирики — светлая, торжествующая песнь жизни, ее богатству, красоте, вечности. Во многих стихах Луговской удачно воссоздает рисунок традиционного песенного мелоса («Веснянка», «Льва Толстого, 4», «Кондо-озеро», «Колыбельная с черными галками»), закрепляя свои опыты «Песен» («Германская песня», «Русская — солдатская» и т. д.). Только теперь он не стилизует стихи под «народный склад», а тонко вводит приемы образного параллелизма, частушечный говорок, переосмысливая серьезные лирические темы, порою сталкивая драматическое содержание с игривой интонацией раешника («Колыбельная с черными галками»). Есть в последних книгах и слабые стихи. Видимо, трудно было поэту удержаться на уровне высокого духовного напряжения. Колоссальная работоспособность, напор чувств не прошли даром. Луговский давно болел. Сердце не выдержало высокого полета.

¹ См.: Б. Петровский, Вл. Луговской и эпоха пролетарской революции. — «На литературном посту», 1930, № 21-22, с. 42—45.

«Середина века» высится как посмертный памятник. Книга вышла в 1958 году, уже после смерти поэта. Она состоит из 24 поэм, имеющих отдельные заголовки и вполне самостоятельных, объединенных в единое целое симфоническим развитием одной темы. «Автобиографией века» назвал эту книгу автор. Видна прямая связь рождения новых форм поэзии с теми благотворными переменами, какие внес в нашу жизнь и в искусство XX съезд КПСС. Луговской в применении к собственному творчеству отчетливо это понимал: «Те мысли и идеи, которые были высказаны на XX съезде партии, несомненно, оказали на книгу динамическое влияние. . .»

Личность, ее права и долг перед обществом, народом, историей — вот сквозная тема, которая цементирует «солнечную систему» поэм (как удачно назвал «Середину века» М. Луконин во вступительной статье к книге).

Как единична жизнь!
 В мозгу людей
 Миры летят и государства гибнут.
 В ночном раздумье человека ходят
 Народы по намеченным путям,
 И всё же ты лишь капля в океане
 Истории народа.

Но она —

В тебе. Ты — в ней.

Это — зерно, из которого растет зеленое древо поэтической концепции Луговского. «Середина века» — скажем сразу — далеко не свободна от типической слабости поэтики Луговского, — она, может быть, в наибольшей степени «рассудительна». Но в ней много мыслей. И в лучших местах эти мысли поднимаются на крыльях страсти. А кто сказал, что оригинальная мысль, выраженная достаточно энергично, не становится поэзией?

Слабости стиха в «Середине века» связаны отнюдь не с прямою высказывания этих мыслей, часто не облеченных в метафорический ряд, голых, обнаженно мускулистых, как фигура натурщика, — многословие, вялость, риторическая напыщенность возникают на мелководье мысли. Там, где Луговской вдруг уходит в общие места или недостаточно смел в защите оригинального видения, — он и терпит поражение как художник.

В «Середине века» поэт не всегда защищен романтикой экспрессивного образа. Сопоставляя «Балладу о Новом годе» из книги «Си-

няя весна» с поэмой «Новый год» («Середина века»), критик А. Турков пишет: «В балладе не только не упоминается — историк-мистик, но начисто отсутствует и разговор об Одиссее, и спор о том, каким будет коммунистическое общество. В ней преобладает воспоминание о «метельной» романтике тех прекрасных и жестоких лет, в поэме — озабоченность судьбой революции, идущей по нехоженной дороге». ¹ Очень верное наблюдение. Дело в том, что различие в ракурсах отношения к одному и тому же исходному моменту — кстати, биографически точному — встрече Нового года в «нетопленном музее» в 1919 году, — различие не столько жанровое, сколько методологическое. Это различие «метельной» романтики, берущей явление суммарно в его интуитивно-однонаправленном выражении, и аналитического реализма, исследующего явление всесторонне. «Синяя весна» — книга незавершенная не только потому, что она не окончена чисто физически. Ее и нельзя было завершить — метод «метельной» романтики исчерпал себя в советской поэзии задолго до середины 50-х годов. Собственно, и «Середина века» потребовалась потому, что предчувствие новых решений томило искусство. «Синяя весна» была досказана в «Средине века», хотя она фактически писалась позднее.

В «Средине века» Луговской ответил на потребность времени в возвращении к истокам Революции, в восстановлении исторической преемственности идей, в генеральном осмыслении опыта пути, пройденного обществом. «За далью — даль» А. Твардовского, а по своему и «Строгая любовь» Я. Смелякова и вся лирика 50-х годов Н. Асеева, Л. Мартынова, Э. Межелайтиса, Н. Заболоцкого, М. Светлова, Р. Гамзатова, О. Берггольц повернута фронтом к истории, даже если они пишут о современности. Сама современность становится уменьшенным полем истории, полигоном ее идей. История революции в 50-е годы становится вопросом вопросов.

Создавая лирическую панораму века, Луговской не мог не отвечать и на «личные» вопросы, поставленные перед ним его биографией, его творческой судьбой. «Середина века» — Луговской понимал это отчетливо — должна была стать его «Главной книгой» (выражение О. Берггольц). И она ею стала.

У Ю. Тынянова есть такие строки: «Всегда в крови бродит время, и у каждого периода есть свой вид брожения». В «Балладе о Новом годе»: «Ждала Наташа, всё ждала, она смутна была под полубубком дедовским — дочь сказок и тепла». В поэме «Комиссар» (из «Жизни») об этой же Наташе сказано вообще полслова:

¹ А. Турков, Поэзия созидания. — Литературно-критические статьи, М., «Советский писатель» 1962, с. 123.

«Жила еще там девушка Наташа, но мы о ней не будем говорить». И в «Комиссаре» и в «Балладе» Наташа — антипод «яростной ночи», «труб призыву», «бездне за окном». С ней связан иной идеал — «любить, копить добро», она дочь того «тепла», которое для Луговского — синоним мещанства, тяги к «мировому уюту». Но «Середина века» начинается с... дедовой шубы. В ее «сказочном» тепле рождаются первые образы окружающего мира для самого героя, он входит в мир прекрасный, полный удивительных чудес. Сама русская природа (опять-таки по-сказочному добрая, теплая) раскрывает ему свои секреты. «Рыжая дедовская страна» — это и сказка, смешанная с явью (ребенок, засыпая в теплой шубе деда, уже видит сказочный сон и еще слышит «взрослые» разговоры гостей: о Блерно, Америке, которая «продаст и купит весь шар земной», о терроре, Столыпине)... И сказка, и явь, и... образная «реабилитация» темы тепла, уюта, дедовой шубы, слепой природы, старины — всего того набора «проклятых» признаков, противостоящих динамическим стихиям — ветру, например! «Дочь сказок и тепла» перестает быть роковым символом ухода от действительности...

Поэзии Луговского всегда не хватало простого тепла, скромного чистосердечия, присущих его богато одаренной натуре. И потому часто неубедительная непомерность чувства призвана была компенсировать недостачу элементарной душевной гармонии. Его поэзия действительно широка, просторна, звучна, но в ней долго не было живого огонька, способного осветить этот холодный, неуютный мир изнутри.

Жизнь, которая когда-то ассоциировалась с ветром, бездной, бездонным миром ночи, теперь сжалась до теплого «облачка» пара, который клубится у губ любимого человека...

При всей размашистости и масштабном великолепии, «Середина века» — явление нового периода русской поэзии, начало перелома в понимании ею концепции человека. Для Луговского тут открылось широкое поле деятельности.

О город мой, ты знаешь силу века,
Ты знаешь тяжесть государства.

Знаешь,

Как в Петербурге грозный Медный Всадник
Мятущуюся душу раздавил?

Скажи, чем будет кончен вечный спор

Между одной на свете единицей

И государством?

Между личным счастьем

И государством?

Между личной волей

И государством?

(«Москва»)

Города, годы, материк, важнейшие события века, исторические личности, секрет расщепленного ядра — и сердце человеческое, теплое, пульсирующее учащенно, в экране которого отражена вся сложная и противоречивая жизнь столетия. «Страсти исполинские» расшатывают «самый символ счастья — зеленый дворик маленькой души» («Дербент»). Сама душа уже требует иной страсти, иного счастья. Ей тесно, душно в пределах одного человеческого существования — оно слишком кратко («Смерть матери»). Душа не может жить без исторического озарения правдой века. Ведь это «победа света», чувство «полета», которого достоин каждый человек («Снег»). Здесь мы читаем как бы продолжение темы «метельного» романтизма Луговского. И еще дальше — человек не смеет примиряться, уставать, искать покоя («Город снов»). Он должен уметь отречься от власти тела, от власти боли, от власти наслаждения и, если надо, — отречься от себя во имя большего — людского счастья.

Над ложью, что должна была погибнуть,
Над правдой, что уже в крови вставала,
Над ненавистью, горем и любовью
Сияла победительница ночи,
Неукротимая в своем горенье,
Прямая, белоснежная свеча
И требовала жизни, дела, веры.
Ты про себя забудь —

и победишь.

(«Первая свеча»)

«Прямая, белоснежная свеча» — символ героико-романтического идеала Луговского. Но свеча, разгоняя мрак ночи, сгорает. В дневниках Луговского найдена предсмертная запись:

Сердце, сердце — правды не таи,
Ты сгорело, сердце, ты сгорело.

Жертвенность остается неизменной нотой героического начала.

Осенью 1956 года Луговской часто писал автору этих строк из Прибалтики. И в строках и между строками: «Ветер шумит, море

шумит. . . » И — одиночество. И — тоска. Ожидание чего-то. В одном из писем Луговской вдруг, без всякой связи с предыдущим, пишет о кровавом Марсе над ночным морем, как будто готовится нашествие марсиан. . . Надо очень почувствовать одиночество и пустоту, чтобы так увидеть курортную ночь. . .

Быть твердым. . .

И в этом горькую увидеть радость

Быть человеком и самим собой.

(«Дорога в горы»)

Луговской ненавидел в искусстве мелкотемье, натуралистическое правдоподобие. Он говорил, что мещанство имеет своих «лессингов». «Душевные», «теплые»; гордящиеся своей общедоступностью и примитивизмом стихи он презирал. В поэзии он признавал только высокий полет. В жизни любил высокое, красивое, благородное. Но в 50-е годы, когда главной мишенью критики уже становилась высокопарная громоздкость, «железный», «твердый» Луговской казался старомодным, настоящий же, сегодняшний, новый — боялся выявить «слабость». Некоторая растерянность заметна в его речи на Втором Всесоюзном съезде писателей. Он говорил о Сельвинском, но многие понимали, что это и о себе: Сдержанно, но просил участия, чуткости. Кто мог помочь Луговскому? Он был сыном времени, сформировавшего его. Он был сыном серьезного века. «Быть человеком и самим собой» для Луговского означало — «напрягаться» для подвига.

Вопрос, заданный в «Середине века» о противоречиях между интересами личности и государства, не мог еще получить ответа. Но он поставлен и в разных аспектах рассмотрен в поэмах «Как человек плыл с Одиссеем», «Новый год», «Могила Абу-Муслима», «Сказка о сне», «Москва».

В книге «Европа» Луговской не дал собственного толкования Запада. В группе поэм «Середины века» поэт снова возвращается к впечатлениям своей поездки в Европу в 30-е годы. Кстати, в архиве поэта, вслед за «Платком Этельетты», следуют наброски стихотворения о жизнелюбце Кола Брюньоне («великан, гуляка, мудрый мастер»), о мощно текущих пластах земли, «вечных творцах вина и хлеба». . .

В «Середине века» Луговской шел к обобщениям через поэтическую призму личного опыта. Цепкая память вобрала тысячи деталей, жизненно правдивых и реально достоверных. В поэмах «Сказка о том, как человек шел со смертью», «Лондон до утра», «Пер-Лашез», «Белькомб», «Берлин 1936», «Двенадцать ночи» перед писателем про-

ходит политическая панорама века. И здесь Луговской пытается подняться до осмысления общих проблем времени.

Он остро чувствовал противоречия атомного века. С одной стороны, божественное могущество человеческого разума, торжество самых смелых и справедливых идей, с другой стороны — гнилое дыхание цивилизации роботов, распад личности, отчуждение ее от мира, ею же созданного:

Они толпятся каждой ночью —

эти

Подобия людей в седых витринах —
Окутанные светом манекены,
Изображенья всей земной тоски,
Всей пошлости и подлости вселенской,
Отчаянно и лживо простирая
К полночному прохожему свои
Бессмысленные, ласковые руки,
И рядом с ними пляшет водопад
Огней, вещей, оберточной бумаги,
Коробок и флаконов шестигранных.
И целый год качается нога,
Одна нога, без туловища даже,
Нога из воска смугло-золотого
В чулке постыдно-семгового цвета.

Нога без туловища — это цивилизация без души, это вещи без человека. Для Луговского 1956 года идеал «делателя вещей», «техника и жмота» мог бы показаться кошмарным сном, приснившимся в молодости. Теоретики конструктивизма когда-то свысока отнесли к «неистребимой жажде людей ошущать новизну и полноту мира, т. е. чувствовать весомость и кровь вещей...».¹ Именно обескровливания жизни и искусства требовали догмы «ЛЦК». И не кто иной, как Луговской гордился эпитетом «сухой» — как высшим воплощением рассудка и воли. В «Бизнесе» осменвалась романтика. Ей прямо был противопоставлен конструктивизм, бизнес, действие. Разумеется, никто в те годы не мог и предположить, до каких пределов может дойти обесчеловечивание человека. Сегодня мы вправе говорить как об опасном заблуждении о всякой тенденции отделения дела от гуманных и моральных результатов его.

«Середина века» отражает и нервный пульс века, чуткость ра-

¹ Мена всех. Конструктивисты поэты, М., 1924, с. 23.

даров, тревогу радиоволн... В поэме «Белькомб» лавина, обрушившаяся в горах Швейцарии, лишь чудом не стирает с лица земли двух влюбленных. Эта прекрасно написанная картина исполнена многозначительного предзнаменования — через восемь лет юная француженка встанет под дула немецких автоматов...

И, грохоча туманным колесом,
Пойдет лавина смертными кругами,
И Франция над скалами поднимет
Колпак фригийский утренней зари.

Но пока эхо смертоносной лавины еще не разбудило мир — сонный, лунный мир иллюзорного покоя. Уютным, большим слонем кажется Монблан. Недвижны ели в сказочном свете. И эта обманчивая тишина мягко легла на весь мир:

Уснули шведы. Спали аргентинцы
Поджарые в ночном квадрате комнат.
И немцы спали, комкая перины,
Открывши рты, в давящей темноте.

В 1940 году, в предчувствии войны, Н. Тихонов написал свое знаменитое стихотворение «Ночь». Его любил цитировать Луговской. Строки о мышинной тишине Европы на фоне трагедии Парижа («Вторую ночь уже горит Париж!») заражали тревогой, человеческой ответственностью за судьбы мира. Но только пережив нечеловеческие кошмары фашистских злодеяний, только имея опытом вторую мировую войну, ощущая тревогу новой, атомной опасности, можно было так сверхчутко ощутить тревогу в самой тишине, как это удалось Луговскому в «Белькомбе» (или, скажем, в неожиданно и потому особенно тревожно оборванном стихотворении «Тебя давно уж нет на свете...» из «Синей весны»).

«Сказка о том, как человек шел со смертью», «Белькомб», «Берлин 1936», особенно же потрясающая «Сказка о сне» — поэмы, в которых проблема жизни и смерти, всегда волновавшая Луговского, находит историческое истолкование, поднята до уровня философского спора о сущности человека.

В «Середине века» получает завершение романтическая традиция поэзии Луговского, ее героический пафос, концепция нового человека, духовно сложного, интеллектуально богатого, гордого и доброго. Его не понять мировым мещанам, это —

...человек другого измерения,
Пронизанного ветром Октября.

В поэмах Луговского сказались и благородные традиции классической русской поэзии, широта ее философского, исторического кругозора, желанье и умение быть «с веком наравне».

Много ценного вносит «Середина века» и в развитие русского стиха. Продолжая линию собственных опытов 30-х годов («Жизнь»), Луговской щедро динамизировал, обогатил белый стих, несправедливо обходимый в современной поэтической практике, показал его чрезвычайную содержательность и емкость, способность к поразительно многообразной музыкальной инструментовке. После «Вольных мыслей» Блока вряд ли русская поэзия знала белый стих такой пластической изобразительности и такого, временами великолепного, звучания.

Заслугой Луговского представляется и то, что ему удалось (в лучших местах книги) органически слить развернутую повествовательность и метафорическую ассоциативность. Сопоставляя начальный период поисков (20-е годы) с нынешними достижениями, ясно видишь победу реалистически цельного взгляда на мир над импрессионистически дробным. Раньше в поэзии Луговского были два полюса. Связность мысли достигалась за счет «рассуждательности» («Жизнь», «Большевикам пустыни и весны»); «метельный», эмоциональный лиризм чаще выражал дробное, а то и просто смутное, противоречивое мироощущение. Жизнь рвалась на части. «Кадры» плохо «монтировались», хотя сами по себе были эффектны и многозначительны. Сухость плана и буйность фантазии поочередно побеждали друг друга. В «Средине века» полюсы стиха растопило тепло внутренней энергии. Романтическое, «метельное» нащупывало реальные опоры. «Рассуждательное» — зажигалось экспрессией чувства, которое нашло свое твердое направление. . .

Луговской в «Средине века» очень естественно, свободно и раскованно говорит о времени, ему есть что сказать людям, и говорит он горячо, убежденно. Глубокая внутренняя культура, эрудиция, уверенное владение стихом — черты зрелого Луговского. И еще одно. Душевное благородство и тонкость ощущений согревают поэзию Луговского 50-х годов ясным светом моральной чистоты, богатством оттенков красок. У его лирического героя — по-русски широкая, певучая, мечтательная душа. Шелест сказки часто вплетается в эту эпопею, ведь

Без сказки правды не бывает.

Сказка для Луговского — не красивый сон, а мечта, одухотворенная истина, поэзия самой жизни, средство прорвать завесу времен и привычных измерений.

В поэзии Владимира Луговского отразился целый этап нашей жизни, с его величием, противоречиями, надеждами. В романтике стихов Луговского, иногда чрезмерно аффектированной, но всегда чистой и благородной, жила Революция. Она осветила своим ослепительным и тревожным светом все творчество поэта. О лучших стихах В. Луговского можно смело сказать, что они «пронизаны ветром Октября». «Песня о ветре» стала как бы девизом его поэзии, одним из шедевров «золотой» серии советской лирической классики, куда входят «Гренада» и «Синие гусары», «Баллада о гвоздях», «Враги сожгли родную хату» и «Я убит подо Ржевом...». А «Курсантская венгерка»! «Мне и сейчас кажется, — писал К. Симонов, — что это одно из самых лучших стихотворений о гражданской войне, которые я когда-нибудь знал, — звонкое и чистое, овеванное дымкой печали, то ли позднего раздумья, то ли предчувствия...»¹

Луговской оставил после себя лирику, в которой «как бы дан разрез по вертикали чувств, мыслей, переживаний человека, а в этом разрезе, как в геологическом сбросе, видны все напластования».²

В творчестве Луговского сказались опыт поэзии А. Блока (особенно «Двенадцати»), В. Маяковского, не прошли мимо него и поиски его товарищей и друзей — Э. Багрицкого, И. Сельвинского, Н. Тихонова, П. Антокольского.

Вместе с тем поэзия В. Луговского оставила след в творчестве целого ряда последующих поэтов, и не только русских.

До утренних звезд вырастаю я,
До утренних звезд нашего свода:
Доброго утра всем друзьям!
Доброго утра всем народам!

.

Солнце встает,
медью волос звеня.

(«Утренний топот рабочих»)

Кто знает, может быть здесь уже гнездились истоки «Человека» Э. Межелайтиса.

Творческая дружба связывала В. Луговского с Самедом Вургунном. Около двух лет посвятил русский поэт созданию Антологии азербайджанской поэзии. В. Луговской не только переводил узбекских поэтов (Гафур Гулям), литовцев (Теофилис Тельвитис), армяни

¹ «Страницы воспоминаний о Луговском», с. 152.

² В л а д и м и р Л у г о в с к о й, Стихи, М., 1964, с. 26.

(Наири Зарьян, Сильва Капутикян). Он умел дружить с ними и страстно, но ненавязчиво пропагандировал принципы своей поэтики.

Творчество Луговского в большей мере было завершением предыдущего этапа развития советской поэзии, нежели началом нового. И несмотря на это, «Середина века» и «Солнцеворот» находятся в новом периоде, а весь противоречивый и драматический путь поэта остается путем напряженных поисков гуманистического решения задач Революции.

«...И ослепительной молнией грянул Октябрь, очистительная гроза над миром, великий поворот и для всего моего поколения», — писал поэт в автобиографии.

Таким Луговской увидел мир. Таким навечно отразился он в его поэзии.

Владимир Огнев

СТИХОТВОРЕНИЯ

ИЗ КНИГИ «СПЛОХИ»

1. УШКУЙНИКИ

А. Ф. Луговскому

Та ночь началась нетерпеньем тягучим,
Тяжелым хрипением снега,
И месяц летал на клубящихся тучах,
И льды колотила Онега.
И, словно напившись прадедовской браги,
Напяливши ночь на плечи,
Сходились лесов вековые ватаги
На злое весеннее вече.
Я в полночь рванул дощаную дверцу, —
Ударило духом хвон.
Распалось мое ошалевшее сердце,
И стало нас снова — двое.
И ты, мой товарищ, ватажник каленый,
И я, чернобровый гуслирник;
А нас приволок сюда парус смоленый,
А мы — новгородские парни,
И нам колобродить по топям, порогам,
По дебрям, болотам и тинам;
И нам пропирать бердышами дорогу
Да путь новгородским пятинам,
Да строить по берегу села и веси,
Да ладить, рубить городища,

Да гаркать на стругах залетные песни
И верст пересчитывать тыщи;
Да ставить кресты-голубцы на могилах,
И рваться по крови и горю,
Да вынести вконец свою сильную силу
В холодное Белое море.

Декабрь 1925 — 22 января 1926

2. ОТХОДНАЯ

Звон, да тяжелый такой, да тягучий,
Приходят с полуночи медведи-тучи,
Ветер голосит, словно поп с амвона,
Леса набухают стопудовым звоном;
Вьюга-то сухим кистенем горошит,
Вьюга-то пути замела порошей,
Волчьи-то очи словно уголья.
Мамынька родная, пусти погулять!
— Сын ты, сыночек, чурбан сосновый!
Что же ты, разбойничать задумал снова?!
Я ли тебя, дурня, дрючком не учила,
Я ли тебя, дурня, Христом не молила?
— Что мне, мамаша, до Христова рая:
Сила мне медвежья бока распирает.
Топор на печи, как орел на блюде,
Едут с Обонежья торговые люди.
Тяжел топорок, да остер на кончик, —
Хочу я людишек порешить-покончить.
Я уж по-дурацки вволю пошучу.
Пусти меня, мамка, не то печь сворочу.

28—29 апреля 1926

3. ДОРОГА

Дорога идет от широких мечей,
От сечи и плена Игорева,
От белых ночей, Малютиных палачей,
От этой тоски невыговоренной;

От белых поповен в поповском саду,
От смертного духа морозного,
От синих чертей, шевелящих в аду
Царя Иоанна Грозного,
От башен, запоров, и рвов, и кремлей,
От лика рублевской троицы.
И нет еще стран на зеленой земле,
Где мог бы я сыном пристроиться.
И глухо стучащее сердце мое
С рожденья в рабы ей продано.
Мне страшно назвать даже имя ее —
Свирепое имя родины.

24 мая 1926

4. НАЧАЛО ВЕКА

Смолкает баталий воинственный топот.
Взвивается флаг на фрегате.
Отчаяньем сушат крошечные топи
И ладят корявые гати.
Россия храпит, как кобыла на корде,
Шагают мундирные рати,
И люто кривит сатанинскую морду
Огромный как смерть император.
И мброка грады и веси объемлет,
И рокот стрелецкий замер.
Ползут в Питербурхе на русскую землю
Заморские звери кунсткамер.
Пророчатся войны и мор человекам,
Великие смуты и трусы,
И дан гороскоп приходящему веку
Самим чернокнижником Брюсом.
И скрипом колесным в ночи зарычали
Раскольные волжские тропы,
Но к пристаням невским кидают причалы
Костлявые руки Европы.
Но валит народ с топором и рубанком,
Но камень ложится на камень,
Но Русь выворачивается наизнанку
Плотничьими руками.

Но прядает ветер полночных утопий,
Но глубь измеряется лотом;
И словно к всемирным готовясь потопам,
Роятся эскадры и флоты.
И ткацкий челнок порождает полотна,
И пушку куют в арсенале —
Вот это начало историй холодных
О самом крутейшем начале.

28 декабря 1925

5. ПОВЕСТЬ

Вечная тема:

 груз головы,
Сухие от холода руки.
Из яростной теми,
От черных вокзалов Москвы
Мы шли в громовом перестуке.
Вот повесть простая о красной звезде.
Проснуться — но где?!
Рвануться — куда?!
Свистит, закипая в манерке, вода,
И, сидя на дряхлом вагоне,
Ночь мчится в железном разгоне.
Направо — поля.
Налево — поля.
Деревни как чертовы очи.
И страшная, русская, злая земля
Отчаяньем сердце точит.
Багровый костер.
 Скелет моста.
И осень — прямо на ощупь.
Но штык — штык остер,
Винтовка — проста.
А жизнь — во сто крат проще!
Сегодня — вагон.
Неделю вагон,
А дальше — большая атака.
Осенний нерадостный небосклон
И в дуло идущий последний патрон

Для белого или поляка.
Но к северу, к югу (не всё ли равно?) —
Лавиной, обвалом, громадой
Летят эшелоны, звено за звеном,
И сердце укрыто шинельным сукном,
И думать о доме — не надо.

20 декабря 1925

6

Эта ночь проходит не напрасно
В снеговом, бурнящем бреду:
Ветры распаленные бредут,
Город снова ждет прихода красных.
Мыслимо ли спать в такую ночь?
Многие ли ровно дышат груди?
Тягостною поступью орудий
Ветровая завершится ночь.
Завтра — неизвестная страна.
Завтра — это страх и напряжение,
Толп ли непомерное движение,
Свист ли пролетающих гранат.
Где-то собирается отряд,
Где-то раздают сейчас патроны.
Если эта ночь тебя не тронет, —
Жди, как следующие заговорят.
Бережливо трать свои часы,
Угождай им дымом папиросы.
Все недорешенные вопросы
Возлагай на верные весы.

6 февраля 1924 (?)

7. АСТРОНОМ

Т. Э. Груберт

Ты моя,
Ты спи.
Капают краны в ванной,

В буденновском шишаке.
Сумбур переулков, лавчонок, заборов,
Трущобная вонь требухи. . .
Ночная Москва — удивительный город:
В ней даже поют петухи.
Но песня качается. Ветер хороший,
Распутный, шальной, гулевой.
Он сыплет, как звездами, звонкой порошей
Над заспанною Москвой.
Но песня качается. Всё наизнанку,
Всё набок и вкось — к чертям.
Но мысли идут, как столапые танки,
И путь их — прямая черта.
Но песня рычит, как биплан на Ходынке,
Но ритмы сошли с ума;
И даже на дряхлом Смоленском рынке
Ломают они дома.
И конницей мчатся с гуденьем и гиком,
Расхристанные догола;
И сотнями рук на Иване Великом
Раскачивают колокола.
И плавно вращают столетние стены,
И прыгают на пари.
И, влезши на шаболовские антенны,
Сонный зовут Париж.
Но затихают чинно и робко,
Укладываясь и говоря,
Едва я нажму непокорную кнопку
Звонка на моих дверях.

25 января 1926

9. СПАСИБО

Спасибо — кто дарит.
Спасибо тому,
Кто в сети большого улова
Поймает сквозь качку
и пенную тьму
Зубчатую рыбину слова.

11. МОРСКОЕ ПРОЩАНЬЕ

Нет, я не звал тебя.

Из глыб земной породы,
Из гула гравия,
Из криков пароходов,
Из чертова костра
шипящих головней
В осенний день
рванулась ты ко мне.

Сколько раз я пытался тебя утолить, угасить,
Расставанье! О, горькие руки
Полуночного ветра, без воли, без ритма, без сил,
И чужое волнение, данное мне на поруки!
Подожди хоть немного, помедли, болтай, как и я.
Безответственно смейся, иди на любые ошибки.
Но тяжелое небо лежит, поднимая края,
Чтобы волны и весла его не расшибли.

Прощай, прощай, прощай. Фонарь глотает темь.
Костлявый грек, как рок, качнулся на моторе,
И оркеструет вновь одну из старых тем
Огромное неприбранное море.
Пожатье стылых рук, оглядка стылых глаз, —
Так этот счет минут бессмысленно проходит,
Пока наполнен трап и прыгает баркас,
Стремящийся на рейд, к махине парохода.

Когда на лебедках взлетают тюки
И трапы к посадке опущены,
Неверно пожатье знакомой руки,
И душит, и жжет, и щемит оно.

Над морем лежит перегретый бриз,
Стомильные руки вытянув.
Прибой сортирует серебряный рис,
А волосы — грустными нитями.

Сердце.
Захочешь ты или нет
Схватить на закатной красе
Безумный, тысячетный
Летный порыв гусей.

Перетоплен снег
Праздничными ветрами.
Стих этот мой — весне
Солнечной, грустной и ранней.

Всё идет,
Всё идет как сперва...
Зеленеет на бурых клумбах
Неизвестная мне трава,
И разворачивается над Гумом
Коленкоровая синева.

Что твоя небольшая обида?
Обижаться не стоит труда,
Если сердце мое разбито
Самое меньшее — навсегда.

1926 (?)

ИЗ КНИГИ «МУСКУЛ»

13. МОЛОДЕЖЬ

Товарищи!
Мокрая ли, сухая ли, —
Погода крепчает. Она честна.
Товарищи! Снова снега растаяли.
Товарищи! Зовет десятая весна.
Мне двадцать шесть, я дышу со скрипом —
Так туги мои легкие и кровь густа.
Мое поколение встает открыто.
Мое поколение — на своих местах!
Мое поколение — мастеров и инженеров,
Костистых механиков, очкастых врачей,

Сухих лаборантов, выжженных нервов,
Веселых глаз в тысячу свечей.
Товарищи! Погодки! Семеновы, Борзовы!
Учетная книжка — девятьсот первый год,
Со школьной скамьи мы все мобилизованы
На стройку, на службу, на бой, в поход.
Страна Советов суровыми силами
Нас наделяла за рядом ряд.
Страна Труда матерински сшила нам
Сугробы шинелей и сложила в склад.
И склад существует, и в складе позаботятся,
Чтоб нас снарядить в оперативный час,
Когда засвистит стальная непогодица,
Бригады помчатся, коней горяча,
Когда мы наклоним шишачные головы,
И, ритм коммун материкам суля,
Славянами, кавказцами, тюрками, монголами
Начнет полыхать покатая земля.
И руки страны нас кинут первыми,
Широкой дугой в броневой галдеж —
С веселыми глазами и выжженными нервами,
Привычных и честных —
на,
молодежь!

<1927>

14. УТРО РЕСПУБЛИК

Заря поднимает гребни розовые
И медленно расчесывает облачные косы.
Трое приятелей разговор вели,
Но я обходил вопросы.
Что мне сказать? С головы до пят
Дымная усталость меня опутывает.
В час, когда нервы о сне вопят,
Разве расскажешь что-нибудь путное?
Стойте! Вы слышите ровное скрипенье
Черных осей прочного мира? —
Это вступает в право владенья
День завода и день квартиры.

Жизнь моя, товарищи, питается работой.
Дайте мне дело пожестче и бессонней.
Что-нибудь кроме душевных абортов —
Мужское дело, четкого фасона.
Честное слово, кругом весна,
Мозг работает, тело годно, —
Шестнадцать часов для труда!
Восемь для сна!

Ноль — свободных!
Хочу позабыть свое имя и званье,
На номер, на литер, на кличку сменять.
Огромная жадность к существованью
На теплых руках поднимает меня.
Из топок зари рассыпаются угли.
По знаку дорог, городов, деревень
Железные рты молодых республик
Приветствуют ревом встающий день.

1927

15

Как буря на Северный полюс,
Несет меня страсть ожидания,
Как форвард победного поля,
Кидается ветер ко мне.
Великолепие мира
Встает золотыми зданьями,
Над фабриками и квартирами
В безмолвии и в огне.

Ты скажешь: — Но это утро!
Отвечу тебе: — Не знаю.
Железом и паром мудрые,
Поют голоса поездов.
Над городом распростерта
Туч цитадель сквозная.
Проносится кровь в артах,
Как ветер идущих годов.

Ты скажешь: — Уснули трамваи,
Застыв в ожидании рассвета,

И город опять отмывает
Подтеки фонарных лун. —
Отвечу тебе: — На свете
И ясные зори эти,
И утро нас призывают
В грядущее время коммун.

Дыши чистотой и молодостью,
Смотри, не смежая ресницы,
Как солнце, в лучи размолотое,
Осыпало гребни крыш,
Как озаряются лица
Домов моего города. . .
И вот, когда всё загорится,
Ты это сравненье гордое
Примешь и ощутишь.

1927

16. ДЕЛАТЕЛЬ ВЕЩЕЙ

Не плакать, не хныкать, не ныть, не бояться,
Но челюсти стиснуть до боли,
Но кровью печатать в сердцах прокламации
Сухой человеческой воле.

Один поглощает наплывы экрана,
Мечтая о пальмовом берегу.
Другой громоздит ледокольным тараном
Стеклянные плиты айсберга.

Один говорит, говорит до рассвета
О радости и о покое.
Другой копошится разбитым скелетом
В равнине больничных коек.

Ни пуля, ни голод, ни смерть, ни болезнь
Нахмуренный лоб не утишат:
Кто крепко решил задышаться и лезть,
Тот влезет как можно выше;

Тот буром вопьется в кромешную копь,
Тот в биологическом студне
Под микроскопом отыщет дробь
Бацилл чумовых будней.

Он станет на стройке, как техник и жмот,
Трясая над кривыми продукции.
Он тощими пальцами дело нажмет,
Он сдохнет — другие найдутся.

Не спится ему: конденсация сил
В мозгу телеграфом стрекочет.
И прыгает мысль, как литое шасси,
В ухабах подушечных кочек.

Стакан в изголовье звенит, как звонок
В руках председателя Ночи:
Хронометр считает количество строк, —
Он так же безжалостно точен. . .

Хронометр сдается, минуты губя, —
Под утро его заводят.
А этот, лежащий, заводит себя
Глухим нетерпеньем заводов.

К нему в обработку идут горюны —
Народец, от скуки зловещий.
Он делает длинное дело страны,
Он делает нужные вещи.

1927

17. ПРОДАННЫЕ СТИХИИ

(Весна 1927)

Вошедший был латыш в пальто реглан,
С лицом простым, как дуло кольта,
Интеллигенция сидела по углам,
Ругая Мейерхольда.
Хозяйка: тридцать лет, фокстрот,
Обилье форм, однако стиль и профиль.

У каждого был перекошен рот
На водку, шпроты и гуся с картофелем.
Москва вращала улиц маховик;
Два миллиона жителей дышали.
«Здоровье женщин!» «Слава Моховой!»
«Долой печали!»
Тем временем весна, пальбу раздув,
Эскадры льдин топила под Москвою.
В пятиугольном бешеном саду
Стучали сучья, как штыки конвоя.
Пропеллер ветра небо искрошил
И тучи танков в наступленье вынес.
Главком Кантона, длинный Чан-Кай-ши,
Распродавал революцию на вынос.
И вот остатки проданных стихий
В Москву катились за советом.
Товарищ! Заряжай стихи!
Вся власть весне!

1927 или 1928 (?)

18. ШАГИ БОЛЬШОГО СНА

— Теперь засни.
 Но синий Орион
На четверть неба загремел огнями...
— И всё же спи...
 Но с четырех сторон
Зима, зима, мохнатыми конями.
— Ты разве человек? —
 Ты куча одеял,
Звериной теплоты и трубочного дыма.
Тебя и ритм
 едва ли задевал,
А ты бредешь за нами, молодыми.
 — Но жить невмочь!..
— Ты, кажется, сказал,
Что жить невмочь?
 Засни же скромно, —
И звездами осыпанная ночь
Придет к тебе любовницей огромной.

1927 или 1928 (?)

19. РУБКА ПОД ВОРОНЕЖЕМ

Ветер ерошит крыло воронье.
Корпус Буденного гонит на Воронеж.
Чертом пляшут батареи, став хитро,
Мундштуком кобылу греет генерал Шкуро.
Где Москва, где Москва — золотая голова?
Донцы-молодцы, где же ваша честь?
По-осеннему, по-серенькому спит трава.
На потоптанной траве голов не счесть.
(«Расшумелся, разгулялся православный тихий Дон.
По станицам, на пшенице голосит трезвон»).

Но дымными завесами фланги клонятся.
Гремят напропалую поездные буфера.
Наотмашь врубается буденновская конница,
Штыкастая пехота прет — «Ура!».
Это наворачивает сильная силища,
Страшно уставя железные глаза —
И шаг. За шагом. Еще в пене. В мыле еще
Белые громады ползут назад.
Костяк похрустывает. Кинуть нечего —
Резервы вымотаны. В крови узда.
Бешеной ракетой в небо вечера
Взмыла над лесами красная звезда,
И вот пала, пала ночь, пала ночь кромешная,
Топотала бестолочь, в осиннике мешкая.
Топотали кони, храпели, топорщились,
Были сабли в ладонях, не ведая горшего.
Шла Москва перелогами, сшибалась дорогами.
Раз-два, слетай голова!
Дорогами старыми, оврагами да ярами —
Лети голова, вырастай трава!
Вырастала трава. Боры били отходную.
Слетала голова по делу походному.
Рос гриб боровик в ту осеннюю ночь,
А ветер верховодил да скатился прочь.
Покатился ветер, с тылами споря,
С белым Деникиным к Черному морю,
Без отдыха, без устали, вшами похрустывая,
Ранеными вскрикивая, вскидывая пиками,
Крича небылицами, вырастая в виселицы,
Плача с господами, бегущими выселиться

От злых кумачей с серпами и молотами.
К самому клыкастому английскому дредноуту.
— Эх, куда ты, ветер, шкандыбаешь?
— К черту! К дьяволу! Ну разве ты не знаешь?!

1927 (?)

20. ПЕРЕКОП

Такая была ночь, что ни ветер гулевой,
Ни русская старуха земля
Не знали, что поделать с большой головой —
Золотой головой Кремля.

Такая была ночь, что костями засевать
Решили черноморскую степь.
Такая была ночь, что ушел Сиваш
И мертвым постелил постель.

Такая была ночь — что ни шаг, то окоп.
Вприсядку выплясывал огонь.
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп,
И рушился махновский конь.

И штабы лихорадило, и штык кровенел,
И страх человеческий смолк,
Когда за полками перекрошенных тел
Наточенный катился полк.

Дроздовцы сатанели, кололи латыши,
Огонь перекрестный крыл.
И Фрунзе сказал: — Наступи и задуши
Последнюю гидру — Крым.

Но смерть, словно рыбина адовых морей,
Кровавой наметала икры.
И Врангель сказал: — Помолись и отбей
Последнюю опору — Крым.

Гремели батареи победу из побед,
И здорово ворвался в Крым

Саратовский братишка со шрамом на губе,
Обутый в динамитный дым.

1927

21. ИСПАНКА

Так постепенно стекленели
Глаза, внимание, стихи,
Сгустилось время в рослом теле,
И пели зорю петухи,
Навыорот и наизнанку
В окно рванулся черный бор.
Теперь подсчеты: жар, испанка,
Апрель,
 капели,
 разговор
Двух голосов в мозгу,
 крутые
Подъемы пульса,
 двадцать лет,
Дежурные, постовые,
Шлемы конницы...
 Скелет
Судьбы, одетый в форму хаки.
Встревоженный лай собаки
В селе или в мозгу.
 Прощай,
Большая ночь с большими облаками,
Весенняя, красноармейская, лихая,
Пустяшная, как молодость моя!

1927 (?)

22. ЮНОСТЬ

(Лодя Гулимов)

Ребята, в отчетливом свете
Я видел друзей и врагов,
Я славил октябрьский ветер
И крепость своих сапогов.

Влюблялся в большую папаху,
В застёжки походных ремней.
Все вещи свой цвет и запах
Сейчас же дарили мне.

В Москве, в ледовитой камерке,
Подкармливал рыжую печь,
Гордясь раненбургской махоркой
И теплой усталостью плеч.

Влюбили меня эти годы,
Дарили мне силу и смех,
В моем полушубке природа
Не портила пегий мех.

И фронт от Байкала до Риги
Костей не дробил и не мял,
Читал я хорошие книги
И многое в них понимал.

Дельные слышал советы,
Тысячи разных речей,
Тяжелое знамя Советов
Не раз пронося на плече.

Но если был день неприветен.
А сердцу хотелось плясать, —
И я, и лыжи, и ветер
В седых пропадали лесах.

Ребята гадают загадки,
Как ладно и правильно жить:
Иди по дорогам негладким,
И мчись напрямик без оглядки,
Как пули, лучи и стрижи.

1927

23. ПРОЩАНИЕ С ЮНОСТЬЮ

Так жизнь протекает светло, горячо,
Струей остывающего олова,
Так полночь кладет на мое плечо
Суровую свою голову.

Прощай, моя юность! Ты ныла во мне
Безвыходно и нетерпеливо
О ветре степей, о полярном огне
Берингова пролива.

Ты так обнимаешь, ты так бредишь
Романтикой, морем, пассатами,
Что я замираю и слышу в груди,
Как рвутся и кружатся атомы.

И спать невозможно, и жизнь велика,
И стены живут по-особому,
И если опять тебе потакать,
То всё потеряю, что собрано.

Ты кинешь меня напролом, наугад —
Я знаю тебя, длинноглазую, —
И я поднимусь, чернобров и горбат,
Как горы срединной Азии,

На бой, на расправу, на путь, в ночлег
Под звездными покрывалами.
И ты переметишь мой бешеный бег
Сводчатыми вокзалами,

И залами снов, и шипением пуль,
И парусным ветром тропиков,
Но смуглой рукой ты ухватишь руль
Ритма, размера, строфики.

И я покорюсь и буду писать
Безвыходно, нетерпеливо,
Как пишут по небу теперь паруса
Серебряного залива.

1926

24. ПРОДОТРЯД

Запорошились серебряные села
Вьюгами, поземками, блестками;
Затормошился вихрь веселый
По-над лешевым перекрестком.
Стало голове совсем темно,
Время подошло осоветь ей.
Белоголовая села ночь
На самые лохматые ветви.
Тут шепнут — там говорят,
Здесь определенно засели,
Вот и закрутился продотряд
На семидорожной карусели.
Гул да страх,
Да не куст — монах,
Да не крыши — лес,
А в лесу обрез.
Там и села голы,
Мужики там злы,
И собаки злы,
И черт ее знает, куда зашли.
Где мох на деревьях — там, значит, север.
Собственно говоря, товарищи, — каюк!
Дезертиры засели, —
Восемьдесят штук;
И не согреешь рук.
— Выходила молода,
Молода — пригожа.
Выпускала соколá
На семидорожье.
Ты и батьке скажи,
Ты и свекру скажи,
Ты и деверю скажи,
Пусть готовят ножи
Да иконы божьи.
— Дело наше трудное, милый товарищ.
Мыкаешь по свету хуже всякой твари.
Тут тебя облают, там тебя убьют. . .
Ты уже попомни Зинку мою.
— Да не выходила,
Да не вырастила,

Да в сугробы завела
Деревенская мгла.
Расходилась молода
Белым снегом.
Разбегалась молода
Санным бегом.
Потешалась самоваром —
Медной Тулой,
Расшибала самогоном,
Убивала пулей.
В елку,
 в холку,
 в черта,
 в бога...
Товарищ начальник,
 кончилась дорога,
Березняк, ельник,
Чертов понедельник.
Желтый снег,
Волчий след,
Хлеб,
 мука,
 масло,
 мясо,
Яйца,
 крупа,
 птица.
Эй, не точить понапрасну ласы,
На колею пробиться
Хоть ползком, хоть на карачках;
Будет засада — бить пачками.
Это, товарищи, жратва городов.
Лозунг прост:
 Тысячу пудов,
 Двадцать подвод,
 Двадцать лошадей —
И никаких гвоздей!!!

1927 (?)

25. ДЕВИЧЬЯ ПОЛНОЧНАЯ

Что же ты, милая, сердце-то забыла,
Сердце забыла ночной порой?!
Бьют села в била, поезжан убили,
Погубили поезжан. Вьюга на порог.

Месяц не вылезит, месяца не видно,
Не видно месяца, убей меня бог.
Бубенятся сани, едут с кистенями,
С кистенями, с бородами. Вьюга на порог.

Снега невылазные, черти семиглазые,
Черти семиглазые, а снег — тафта.
По дороге ивы, да конские гривы,
Гривы, да на воре рудо-желт кафтан.

Ты уже не сетуй, сестра моя, не сетуй,
Не сетуй, сестра моя, не сетуй, не плачь.
Встал палач до света, водрит до рассвета,
Водрит он топорики, царев палач.

Не с того я сердце свое позабыла,
А с того забыла, что морозен бор.
Во лесной залоге, в медвежьей берлоге
Холодно ночует окаянный вор.

1927

26. ПЕСНЯ О ВЕТРЕ

Итак, начинается песня о ветре,
О ветре, обутом в солдатские гетры,
О гетрах, идущих дорогой войны,
О войнах, которым стихи не нужны.

Идет эта песня, ногам помогая,
Качая штыки по следам Улагая,
То чешской, то польской, то русской речью —
За Волгу, за Дон, за Урал, в Семиречье.

Он идет впереди,
атаман удалый,
У него на груди —
фонари-медали.
Командир-паровоз
мучает одышка,
Впереди откос —
Паровозу крышка!

А пока поручики пиво пьют,
А пока солдаты по-своему поют:

«Россия ты, Россия, российская страна,
Соха тебя пахала, боронила борона.
Эх, раз (и), два (и) — горе не беда,
Направо окоlesiца, налево лабуда.

Дорога ты, дорога, сибирский путь,
А хочется, ребята, душе вздохнуть.
Ах, сукин сын, машина, сибирский паровоз,
Куда же ты, куда же ты солдат завез?
Ах, мама моя, мама, крестьянская дочь,
Меня ты породила в несчастную ночь.

Зачем мне, мальчишке, на жизнь начихать?
Зачем мне, мальчишке, служить у Қолчака?!
Эх, раз (и), два (и) — горе не беда,
Направо окоlesiца, налево лабуда».

...Радио... говорят...
(Флагов вскипела ярь):
«Восьмого января
Армией пятой
Взят Красноярск!»

Слушайте крик протяжный —
Эй, Россия, Советы, деникинцы! —
День этот белый, просторный,
в мороз наряженный,
Червонными флагами выкинулся.

Сибирь взята в охапку.
Штыки молчат.

Заячьими шапками
Разбит Колчак.

Собирайте, волки,
Молодых волчат,
На снежные иголки
Мертвые полки
Положил Колчак.

Эй, партизан!

Поднимай сельчан:

Раны зализать
Не может Колчак.

Стучит телеграф:
Тире, тире, точка...
Эх, эх, Ангара,
Колчакова дочка!

На сером снеге волкам приманка:
Пять офицеров, консервов банка.
«Эх, шарабан мой, американка!
А я девчонка да шарлатанка!»

Стой!

Кто идет?

Кончено. Залп!!

1926

27. БИОГРАФИЯ НЕЧЛЕВА

(Вариант)

«Ваше здоровье!

Минуту подумаю...

Ну, ладно!

Вот дни и эпохи мои:

Кругом свистопляска,

положение угрюмое,

Я последыш

хорошей семьи.

Жизнь? —

Жизнь была ласковая, тоненькая, палевая,
Плавная, как институтский падекатр.

И выйти она не могла —
вы помните?!

И вот революция — варево аховое
Шинелей, митингов.

В порох окурков!
Отец голосирует, шляпой помахивая,
Хочу рискнуть, но мешает шкура,
И даже не шкура, а жажда дыханья
И неба московского с тучами опальными.
Тогда вырастает Октябрьское восстанье
Над банками, домами, дорогами и спальнями.
И, честное слово,

я чуть было не влип
Не то в большевиков,
не то в калединцев;
Такая была легкость,
четкость лиц,

Ночная пальба,
гул,
гололедица.

И, честное слово,
я бегал по ночам

С наганом в кармане по улицам вьюжистым:
А вдруг удастся что-нибудь начать?!
А вдруг продерет настоящим ужасом?!
Потом всё сменилось скукой и тоской.
Я сам себе казался нелепой загогулиной,
Слухи,

флирт,
кафе на Тверской,
Студент,
стишки,
лекции Сакулина.

И вот, когда черт мне не мог бы помочь
И злость прошибала до чашечек коленных,
Свалилось предложение — ехать в Сибирь
Эвакуировать германских пленных.
Не стану утруждать вас дальнейшей ерундой.
Застрял, когда чехи спасали нацию!
И вот перед вами заштатный герой, —
Он служит в местной кооперации!»

Между 1926 и 1929

28. ЧТОБЫ БОЛЬНОМУ СПАЛОСЬ

(Отступление колчаковцев)

Вечер сел в малиновые сани,
Завилась метелица седая,
Добрый кот ворочает усами.
Погадаю, милый, погадаю.
Плачут в печке сонные поленья,
В поддувало угли попадают,
Едут звезды на большом олене.
Погадаю, милый, погадаю.
Ходит сон по дому, ходит дрема,
На окошке розан увядает.
Заживем с тобой или умрем мы, —
Погадаю, милый, погадаю.
Снегу падать, а воронам каркать.
Сердцу жить, тревогу забирая,
Веером легли плохие карты,
Веером легла судьба вторая.
Скачет ветер, тукают подковы,
Тянет ветер падалью острожной.
Вот уже ушел король пиковый
Из судьбы твоей неосторожной.

Конец 1920-х годов

29. КАПИТАНСКИЙ ШТИЛЬ

Вращалась ночь. Была тяжка она.
Над палубой давила парусину.
И шесть часов сопровождала нас луна,
Похожая на ломтик апельсина.

На всех морях был капитанский штиль,
На всех широтах ветры не дышали.
Висел фонарь на мачте и шутил,
Завертываясь дымной шалью.

Но в компасном бреду скитался пароход,
И, улыбаясь, женщина спала на юте,

Вся в красной кисее, как солнечный восход,
Как песня древняя о мировом уюте.

16 июля 1925
Черное море

30. ДОРОГА ДАРЬЯЛА

Ручей подзадоривал. Ветер помог,
А солнце на горном пороге.
И восемь упругих коричневых ног
Идут по Грузинской дороге.

Идут комсомольцы в удобных трусах;
Вокруг начинают расти чудеса,
И древняя молодость дышит
Всё выше, и выше, и выше.

Вот вспучилось грозное чрево земли,
И выпрыгнуть Терек старался.
В двенадцать часов они Балту прошли,
А в три проходили Ларсом.

Заварен был день на ветру и жаре
Лукавым и легким весельем,
Но странными искрами стали гореть
Сланцы под Дарьяльским ущельем.

Но выросли мраки гранитных эпох,
И сыростью дунул в них тамошний бог.
И к черным воротам Дария
Идет «молодая гвардия».

Широко и твердо ступают ступни,
Глаза напирают на стены теснин,
И к мускулам льнут плечевые ремни,
И едет навстречу веселый грузин.

Раздвинулся грузно гранит первородный,
Пуская отряд молодого народа.

И каждый поднял ладонь, как щиток,
И Терек метался, стихами пенясь,
Когда комсомолка, откинув платок,
Сказала, что помнила с первой ступени
(Гуденье цветного металла,
Сумевшего в строки лечь) :

«В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле. . .»

«Ну что же, — ответил веселый попутчик,
Упрямо уставя простые глаза, —
Здесь много красивей и много лучше,
А про Тамару — это буза!

Я, правда, в стихах не особенно крепок,
А Лермонтов делал их — первый сорт,
Но это ж была пограничная крепость
Против степных, кочевых орд.

Дальше, ребята!» И ветер помог —
Ветер на горном пороге.
Восемь упругих коричневых ног
Идут по Грузинской дороге.

Расходятся мраки гранитных эпох,
В ущельях скрывается тамошний бог,
Из черных ворот Дария
Выходит юная гвардия.

Суровой дорогой исчезнувших рас,
Которые знали не хуже нас
Большую правду о будущем дне, —
Идти вперед по земной спине.

1927

31. ХУЛО

Был вечер черствее, чем старый лаваш.
Ущелье гудело под ветром растущим,
У гор, на седеющих головах,
Свились башлыками аджарские тучи.

Шипение ветра. Полет шмеля,
Зурна, выводящая «шамиля».
Семнадцать глазков керосиновых ламп.
Леса и дома по сутулым скалам.

Как только умрет дневное тепло,
Лавчонки закроет глухое Хуло;
Проносится звук запираемых ставней,
Духанщик на угли похлебку ставит,
И едут с дороги по зову огня
Две черные бурки на тихих конях.
С турецкой границы кричит сова.
В духане кончают лото тасовать,
И видны в желтке лучевой полосы
Угрюмые пальцы и злые носы.

Ночь стелет для путника Млечный Путь,
Огромное белое ложе тревоги.
В совиную темень, на козью тропу
Ведет контрабанда бесшумные ноги.
И ждут ее честно в терновых кустах
Собаки ищейки и пули поста.
Луна от Годера отчалит, —
Рассказ обернется сначала.

В казарме на чахлое полотно
Громаду «Потемкина» движет кино.
У гор на седеющих головах
Свились башлыками аджарские тучи.
— Почтенна ночь и велик Аллах,
Нас пули учат и уши учат:
Молись, чтобы шороха псы не слышали,
Чтоб мелок был брод на Аджарис-Цхали. —

Вдруг вспышка, и выстрел, и топот, и топ,
Вдруг щебень, свистя, под откосы брызнет...
И полночь тасует большое лото
Из алых звезд и бандитских жизней.

Вот так проползают на козьем пути
Манчестерский джемпер и пудра Коти.

<1928>

82. ОБРАЩЕНИЕ

Я требую больше веры:
огонь
Пожирает дрова.
Вода
Раздвигает льды.
Ветер
режет пургой.
Время
ведет молодых.
Время идет с нами в строю,
Потому что страна молода.
Приходят на землю старую
Будущие города.
Я требую больше веры:
хлеб
Кладут на весы.
Милостыню
Просит старик.
Стынет на барахле
Детский стеклянный крик.
Но, до копейки себя сберегая,
Утомленная дочерна,
Сердцем ударных бригад
Пульсирует страна.
Я требую больше мужества!
Сор
Сметают метлой.
Уют
Швыряют в мартеновский цех.
Катится колесо.
Высчитана цель.
Я требую больше мужества!
Труд
Сработал поверхность планеты.
Песня
Ему помогала, —
Стой на горячем ветру

Ребенком Интернационала!
Тогда и твоя голова
Тяжелое солнце подымет.
Помни:
Огонь
 пожирает дрова,
А время
 идет с молодыми.

1929

33. ПОВЕЛИТЕЛЬ БУМАГИ

*Вадим ехал скоро, и глубокая,
единственная дума, подобно
коршуну Прометейя, пробуждала
его и терзала его сердце.*

Лермонтов

Большой человек, повелитель бумаги,
Несет от московской жары
Сто семьдесят пять сантиметров ума,
Достоинства и хандры.

Такой величавый, внушающий рост
Тела, стихов и славы
Рванул его к сонму классических звезд,
Где он засиял по праву.

Большой человек постарел на полтона,
И девушки с легкой ленцой
Сначала глядят на его пальто,
Потом на его лицо.

Редакции были в него влюблены,
Но это не помогло —
От новолунья до полной луны
Он в весе терял кило.

Большую звезду разъедала ржа,
Протуберанцы тоски.

Поэзия стыла, как муха жужжа,
В зажиме его руки.

Мигрень поднимала собачий вой,
Ритм забивался в рот,
И дни пятилетки тянули свой
Фабричный круговорот.

Тогда прилипает к его груди
Денежный перевод.
Тогда остается тебе, Вадим,
Ирония и Кисловодск.

И снова пространства сосет вагон,
Россия путем велика.
И снова шеломами черпают Дон
Вечерние облака.

Угольным чертом летит Донбасс,
Рождаются города,
И, выдыхая горящий газ,
В домнах ревет руда,

А ночью, когда в колыбель чугуна
Дождь дочерей проводил,
Голосом грубым спросила страна:
«Что делать,
товарищ Вадим?»

Тебе отпустили хороший рот
И золотое перо.
Тебя, запевалу не наших рот,
Мы провели вперед.

Я, отряхая врагов и вшей,
Назвалась твоей сестрой,
Ты нахлебался военных щей
Около наших костров.

Но не таким я парням отдавалась
За батарейную жуть:

И над твоим концом,
Вадим,
Не хлынет
ветром молодым
Твой юношеский
флаг».

Большой человек, повелитель бумаги,
Не хочет изъять из игры
Сто семьдесят пять сантиметров ума,
Достоинства и хандры:

«Всю трагедийность существованья
И право на лучшую жизнь
По справедливости и по призванью
Я в книги свои вложил.

Я буду срамить ошибки эпохи,
Кромсающей лучших людей,
Я буду смирять ее черствую похоть
Формулами идей.

Родина и без моих блюд
Сама на весь мир звенит,
А если я слишком ей нагрублю,
Должна меня извинить».

Страна отвечает:
«Страхни с пиджака
Мой стылый ночной пот.
Эту историю о веках
Я слышала с давних пор.

За батарейную славную жуть
Ложилась я к мертвецам.
Беременной женщиной я лежу
И скоро рожу певца.

Голос широкий даст ему мать,
Песни его — озноб.
И будут его наравне понимать
Ученый и рудокоп.

А ты, кому строфика подчинена,
Кто звезды глядит в трубу,
По справедливости и по чинам
Устраивайся в Цекубу».

1929 (?)

84. КУХНЯ ВРЕМЕНИ

Э. Багрицкому

«Дай руку. Спокойно...
Мы в громе и мгле
Стоим
на летящей куда-то земле». —
Вот так,
постепенно знакомясь с тобою,
Я начал поэму
«Курьерский поезд».

Когда мы с Багрицким ехали из Кунцева
В прославленном автобусе, на вечер Вхутемаса,
Москва обливалась заревом пунцовым,
И пел кондуктор угнетенным басом:

«Не думали мы еще с вами вчера,
Что завтра умрем под волнами!..»

Хорошая спортсменка, мой моральный доктор,
Однажды сказала, злясь и горячась:
«Никогда не ведите движений от локтя —
Давайте движенье всегда от плеча!»

Теперь, суммируя и это, и то,
Я подвожу неизбежный итог.

Мы — новое время —
в разгромленной мгле
Стоим
на летящей куда-то земле.

Пунцовым пожаром горят вечера,
История встала над нами.
— Не думали мы еще с вами вчера,
Что завтра умрем под волнами.

Но будут ли газы ползти по ночам,
Споют ли басы орудийного рокота —
Давайте стремительный жест от плеча,
Никогда не ведите движений от локтя!

Вы думали, злоба сошла на нёт?
Скелеты рассыпались? Слава устала?
Хозяйка три блюда дает на обед,
Зимою — снежит, а весною — тает.

А что, если ужин начнет багроветь?
И злая хозяйка прикажет —
«Готово!»

Растает зима
от горячих кровей,
Весна заснежит
миллионом листовок,

И выйдет хозяйка полнеть и добреть,
Сливая народам в манерки и блюда
Матросский, наварный борщок Октябрей,
Крутой кипяток мировых Революций.

И мы в этом вареве вспученных дней,
В животном рассоле костистых событий —
Наверх ли всплывем,
или ляжем на дне,
Лицом боевым,
или черепом битым.

Да! Может, не время об этом кричать,
Не время судьбе самолетами клеткать,
Но будем движенья вести от плеча,
Широко расставя упрямые локти!

Трамвайному кодексу будней —
не верь!

Тут

подпись и росчерк.

Всё кончено,

Лишь понемногу

в сознание въезжает вагон,

идуший, как мальчик,

не в ногу

с пехотой столбов телеграфных,

агония храпа

артистов эстрады,

залегших на полках, случайная фраза:

«Я рада»... .

И ряд безобразных

сравнений,

эпитетов

и заготовок стихов.

И всё это вроде любви.

Или вроде прощанья навеки.

На веках

лежит ощущение покоя

(причина сего — неизвестна).

А чинно размеренный голос

в соседнем купе

читает

о черном убийстве колхозника:

— Наотмашь хруст топора

и навзничь — четыре ножа,

в мертвую глотку

сыпали горстью зерна.

Хату его

перегрыз пожар,

Там он лежал

пепельно-черный. —

Рассудок —

ты первый кричал мне:

«Не лги».

Ты первый
 не выполнил
 своего обещанья.
Так к чертовой матери
 этот психологизм!
Меня обнимает
 суровая сила
 прощанья.

Ты поднял свои кулаки,
 побеждающий класс.
Маячат обреза,
 и полночь беседует с бандами.
«Твой пепел
 стучит в мое сердце,
 Клаас.

Твой пепел
 стучит в мое сердце,
 Клаас», —
Сказал Уленшпигель —
 дух
 восстающей Фландрии.
На снежной равнине
 идет окончательный
 бой.

Зияют глаза,
 как двери,
 сбитые с петель,
И в сердце мое,
 переполненное
 судьбой,
Стучит и стучит
 человеческий пепел.

Путь человека —
 простой и тяжелый
 путь.

Путь коллектива
 еще тяжелее
 и проще.
В окна лачугами лезет
 столетняя жуть;

Всё отрицая,
качаются мертвые рощи.

Но ты зацветаешь,
моя дорогая земля.
Ты зацветешь
(или буду я
трижды
проклят. . .)
На серых болванках железа,
на пирамидах угля,
На пепле
сожженной
соломенной кровли.

Пепел шуршит,
корни волос
шевеля.
Мужество вздрагивает,
просыпаясь,
Мы повернем тебя
в пол-оборота,
земля.
Мы повернем тебя
круговоротом,
земля.
Мы повернем тебя
в три оборота,
земля,
Пеплом и зернами
посыпая.

Январь 1930

36. О ДРУЗЬЯХ

Когда ты спишь,
Когда ты спишь, моя милая,
Когда ты спишь,
подложив под голову сон,
Эпоха решает меня помиловать,
Эпоха звучит со мной в унисон.

Довольно армейского пафоса!

Довольно!

Когда ты спишь — я сжимаю рот:
Мне очень невесело и очень больно,
Или, быть может, совсем наоборот?

Или, быть может, совсем наоборот.
Я листаю спокойный учебник истории,
Я тихонько свищу сквозь зубастый рот:
Друзья мои, друзья мои —
вы проспорили!

Вы проспорили всё, чем нужно дорожить —
Мясо мускулов, смех, ощущение времени.
Вы пускали в ход перочинные ножи,
А нужен был штык,
чтобы кончить прения.

Вы, ощерив слова и сузив глаза,
Улыбались, как поросята в витринах.
Потом, постепенно учась на азах,
Справляли идейные октябрины.

А когда эпоха, челюсти разъяв,
Начала рычать о своих секретах,
Вы стали метаться, мои друзья —
Инженеры, хозяйственники и поэты.

Вы стали подписчиками «Нового мира»,
Оттуда философию выгребали лапами.
Вы стали грустны, как уплотненная квартира,
И не слышите,
что говорят на Западе:

«Только тот, говорят,
кто горяч и черств.

Расценивается
в долг и смолоду

На миллиарды
эонных верст,
На миллионы золота».

Ты строишь за месяцем месяц,
ты крепнешь за годом год, —
Ты самая светлая в мире,
ведущая мир вперед.
Я сонным огнем тлею
и еле качаю стих.
За то, что я стал холодным,
ты тоже меня прости.
Но время идет, и стройка идет,
и выпадет мой черед, —
Возьми меня, переделай
и вечно веди вперед.
Три поколения культуры,
и три поколения тоски,
И жизнь, и люди, и книги,
прочитанные до доски.
Республика это знает,
республика позовет, —
Возьмет меня,
переделает,
Двинет время вперед.
Ты строишь, кладешь и возводишь,
ты гонишь в ночь поезда,
На каждое честное слово
ты мне отвечаешь: «Да!»
Так верь и этому слову —
от сердца оно идет, —
Возьми меня, переделай
и вечно веди вперед!

1929

38. МЕРТВЫЙ ХВАТАЕТ ЖИВОГО

1. СУСЛИК

Розовый суслик глядит на тебя,
Моргая от сладкой щекотки,
Он в гости зовет, домоседство любя,
Он просит отведать водки.

И водка, действительно, очень вкусна,
Уютен рабочий столик,

2. ОБЫСК СЕРДЦА

Мы с тобою сбились оба
В самый крутень снеговой.
Вот идет полночный обыск,
Обыск сердца моего.

Посмотрите, в самом деле, —
Там лежат с давнишних пор
Трехрублевые идеи,
Трехкопеечный задор.

Философия для жженья
Всех сердец во всех местах —
В самом кратком изложении
На шестнадцати листах.

Идеальчик полуголый,
Сборник песен — тра-та-та,
Холод,
 Холод,
 Холод,
 Холод,
Пустота и пустота.

Если нужен прокурору
Сам хозяин этой мглы —
Так ведите! — Мир огромен,
В нем забиты все углы.

А республика — не прачка
Для замызганных сердец.
Прямо к стенке!
 Чистой пачкой!
И спасибо...
 И конец...

1929 (?)

89. ШТЕЙГЕР И ЛОРЕЛЕЯ

Над страшною высотой
Девушка дивной красоты
Одеждой горит золотою,
Играет златом косы...

Г. Гейне

Не скоро привыкнешь к подземной муштре:
Цепляется глаз, балует шаг.
Прямо — врезается в горы штрек,
Сбоку идет квершлаг.

Наш рудник далеко знаменит:
Меди большой процент.
Он, когда запалят динамит,
Лучше кино и сцен.

Давно полюбил я эти кряжи,
Сутки сижу сполна.
Первая причина — ударная жизнь,
Вторая причина — жена.

Там, наверху, диаграммы висят, —
Мы дали крутой разгон.
Июнь — семь тысяч сто пятьдесят,
Июль — восемь тысяч тонн.

А эта — пушиста, как снежный ком,
Сверканьем окружена,
Тело широкое — кровь с молоком, —
Такая моя жена.

Такая голубка, такая краса,
Чтоб черти ее унесли!
Сидит себе, дура, растит волоса
До самой почти земли.

Посмотрит, поглянет —
ужалит оса
Горняцкое сердце твое.

Растит волоса, поет чудеса —
Немецкие песни поет.

Из Риги, с германского фронта,
встарь,
Привез я ее сюда:
Женин отец — пивовар-кустарь —
Проклял меня навсегда.

Сын и дочурка, шустрей блохи,
Хозяйство...

Нужна рука.
Поет, вышивает, читает стихи
Немецкого говорка.

Сын ко мне и дочь ко мне —
Висят, обнимают...

Жара!
Жена говорит:
«Становись умней,
Погубит тебя гора.

Ты получаешь сто двадцать пять,
Прислуга груба и грязна,
Я слезы лью перед распятем,
Бедная твоя жена.

Папаша с мамашей совсем одни
Доживают почтенный век.
Бросай немедленно свой рудник,
Безжалостный человек!

Туда, —
где улицы,
ах, хороши!

Где пряники падают в рот,
Где носят богатые латыши
Бостоны и коверкот.
Туда!»

Ссора идет,
Детишки визжат.

И клетка летит вниз,
И взрывами бьет рудник.

Сланцами сжат пиррит,
Залег колчедан у стен.
И трое суток кипит
Работа ударных смен.

В глазах моих крутит туман,
И сердце трубит трубой —
Штейгер

Свищев Иван
Соревнуется сам с собой.

<1930>

40. ЖЕСТОКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

Сегодня ночью
ты приснилась мне.
Не я тебя нянчил, не я тебя славил,
Дух русского снега и русской природы.
Такой непонятной и горькой улады
Не чувствовал я уже многие годы.

Но ты мне приснилась,
как детству — русалки,
Как детству —
коньки на прудах поседелых,
Как детству —
веселая бестолочь салок,
Как детству —
бессонные лица сиделок.
Прощай, золотая,
прощай, золотая!
Ты легкими хлопьями
вкось улетаешь.
Меня закрывает
от старых нападок
Пуховый платок
твоего снегопада.
Молочница цедит мороз из бидона,

41. ВОЛЧЬИ ВОЙ

Любовь? —

Остановимся, товарищи, на этом.

Любовь — это, видите ли, дождь лучевой:

Он высмуглит сердце огнем и светом,

Потом остановится — и нет ничего.

А бывает и так, что скрипнет челюсть,

Волосы встанут, как дивизия штыков.

Через день,

 через ночь,

 через жизнь

 и через

Смерть

Ты проедешь с любовью такой.

А!.. — Это страшно. Страшно и беззвучно,

Беззвучно, как выстрел у самой головы, —

Когда человек, всем наукам обученный,

Начинает сипло, по-волчьи выть.

Он бегаёт кругами и бормочет: «Маша!

Мушка, Мурашка, Майка, Май!..»

Он каждому трамваю перчаткой машет:

«Стой! Она там! Стой, трамвай!»

Словно биноклем навыворот уменьшенный,

Город мурашками ползет в глазах.

Над городом вытянулось тело женщины,

Раскидывая руки на полный взмах.

М-м, как долго моются в ванной,

М-м, как ужасен простынный снег,

Как податливы подушки дивана,

И слышно, как дышат они во сне.

Человек разбивает роговые очки,

Он топчет на них негритянский танец.

Ночь играет в подкидные дурачки.

Свалится? Встанет!

Свалится? Нет, пожалуй, встанет!..

Мучьте до рассвета. Стучите в рамы
Стаканом оптимизма или рюмкой водки.

Скорее кидайте в него цитатами,
Глушите книгами, держите дисциплиной,
Чтобы в самом последнем его атоме
Началась усталость длинная, длинная.

Товарищи! Рванитесь на него ночами,
Вырвите ему нервы ушей и глаз, —
Потому что *такое* свирепое отчаянье
Может прикончить каждого из вас.

1928—1929

42. ЛИМОННАЯ НОЧЬ

Луна стоит на капитанской вахте,
На триста верст рассыпался прибор.
И словно белая трепещущая яхта
Уходит женщина, любимая тобой.

Мне нужен сон глубокого наплыва,
Мне нужен ритм высокой чистоты.
Сегодня звезды сини, словно сливы,
Такие звезды выдумала ты.

Лимон разрезанный
на лунный свет походит.
Таких ночей
светлей и тише нет,
Тревожные созвездья
пароходов
Прносятся
в лимонной тишине.
Телеграфируйте в пространство,
дорогая,
Что бриз и рейс
вас сделали добрей.

С пролетающей кровью еще,
Приминая фуражкой запотевшие пряди,
Разминая плечи, оглаживая бороды, —
Мобилизованные отряды
Строителей моего города:
Двадцатый,
Девятнадцатый
И восемнадцатый век.
Извести снежная паточка.
План, чертеж, размер в голове,
Циркуль, отвес, лопатка.
Но это же люди! Они в жизнь одеты,
Они голодом биты и холодом жжены,
С ними идут их дети!
С ними идут их жены!
А поодаль, в регалиях полных,
Марширует свирепая полночь:
Дворяне с единым амбирным лицом,
Стряпчие, ласково крадучись,
Торговые ряды купцов,
Косые клинья подрядчиков.
Ангельский хор в полицейских чинах
поет.
Вот флейты и бубны солдат повели
вперед.

Это Москва
Графа Ростопчина,
Мезониностроители и храмосоздатели.

Ближе — бурый кирпич доходных домов,
Особняк «Модерн» — желто-розовый.
Это прут на московские семь холмов
Рябушинские и Морозовы.
Это фабрика. Дым. Изразец. Гранит.
Это бычья сила на убыли.
И стоцветные фрески пишет для них
Сумасшедшая мощь Врубеля.

Но гремит бас-труба,
и горит бас-баритон,
И литавры бьют
о щеку щекой.

Как здоровый дом поднимают строители.
Как вставляют стекло и грохочут крышами, —
Опиши это так, чтобы все услышали».
Мастер прав!

А тебя не измеришь меркою.
Не пора ли проститься, не пора кончать ли?
Я стою армейцем на ночной поверке.
Уходи! Я повертываю выключатель!

Полуваттное солнце влетает во тьму.
Занемелые пальцы карандаш очиняют.
Мы простились. Довольно. И потому
Я начинаю! . .

1927

44. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Меня берут за лацканы,
Мне не дают покоя:
Срифмуйте нечто ласковое,
Тоскливое такое,

Чтобы пахнуло свежестью,
Гармоникой, осокой,
Чтобы людям понежиться
Под месяцем высоким.

Чтобы опять метелица
Да тоненькая бровь.
Всё в мире перемелется —
Останется любовь.

Останутся хорошие
Слова, слова, слова,
Осенними порошами
Застонет голова,

Застонет, занедужится
Широкая печаль —
Рябиновая лужица,
Березовая даль.

Мне плечи обволакивают,
Мне не дают покоя —
Срифмуйте нечто лаковое,
Замшевое такое,

Чтоб шла разноголосица
Бандитских банд,
Чтобы крутил колесиком
Стихов джаз-банд,

Чтобы летели, вскрикивая,
Метафоры погуще,
Чтобы искать великое
В кофейной гуще.

Вы ж будете вне конкурса
По вычурной манере, —
Показывайте фокусы
Открытия Америк.

Всё в мире перекрошится,
Оставя для веков
Сафьяновую кожу
На томике стихов.

Эй, водосточный жёлоб,
Заткнись и замолчи! —
Слова мои — тяжелые,
Большие кирпичи.

Их трудно каждый год бросать
На книжные листы.
Я строю стих для бодрости,
Для крепкой прямоты.

Я бьюсь с утра до вечера
И веселюсь при этом.
Я был политпросветчиком,
Солдатом и поэтом.

Не знаю — отольются ли
Стихи в мою судьбу, —
Морщинки Революции
Прорезаны на лбу.

Не по графам и рубрикам
Писал я жизни счет.
Советская республика
Вела меня вперед.

Я был набит ошибками,
Но не кривился в слове,
И после каждой сшибки я
Вставал и дрался снова.

И было много трусости,
Но я ее душил.
Такой тяжелый груз нести
Не сладко для души.

А ты, мой честный труд браня,
Бьешь холостым патроном,
Ты хочешь сделать из меня
Гитару с патефоном.

Тебе бы стих для именин,
Вертляв и беззаботен.
Иди отсюда, гражданин,
И не мешай работе.

1929 или 1930

45. ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Краснофлотцам «Червонной Украины»

При встрече двух военных эскадр
различных государств отдается салют
выстрелами, поднятием национального
флага и исполнением национального
гимна противоположной стороны.

Имперскими флагами вея и рея,
Килями волны тараня,
Входит на утренний рейд Пирея
Эскадра Великобритании.

Уже над Сибирью
 пылит пурга,
И шквалы на Черном
 свиристуют люто.
Смирно, товарищи!
 Все по местам!

Салют линкорам и крейсерам.
Орудия,
 к салюту!!
Мы строго построились.
 Ветер свежел.
В шеренгах ленты взлетали
 бурливо,
И на гафеле нашем
 цвел Юнион-Джек —
Флаг Британии
 горделивый.

Глухо дрогнула
 крейсера бронь,
Громовая сила
 пошла стволами.

С левого борта
 летел огонь,
С правого —
 руки ревущего пламени.
В сердцах бушевал
 ледяной вал,
Он бил в утесы
 флота пуританина.
И наш оркестр
 размеренно рвал
Литаврами окованное —
 «Руль, Британия».
Но каждый знал,
 что этот корабль,
Поднявший к небу
 стальные отвесы,
Пятнадцатидюймовыми дулами
 взирал
На улицы
 нашей Одессы.
И каждый помнил,
 что этот корабль,
Громадина стали,
 мертвенно сизая,
Спасая Деникина,
 кидал якоря
В гавани
 Новороссийской.
Качнулся внезапно
 мрачный строй,
Висящий над морем
 башнями грубыми.
Он вспыхнул
 щетиной штыков,
 остро,
Полыхнул на солнце
 серебряными трубами.
Одну секунду
 нас кто-то расцелял,
Как будто мы прежде
 были другими,

И сразу ударил
«Интернационал»
Стоградусным штормом
всемирного гимна.

И радостно было и дико:
Замри!
Встань еще строже,
прямее
еще!

На мачтах британских
лучами зари
Красные бьются полотнища.
Казалось,
что силы вселенной велят
Эскадрам смыкаться
для общей цели.
Казалось,
губами не шевеля,
Команды дредноутов
молча пели.

Торжественным сделался
каждый предмет,
И память вбирала
флот многогрудый,
Прообраз
уже наплывающих лет,
В ликующих окриках
хриплых орудий.
И наш последний,
решительный бой
Глаза застлал
простором водным.
Но рухнула тишь.
Плыл туман голубой.
Официальный салют
был отдан.
И день развернулся,
как синий плакат,
Трубы сигнальщиков
брали скрипучие ноты.

На синих увалах Парнаса
 паслись облака,
Хмуро курились
 сверхдредноуты.
Но беспредельным вечером,
 когда на воде
Качаются созвездья,
 звезда к звезде,
Когда горит высоко
 огонь на клотике,
К нашему крейсеру
 подкралась лодка.
Вахтенный
 через трап
 перегнулся низко,
Сгрудились ребята,
 бежавшие на ужин.
И сдержанный голос
 снизу
 крикнул по-английски:
«Лонг лив зи рашен Революшен!»
«Здравствуйте, наши товарищи,
 Здравствуйте, моряки!»
Хлюпала лодка
 по лунной россыпи.
Отчетливо замахали
 четыре руки,
Четыре руки
 матросские,
И сразу пропали,
 и весел плеск
Вынырнул далеко,
 там, где луна играла.
На британской эскадре,
 холодно и наотрез,
Взвыли рожки
 ночного сигнала.

1930 (?)

46. ГОЛОС

Я человек —
Голос миллионноголосого города,
Голый, простой, непонятный,
Перевернувший горы годов
Под солнцем,
уже зачерневшим пятнами.

Я провел по земле своего коня
и по морю — паруса полотно.
Из папье-маше
я выкруглил
ученический глобус.

В конце концов
мне дали кино,
Радиоджаз
и полицейский обыск.

Я солдат, —
Килограммы костей,
крови и мышц,
Мобилизуемый,
предаваемый и продаваемый.

Я сучу лапками,
как полевая мышь.

Надо мною
снаряды
бегут трамваями.

Мне нечем дышать
и нечем укрыть мою бедную голову.

Я приколю убийц,
приказавших мне умереть.

Они суют наши трупы,
понятные, простые и голые,

В сыпучие зевы земли
или мокрые глотки морей.

Я пролетарий,
зрачками прибитый к конвейеру,
Прносящему стальные вещи
слева направо.

От площади
 Кара-Кея
До площади
 Пти-Шан.
И стали
 еще старше,
На отдыхе
 вечных дорог,
Константинопольский рейд
И Золотой Рог.
Я встретился
 с неизвестным
И слышал
 его рассказ.
История встречи
 и место ее, —
Об этом
 в другой раз, —
«Жизнь, — он сказал, — прогремела
Мелочью стран и морей,
И мне уже нечего делать,
И я хочу умереть.
Я знал миллионы профессий:
В Марселе работал ножом,
В Женеве считался профессором.
В Нью-Йорке играл на банджо.
Мне вдруг непонятно стало
Людское житье-бытье:
Большая, глухая усталость
Ударила в сердце мое!
Я несся, как гонщик на треке,
Я схватывал на лету
Смертельную нежность века,
Гниющий распад культур.
Железное сердце Европы
Лежало в моих руках;
Ужасным, журчащим ропотом
В него просочился страх.
И стало оно гибнуть,
Огромное перед концом,
С национальными гимнами
Живых еще мертвецов.

Но в час мирового заката
Забилась, гудя и спеша,
Поступь пролетариата,
Его молодая душа.
Моя свободная воля
Упала, как высохший лист.
Я был перекати-поле,
Мыслитель и авантюрист.
И мне до предела ясно,
Что всё сгорит на огне,
Что будет кроваво-красной
Лучшая из планет,
И будут ее перекраивать
Лучшие из людей.
Но там, от края до края,
Меня уже некуда деть!»

— «Постойте, —
прервал я, —
довольно!

Довольно этой бузы!
Вам, вероятно, больно
Твердить такие азы.
Наших писателей вереницы
Вот уже десять лет
Слышали за границей
Точно такой же бред.
И нам уже неинтересно,
Какие глубины тая,
Треснет или не треснет
Личное ваше «я».
Мы не покрывка гроба,
Но если ударит гром,
Мы старую Европу
Вычистим и приберем.
А нервы наши на привязи —
К чертям мировой распад!
Стреляйтесь или давитесь,
Но лучше — идите спать».

<1932>

48. «ДЕНЬ ГНЕВА»

(Dies irae)

В мерцающей шапке,
 в карминной ризе,
Выворачивая
 каменные глаза,
Кардинал
 заклинал
 мировой кризис,
И ему подвывала
 органа
 гроза.
Волосатое, круглое ухо
 прелата
Поворачивалось
 за клинком свечи.
Сухощавые ангелы
 в пасмурных латах
Сдвигали на фресках
 щиты и мечи.
И когда
 над удавом
 душистого тумана
Он смолкал
 и глотал, как ядро,
 кадык,
Снова в синих стволах
 векового органа
Закипала
 свинцовая злоба
 владык.
Но через окна
 с нимбами золотыми
Машины города
 протягивали
 зубчатый гул
Над медным набатом
 свирепой латыни,
Над волчьим рычаньем
 папских булл.

Остекленелые глаза
 глядели снизу
На тихо шуршащий
 пергаментный лист.
Именем папы
 был свален и пронизан
Молниями
 каждый коммунист.
Именем папы
 в преисподнюю
Рушилась
 грозных заводов
 гряда.
Именем папы
 воины господни
Вытаптывали танками
 города.
Именем папы
 был год отмечен.
Земля
 лежала
 холодна и бледна.
Именем папы
 безбожная нечисть
Выжжена,
 задушена,
 истреблена.
Светлая мысль человечества,
 где же ты кружишься,
Жалкая,
 среди звонов,
 огней,
 икон?!

В белой, газовой маске
 ужаса
Солнце всходит
 над материком.
Над морями,
 полями,
 лесами

Бомбовозов
 святая семья.

«Dies irae» —
 осанна, осанна!
«Dies illa» —
 грядет судия!
Девушки, —
 ваши ресницы пушисты.
Парни,
 молчащие
 на скамьях позади,
Ликторские значки
 фашистов
Еще не синеют
 у вас на груди.
Уходите прочь!
 Не ждите конца! —
Бешенства такого
 вам не измерить:
Это идет
 во имя отца,
Сына
 и духа святого —
 Смерть!
Безумный орган
 начинает пылать
Багровыми облаками
 хорала.
Солнце взлетает,
 лучами пыля,
Оно никогда еще
 не умирало.
Не умирало!
 Слышишь ли ты,
Адамова голова
 кардинала?
Галилей пробивался
 сквозь вашу латынь.
Оно никогда еще
 не умирало!
Бег его
 можешь ли
 остановить?

Лишить его
можешь ли
света и жара?
Можешь ли сдвинуть,
наивный Навин,
Одну шестую
земного шара?!
Уже зрачки
вылезают на лоб,
По скамьям ползет
истерический ропот.
Осатанелый,
сверкающий поп
Кропит ипритом
тело Европы.
Над миром качается
гнусная мгла,
Затворы орудий
уныло зевают,
Глухо
ухают
колокола,
Последний
крестовый поход созывая.
Но, поднимая
лапы якорей,
В соленом и синем
своем расцвете,
Летят на восток
пять морей,
Гудит с востока
крылатый ветер.
Он тяжелеет,
тучи гоня,
Песни его
как пули вопьются, —
Ветер строителей,
Ветер огня,
Ветер —
Салют
Революции.

1931

ИЗ ПЕРВОЙ КНИГИ

49. БОЛЬШЕВИКАМ ПУСТЫНИ И ВЕСНЫ

В Госторге, у горящего костра,
Мы проводили мирно вечера.
Мы собирали новостей улов
И поглощали бесконечный плов.
А ночь была до синевы светла,
И ныли ноги от казачьего седла.
Для нас апрель просторы распростер,
Мигала лампа,
И пылал костер.

Член посевкома зашивал рукав,
Предисполкома отгонял жука,
Усталый техник, лежа на боку,
Выписывал последнюю строку.
А по округе, на плуги насеv,
Водил верблюдов
Большевиcтский сев.

Шакалы воем оглашали высь.
На краткий отдых люди собрались.
Пустыня била ветром в берега,
Она далеко чуяла врага,
Она далеко слышала врагов —
Удары заступа
И шарканье плугов.

Три раза в час в ворота бился гам —
Стучал дежурный с пачкой телеграмм.
И цифры, выговоры, слов напор
В поспешном чтении наполняли двор.
Пустыня зыбилась в седой своей красе.
Шел по округе
Большевистский сев.

Ворвался ветер, топот лошадей,
И звон стремян, и голоса людей.
Свет фонаря пронесся по траве,
И на веранду входит человек.
За ним другой, отставший на скаку, —
Идет пустыня, ветер,
Кара-Кум!
Крест-накрест маузеры, рубахи из холстин...
Да здравствуют работники пустынь!
Ложатся люди, кобурой стуча,
Летают шутки, и крепчает чай.

На свете всё одолевать привык
Пустыню обуздавший большевик.
Я песни пел, я и сейчас пою
Для вас, ребята из Ширам-кую,
Вам до зари осталось отдохнуть,
А завтра — старый караванный путь
На те далекие колодцы и посты.
Да здравствуют
Работники пустынь!

Потом приходит юный агроном,
Ему хотелось подкрепиться сном,
Но лучше сесть, чем на постели лечь,
И лучше храпа — дружеская речь.
В его мозгу гектары и плуги,
В его глазах зеленые круги.
Берись за чайник, пиалу налей.
Да здравствуют
Работники полей!

И после всех, избавясь от беды,
Стучат в Госторг работники воды.

Они в грязи, и ноги их мокры,
Они устало сели на ковры,
Сбежались брови, на черту черта.
— Арык спасли.
Устали. Ни черта!
Хороший чай — награда за труды.
Да здравствуют
Работники воды!

Но злоба конскими копытами стучит,
И от границы мчатся басмачи,
Раскинув лошадиные хвосты
На землю, воду и песок пустынь.
Дом, где сидим мы, — это байский дом.
Колхоз вспахал его поля кругом.
Но, чтобы убивать и чтобы взять,
Бай и пустыня возвращаются опять.

Тот топот конницы и осторожный свист
Далеко слышит по пескам чекист.
Засел прицел в кустарнике ресниц.
Да здравствуют
Работники границ! ..

Вы, незаметные учителя страны,
Большевики пустыни и весны!
Идете вы разведкой впереди,
Работы много — отдыха не жди.

Работники песков, воды, земли,
Какую тяжесть вы поднять могли!
Какую силу вам дает одна —
Единственная на земле страна!

1930

Хлопкосоюза?

Всё равно:

ночь ли,
топот ли,
или гул,

Подкова ли,
цокнувшая зря, —

Трактор идет,
и качает дугу
света —
размах фонаря.

Трактора ползут
далеко-далёко,

Как светляки
на ладони земли.

С чем же сравнить
этот ровный клекот,

Невидимые руки
и круглые рули?

Час,
когда луна расцвела
в зените,

Час,
когда миндаль поднялся
к луне, —

И телеграф
на жужжащих нитях

Ведет перекличку
по всей стране?

Вдруг
автомобильные яростные
фары

Срезают
пространство и время
на нет.

Они пролетают,
как дружная пара

Связанных скоростью
планет.

И мой товарищ
говорит:
«Я знаю,

Что
 провод, и конь, и мотор
 уносили:
Это через ночь
 проходит
 посевная —
Радостный сгусток
 рабочих сил».

Я отвечал:
 «Посмотри налево.
Огни в исполкоме
 горят
 до утра,
Там колотится
 сердце сева,
Там
 математика и жара».

Я отвечал:
 «Посмотри направо:
Огни на базе
 горят
 до утра,
Там человек
 спокойного нрава
Считает
 гектары и трактора».

Я отвечал:
 «Готовясь к испытаниям,
Бессонно пашет
 страна молодых.
И мы разрываем
 пустынную тайну
Круглой луны
И арычной воды.
Ночью и днем
В одном ритме
Люди
 кипят
 на двойном огне».

Подскакал инструктор.
Инструктор кричит нам:
«Двадцать гектаров кончено!»

Отставших
нет! . . .»

А ночь
пересыпана соловьями,
Уши
до звона утомлены.
На каждой стене
и в каждой яме
Лежит
или свет,
или тень
луны.
Округ дрожит
от машинного хода,
Гулы
складываются,
как кирпичи.
От самой земли
до небосвода
Натянуты,
как жилы,
лунные лучи.
Всеми мускулами
Напряжена
Весна,
И
Моторы
На сутки
Заведены.
Ты понимаешь?
Это идет посевная,
Посевная кампания
Всей страны! . .

*13 июня 1930
Дейнау — Москва*

51. ПИСЬМО

Товарищ Маслова,
Я впервые
За целый месяц пишу тебе.
Я заболел:
Доктора правы.
Низко кланяюсь своей судьбе.

Здесь до нас здорово перегибали.
Колхозы разваливались,
Сеялок — ни одной.
Самая злостная агитация баев
И неизбежный срыв
Посевной.

Приехал я и Нияз-Мурадов —
Хороший парень,
Упрямый крот.
Мы разорвались, как два снаряда,
На тысячи дел
И сотни работ.

Я словно на смерть мобилизован.
Покрылся потом —
Соленой корой.
Уши наполнены свистом и звоном,
И малярия
Сосет мою кровь.

Очень хочется
Поболтать с тобою.
Я так агитировал, что стал молчалив.
Гектар за гектаром
Брали с бою.
Сегодня закончили первый полив.

То ли от собраний
В мозгу загудело,
То ли всё тело ноет от седла.
Черт его знает!
А все-таки дело
Сдвинулось с места. Наша взяла.

Ну, как же писать
При такой нагрузке?
Сейчас половина второго утра.
Жук под лампой
Ворочает усиками.
Жара поднимается, как гора.

Ты надо мной не смейся,
Милая Маруся!
Но в такие ночи вижу я,
Будто тысячи ламп
Горят в Союзе,
И самая маленькая — моя.

За каждую лампой
Работает парень,
Считает дневные свои грехи,
Глощает чай,
На совесть заваренный,
Двигает трактор против сохи.

Каждую ночь,
Прежде чем засну я,
Всё вижу их лампы издалека.
Значит, двигают
Посевную
Мобилизованные ЦК.

А вокруг события,
Работа, лица:
Бедняк, середняк, бай, пастух.
Учиться, учиться,
Учиться, учиться.
Учитывать каждый случай и слух.

С собой я вожусь
Едва-едва.
Помру —
Небольшая потеря.
Но самое главное —
Не сдавать!
Но самое главное —
Верить!

Верить в то,
Что мы не зарвались,
Что темпы взяты
Как надо,
А наша дорога
В социализм
Устроена
Не для парада.

1930

52. ЗМЕЕВИК

Если б я в бога веровал
И верой горел, как свеча,
На развалинах древнего Мерва
Я сидел бы
И молчал.

Я сидел бы до страшной поверки,
Я бы видел в каждом глазу
Невероятную синеву
Сверху,
Невероятную желтизну
Внизу.

Я, как змей, завился бы от жара,
Стал бы проволочно худым.
Над моей головой дрожали бы
Нимбы, ромбы,
Пламя и дым.

Хорошо быть мудрым и добрым,
Объективно играть на флейте,
Чтобы ползли к тебе пустынные кобры
С лицами
Конрада Фейдта.

Это милые рисунчатые звери,
Они танцуют спиральные танцы.
Вот что значит твердая вера —

Преимущество
Магометанства.

Я взволнован, и сведенья эти
Сообщаю, почти уверовав:
Я сегодня дервиша встретил
На развалинах
Древнего Мерва.

Он сидел, обнимая необъятное,
Тишиной пустыни объятый.
На халате его, халате ватном,
Было всё до ниточки
Свято.

О, не трогайте его, большевики,
Пожалейте
Худобу тысячелетней шеи!
Старый шейх играет на флейте,
И к нему приползают
Змеи.

Они качаются перед ним,
Как перед нами
Качается шнур занавески.
Песня свистит, как пламя,
То шуршаше,
То более резко.

А потом эти змеи дуреют,
Как на длинном заседаньи
Месткома.
Они улыбаются всё добрее,
Трагической флейтой
Влекомые.

А потом эти змеи валяются,
Пьяные, как совы.
Вся вселенная стала для них вальсом
На мотив
Загранично-новый.

Но старик поднимает палку,
Палку, —
Понимаешь ли ты?
Он, как бог,
Сердито помалкивая,
Расшибает им в доску
Хребты.

И, вздымая грудную клетку,
Потому что охрип
И устал,
Измеряет змей на рулетке
От головы
До хвоста.

Он сидит на змеином морге,
Старичина,
Древний, как смерть.
И готовит шкурки
Госторгу,
По полтишнику
Погонный метр.

<1931>

53. МИЛИЦИОНЕР НУРИ

Н. Тихонову

Долина Сумбара —
Нухурские села,
Страна голубая
На солнце горит.
Долиной Сумбара
Скачет веселый
Милиционер Нури.

Радость моя,
Зацветает шиповник,
Дикие розы
Осыпали скат.
Сердце мое,

Навсегда запомни
Этот весенний
Стоверстный сад.

Поет Нури
О текинских сечах.
Читает бумаги,
В седле наклонясь.
Сумбар говорит
На вечернем наречьи.
И сыплются маки
За ухом коня.

Бренчанье удил.
Скворчиные свисты.
Скачет Нури,
Смешлив и здоров.
Ты тоже ходил,
Мой конек золотистый,
По этой дороге
Теплых ветров.

И каждый проезжий,
И каждый прохожий
С приветом,
С вопросом,
С указкой,
С умом
Берет у Нури
Его папиросы,
Сует ему в сумку
Свое письмо.

А может быть,
Где-нибудь
Выстрел с колена?
А может быть,
Кто-нибудь
Коня украл?
Эй! Эй! По ущелью
Шал-Чиклена,
Между отвесных
Галочьих скал.

И я хочу учиться,
и я не могу учиться.
От этого горько страдает
моя партийная честь.
Я разъезжаю на лошади
горами и переправами,
Славлю кооперацию,
отыскиваю кулаков.
Сердце мое наполнено
старой дехканской правдой,
Которую вынес народ мой
через века веков.
Сын кулябского нищего,
щенок, покрытый коростой,
Что я видел, товарищ,
на небе и на земле?
Господь мне кидал сверху
сухие бараньи кости,
За одного барана
отец меня продал мулле.
Бедняцкая мертвая злоба
качала меня в колыбели,
Колотила рукой и палкой,
запихивала в углы.
Я тоже учился, черный,
а рядом учился белый —
Хал-Мурад Мирахуров,
сын моего муллы.
Он против царя учился,
учился против султана,
Он верил в одно государство,
которое есть Ислам,
А вот про мое ученье,
если рассказывать стану, —
Так это была ненависть
с голодом пополам.
Мы слышали грозные вести
о гибели царского рода.
Я был этому рад,
и мулла был этому рад.
Он собирает народ,
он хвалит дело народа,

В младобухарскую партию
вступает Хал-Мурад.
А я служил как собака,
работал, тощий и грустный:
Муллы, купцы и чиновники
совсем загубили народ.
Тогда,
заодно с бедняками,
солдаты великого Фрунзе
Принесли на штыках и знаменах
великий двадцатый год.
И я заплакал, товарищ,
я вырубил длинную палку,
Выпрямил серп железный,
набил его на древко.
Я пошел за солдатами Фрунзе,
хоть было мне очень жалко,
Что нет у меня винтовки,
стреляющей далеко.
Много я встретил товарищей
во время большого похода.
Мы молоды были и рады,
а мулла — не особенно рад.
Он собирает народ,
он жалуется народу.
В партию коммунистов
вступает Хал-Мурад.
Сколько прошел я дорог!
Мне все дороги знакомы,
Все перестрелки знакомы,
все банды и главари.
Грамотный,
хитрый,
ученый,
он заседает в Ревкоме.
Огненной властью Советов
он пишет и говорит.
«Где же наша победа?» —
сердце мое закричало.
Зачем боевые выстрелы
мне голову не прожгли?

Всё,
что было и будет,
опять началось сначала,
Отродье мулл и чиновников
влезет на шею земли.

Горе!
За всё на свете
ответит усталая шкура,
Проклято семя нищего!
Это нечестный спор!

Здравствуй,
почтенный товарищ
Хал-Мурад Мирахуров,
Я дам тебе пулю, товарищ,
и скроюсь под крышей гор.

Но славная Красная Армия
глаза мои открывала,
Она по тропинкам грамоты
упорно меня вела —
И вывела,
именем Партии,
к высокому перевалу,

Откуда Ленин увидел
невиданные дела.
А Хал-Мурад Мирахуров,
как рыба, плыл по теченью,
Долго его не было,
но каждый слышал о нем.

И возвратился важно
к высокому назначенью,
Через ущелья политики
прыгая конем.

Помню,
в осеннюю ночь,
угрюмый, тяжелолобый,
Я вышел после собрания.
Кипела во рту слюна.

Снова вошла в мое сердце
бедняцкая мертвая злоба
Против Хал-Мурад Мирахурова —
словесного скакуна.

Хал-Мурад Мирахуров,
 ученая голова?»
И еще я сказал:
 «Вижу,
 как на военной карте,
Куда приведет испуганных
 кривая дорога твоя.
Но ты позабыл, предатель,
 что есть на свете Партия,
Которая помнит и знает
 больше, чем знаю я!»
Он выгнал меня с работы
 и много плохого оставил нам.
Мы только потом узнали,
 что втайне задумал он.
Но, во-первых,
 злодейская шайка
 нами была раздавлена,
И, во-вторых,
 добил его
 революционный закон.
Его расстреляли,
 собаку,
 когда наскочили банды, —
Он был изменником лживым
 и заговорщиком стал.
Он знал о проклятых патронах,
 которые шли контрабандой,
И тем же путем переправил
 отца в Афганистан.
Но мы выходили колхозами,
 мы вырубали палки,
Наконечники набивали
 на крепкое древко.
Мы схватывались с басмачами
 и в самой горячей свалке
Шли против заморских винтовок,
 стреляющих далеко.
И снова Красная Армия
 разбила и вымела баев,
Военный костер догорел,
 улетает последний дым.

Он выстрадал пять сражений,
а это — нехорошо.
И как путник,
поющий о жажде,
хочет к воде припасть,
Так сердце его сухое
ищет советскую власть.
Милость советской власти
для храбрых —
богатый пир.
Иган-Берды — знаменитый
начальник и богатырь.
«Непреклонные мои пули
падали гуще дождей.
От головы и до паха
я разрубал людей.

Сокровища кооперативов
я людям своим раздавал.
Повешенный мною учитель
бога не признавал,
Тяжелой военной славой
жилы мои горды.
Примите же, командиры,
руку Иган-Берды!»

Но старший из командиров
выпрямился во весь рост.
По темным губам переводчика
медленно плыл допрос.
И женщина за стеною
сыпала в миску
рис.
Прижавшись к штыку щекою,
жмурился тракторист.

Солнца,
сна
и дыма
он должен не замечать.
Он должен смотреть в затылок
льстивого басмача.

Кланяется затылок
и поднимается вновь,
Под выдубленной кожей
глухо толчется кровь.

И тракторист усмехается
твердым, сухим
смешком:
Он видит не человека,
а ненависти ком.
За сорванную посевную
и сломанные его труды
Совсем небольшая расплата —
затылок
Иган-Берды.

1931
Таджикистан

57. СЪЕЗД

Сбирался дождь.
Томительны и строги,
Сходились горы.
Вечерела мгла.
Пастуший съезд
сидел,
поджавши ноги,
Напротив кособокого стола.
И пятна чалм, бород, бровей, халатов,
Сгустившись,
начинали потухать.
И далеко несла
ветров прохлада
Высокий
страстный голос пастуха.

Он говорил...
Примчавшиеся кони
Храпели, как кузнечные меха.

Плакат,
раздутый
вихревым порывом,
Летел над ним
немеркнущим крылом.
По перевалам, скалам и обрывам
На дrevках молний
развернулся гром.

Съезд грохотал.
И буря,
сея россыпь
Свистящих капель,
выла напролом.
Тревожная колючка папиросы
Повисла
над невидимым столом.

Был долог путь,
усталость била в темя.
Мерцал ночлег,
сухой кошмой маля.
И горец,
появившийся из теми,
Скользя, как облако,
увел меня.

Но в темноте,
где молния играла,
Выхватывая
вставшую толпу, —
Взлетал напев
«Интернационала»,
Гроза над миром,
бесконечный путь.

1931—1932

58. ХЕЛЬМАНЖОУ

И мы возвратились...
Опять Хельманжоу
То бросится в тень,
то появится снова.
Ущелье шумело.
Ущелье, как желоб,
Наполнено струями
ветра ночного.

И мы возвратились...
Опять Хельманжоу —
Военный уют
пограничного крова.
И шепот границы,
и запах тяжелый
Джиды или смерти
над Пянджем суровым.

Да, мы возвратились...
Под хилым навесом
Со мною ночует
начальник заставы.
...И желтая искра
над дужкой эфеса,
И чистые звезды,
и полночь густая.

Ущелье шумело.
Шла ясная повесть
Про жизнь командира,
любовь и разлуку,
Когда улетает
ускоренный поезд
И ночь опускает
прощальную руку.

И дальние письма
с родного Урала,

Которые стали намного короче,
И бой до конца.
А весна умирала,
По-летнему стали торжественны ночи.

Республика!
Вот он стоит за тобою,
Круто замешен
и туго снаряжен,
Готовый к учебе,
к работе и к бою,
Один из шеренги
зеленых фуражек.

И всё это было, товарищи, просто,
Без всякой романтики,
вялой и пьяной,
Так жизнь рассказала,
с огнем папироски,
Вся полная самых обычных изъянов.

Большая любовь.
Одинокая доля...
Зачем тосковать,
если ночью не спится?..
Кабаны бегут
по ячменному полю,
На взгорье кричит
непонятная птица.

И мне присылают короткие вести,
Я тоже замолк.
Ледники зеленели.
Земля улетает
с планетами вместе,
И сон не качает
на легкой качели.

Я вспомню тебя —
и опять улыбаюсь.

Ты скроешься в тень —
и, веселая, выйдешь.
Я вижу:
 пылает звезда голубая,
И ты ее тоже
 на севере видишь.

Седое окно открывается настужь,
И сон оставляет усталые веки:
На северном небе,
 большом и ненастном,
Звезда голубая —
 прекрасная Вега.

Но щель Хельманжоу
 и комнату нашу,
В которой скопились
 любовь и обида,
Земля,
 чуть закрытая облачной пряжей,
Блистая, несет
 по извечным орбитам.

Мне зрелость дала эти строгие ночи,
Я к ним дотянулся
 окрепшей рукою.
Стучит мое сердце
 полней и короче,
Считая минуты
 земного покоя.

И кажется — мы увидали друг друга...
Так теплые капли
 стремятся к слиянью,
И птицы на север
 уносятся с юга,
Планеты горят
 отраженным сияньем.

Но ты не смущайся
 покровом обманным:

Как струи речные,
текут наши лица,
Родятся миры
в раскаленных туманах
И движутся к смерти,
чтоб снова родиться.

Сменяются формы, созданья, породы,
Ущелье шумит,
разрушаясь и воя,
Плывут лучевые потоки природы
Вокруг молодой головы часового.

Он встал на границе истории мира,
Где прошлое с будущим
начерно слиты.
Ущелье вздыхает
печально и сыро.
Ручей разъедает
гранитные плиты.

Пulsирует светлое тело вселенной,
Творя неустанно
живые законы,
И мы,
пограничники горных селений,
Храним их и движем
в пути незнакомом.

Нам вспомнилась родина,
вспомнились жены,
Сквозь память бегут голоса паровозов...
Да, мы возвратились...
Опять Хельманжоу:
Шумящие листья,
мерцающий воздух.

Наш путь через время
тяжел, но не страшен.
Засни, дорогая!
Тебе будут сниться

Это есть
и будет
наша жизнь.
По ночам
в непроходимой чаще
Времени
всё чаще слышу я,
Как ревет
в крови моей летящей
Грузная машина
бытия.
Я глядел
в глаза твои большие,
Жизнь, праматерь
смерти и любви,
Я хотел понятней,
проще, шире
Каждой радости сказать:
«Живи!»
Но штыком мне отворила зреньё,
Ослепила боем и людьми
Ненависть,
которой нет сравненья,
Ярость,
перестроившая мир.
Только ей
отдал я всё на свете,
Право жить
и честно умереть,
Даже тот,
любимый мною ветер —
Ветер дальних странствий
и морей.
Смерть
не для того, чтобы рядиться
В саван
мертвых, медленных веков.
Умереть —
чтобы опять родиться
В новой поросли
большевиков.

1932

ИЗ ТРЕТЬЕЙ КНИГИ

60. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Снова, как прежде.

Снова тюльпаны
На сизых увалах.

Снова весна.

Горы вы, горы, откосы, туманы,
Тихих, далеких дождей пелена!
Милая Азия, вот я вернулся,
Слышу тревожную силу свою,
Ветром пронзительным захлебнулся,
Телом, как дерево, потянулся,
Руки раскинул — и вот стою.
Вот она, молодость!

Здесь,

за холмами,

Над черными пашнями, над молодой
Горькой полынью.

Синее пламя

Над ослепительною водой.
Жизнь моя! Вы, позабытые лица,
Невероятных годов голоса.
Мчатся сквозь них перелетные птицы,
Поет, одурманившись степью, оса.
Как будто уснул и проснулся — и вышел
В юные годы и гордые сны,
Чтобы, взлетая всё выше и выше,
Пела душа, добиваясь весны.
Чтобы по старым,

пустым перелогам

Песня, как плуг, провела борозду.
...Снова, как прежде, по тем же дорогам,
Азией нашей

к югу иду.

Та же земля — материнское лоно,
Та же пустынного ветра рука.
Снова по склонам и дымчатым склонам
Льется кровавых маков река.
Беркут над ней застывает в полете,

Он знает, что беркут пустынный висит
В зените, обнявши крылами пространство.
А шири степные под ним, как весы,
Качаются в бедном осеннем убранстве.

Он знает, что много пролетных людей
Проходит башенки аэропорта,
Что время им начисто некуда деть
И каждому степь надоела до черта.

Он знает, что застланы дали пылью,
Сентябрьское небо — громада немая.
Девчонка-синоптик бежит на крыльцо
И юбку от ветра, смеясь, зажимает.

Далеко разносится девичий смех,
Скучая, сидят на скамейке соседи,
И видно, что дружбы довольно у всех,
Кто с ним осторожно заводит беседы.

А он всё глядит на степные смерчи,
На льды голубые, лежащие в сини,
А он всё молчит, и молчит, и молчит,
Нахохлясь, как беркут, подбитый в пустыне.

Как будто бы видит, что нам не дано
Увидеть воочью. Как будто та птичья
Повадка ему отворила давно
Мир, полный простора, полета, величья.

А он всё стремится, стремится туда,
Сложив на коленях тяжелые руки.
Плывут через время бои, города,
Забытые лица, забытые звуки.

Но только не видно мигания век,
Лишь рот поджимается строже и злее.
И ведомо людям, что жив человек!
Ничем его в мире не одолеешь!

Заря полыхнула. . . Рванулись вдали
Подоблачных голосов вереницы,

Осенние трубы родимой земли.
То с севера к югу летят журавли,
Широко простертые, мощные птицы.

1948

62. НОЧЬ ФАРХАДА

Тутовое дерево листвою
Покрывается в такую ночь луны.
Месяц встал багряной головою,
Мимолетные жуки слышны.

Спишь ли ты у синего Салара
В доме возле лунного окна?
Тени тополей чернее вара,
Стены улицы белее полотна.

Над Ташкентом чистая прохлада,
И безмолвие по улицам идет,
Только тигр рычит из зоосада
Да бубнист далекий в бубен бьет.

Всё в парче и шелке, вносят знамя,
Зал грохочет.

Близится рассвет.

Синий автогенный над холмами
То рванется, то потухнет свет.

Много ты бродил, скитался много, —
Не пора ль, товарищ, отдохнуть?
Только вновь желанная тревога,
Белая дорога.

Вечный путь.

22—28 августа 1947

Бархан за барханом, один, как другие.
И медленно седла скрипели тугие.
Росла беспредельного неба стена.

Шатаются кони, винтовки как угли,
Жара нависает, слабеют колени,
Слова замирают, и губы распухли,
Ни зверя, ни птицы, ни звука, ни течи.

А солнце всё выше и выше вставало,
И воздуха было до ужаса мало,
Змея проползла, не оставив следа.

Копыта ступают, ступают копыта.
Земля исполиискою бурей разрыта,
Земля поднялась и легла навсегда.

Неужто когда-нибудь мощь человека
Восстанет, безлюдье песков побеждая,
Иль будет катиться от века до века
Барханное море, пустыня седая?

А солнце всё выше и выше вставало,
И смертью казалась минута привала.
Но люди молчали, и кони брели.

Мы шли на спасенье друзей и героев,
Обсохшие зубы сжимая сурово,
На север, к далеким колодцам Чули.

Двоих увидали мы, легших безмолвно,
И небо в глазах у них застекленело.
Над ними вставали застывшие волны
Без края, конца, без границ, без предела.

А солнце всё выше и выше всходило.
Клинками мы братскую рыли могилу,
Раздался прощальный короткий залп.

Пустыня! Пустыня!
Проклятье валам твоих огненных полчищ!
Пришли мы с тобою помериться силой.
Стояли кругом пограничники молча,
А солнце всё выше и выше всходило.
Я был молодым,
и давно это было.

Окончен рассказ мой на трассе канала.
В тот вечер узнал я немало историй.
Бригада топографов здесь ночевала,
На месте, где воды сверкнут на просторе.

26 августа 1952

64. ВЕЧЕРНИЙ КОСТЕР

Вечерний костер.
Вечерний костер.
И меркнувший, синий, высокий
простор.

Луна в серебре.
Облачные города,
Пятиконечная на копре
Звезда.

О чем ты напомнил,
Вечерний костер?
О юности, славе?
Куда ты простер
Летучие, дерзкие руки
Огня,
Позвал ли куда
Меня?

Я счастлив сегодня.
Палаточный кров,
Жар саксауловых дров,
Старинный огонь пути.

Дано было жадному сердцу
найти
Приют и друзей на вечерней заре.
Темнеет барханов гряда,
Пятиконечная на копре
Звезда.

Как символ победы,
Ее зажгли
На самом верху буровой,
И веет теплом от могучей земли,
И люди легли
У костра.
И ночь прилетает пустынной совой,
Хитра и стара.

Вгрызается бур
В наносы погибших морей,
В глубины затихнувших бурь,
И самое время
Становится глубже, мудрей
От рокота стали,
От ровного стука движка.
В пустынные дали
Плывут, серебрясь, облака,
И маки в песках
Шелестят о весенней поре,
И словно в гигантских руках
Лучей и теней череда.
Пятиконечная на копре
Звезда.

Далеко она
На равнине видна,
Далеко она
Всем народам видна:
Багряный цветок
Мак.
Она ободряла
Кипящий Восток.
Она озаряла

Восставший Восток.
Она разгоняла
Мрак.
В горючей пустыне
Пылает она,
Победы огонь грозовой.
Издали видна
На самом верху
Буровой.

И в лунном разливе
Буровики
Лежат терпеливо,
Ладонями сжавши виски,
И слушают молча рассказ.
О том, как пойдет вода
И будет поить
Города.
И каждый из нас
Через год не отыщет следа
Костра.
Развеют его ветра.
Но будет гореть звезда,
Как молодость мира,
Величие наших работ.
Лицо бригадира
Над пламенем дымным встает.
И лунные стены
К зениту идут от земли.
Полночная смена,
Костер у колодца Чули...

22 июня 1952

65. КРАСНЫЕ ЧАШКИ

Я помню:
В детстве, вечером, робея,
Вхожу в столовую,
И словно все исчезли
Или далеко заняты мне непонятным делом,
А я один — хозяин всех вещей.

Мне светит лампа в бисерном капоте,
Ко мне плывет семейство красных чашек,
Смешливый чайник лезет, подбоченясь,
И горячо вздыхает самовар.
Я вижу странный распорядок света,
Теней и звуков, еле-еле слышных.
Я захочу — и сахарницу сдвину:
Она покорно отойдет направо
Или налево — как я прикажу.

Такой закрытый, осторожный, теплый
Мир небольших предметов и движений
И самовар с его отдельной жизнью,
Уверенность и легкая свобода
Вдруг начинают волновать меня.
Ненастоящий, непростой покой
Тревожит, заставляет бегать, дергать
Углы у скатерти и наконец ведет
Меня к окну.

Я отворяю створку
И застываю, хмурясь и дрожа.

Кромешный мрак, косматое смятенье
Кидаются ко мне в осеннем ветре,
В полете фонарей, в костлявой пляске сучьев,
В ныряющей или прямой походке
Каких-то исчезающих людей.

Квадраты тьмы сшибаются и гибнут,
Взлетают липы, чтобы снова падать,
В окне напротив мечется и гнется
Неведомый сутулый человек.
И толстенские лошади проходят,
Перебирая мелкими ногами.
На них глядят стоглазые дома,
И высоко, в необъяснимом небе,
Шипя, скользят мерцающие звезды.

И я стоял, глотая шум и сырость,
Переполняясь страшным напряженьем
Впервые понятой и настоящей жизни.
Я двигался в колючем ритме сучьев,
Гремел в подводах, шел и спотыкался,
Хотел бежать, как лошади, шнырять,
Раскидываться на ветру
и сразу
Увидеть, как устроены созвездья.

Весь этот мир, огромный, горький, черствый,
Вздыхающий нетерпеливым телом,
Меня навеки приковал к себе.
Я обернулся к шепоту столовой,
Увидел распорядок красных чашек,
Покой обоев, шорох самовара,
Законченный в себе приют вещей,
Возможность делать ясные движенья, —
И засмеялся диковатым смехом.
Я быстро пальцем показал в окно,
Потом по комнате повел рукою
И понял многое, что после понимал
В бою, в стихе и судьбах человека.

Я засмеялся и смеюсь опять.
Я отворяю окна, ставни, двери,

Чтобы врывался горький ветер мира
И славная, жестокая земля
Срывала вороватые прикрасы
Ненастоящих, непростых мирков,
Которые зовутся личным счастьем,
Лирической мечтою об удаче,
И красной чашкой, и уменьем жить.

В тот миг, наверное, я стал поэтом,
За что меня простят мои враги.

1932

Много я лгал, мало любил,
сердце не уберег,
Легкое счастье пленяло меня
и легкая пыль дорог.
Но холод руки твоей не оторву
и слову не изменю,
Неси мою жизнь,
а когда умру —
тело предай огню.
Светловолосая, с горестным ртом, —
мир обступил меня,
Сдвоенной молнией падает день,
плечи мои крени,
Словно в полете,
резок и тверд
воздух моей страны.
Ночью,
покоя не принося,
дымные снятся сны.
Кожаный шлем надевает герой,
древний мороз звенит.
Слава и смерть — две родные сестры —
смотрят в седой зенит.
Юноши строятся,
трубы кипят
плавленным серебром
Возле могил
и возле людей,
имя которых — гром.
Ты приходила меня ласкать,
сумрак входил с тобой,
Шорох и шум приносила ты,
листьев ночной прибой.
Грузовики сотрясали дом,
выл, задыхаясь, мотор,
Дуло в окно,
и шуршала во тьме
кромка холщовых штор.
Смуглые груди твои,
как холмы
над обнаженной рекой.

Заиграла гармоника.

Кончено!

Ветер и тьма.

Голоса поднимаются к небу,

встает запевала.

Ты давно ли прощалась,

давно ли сводила с ума?

Нефть колышется в трюмах,

и сердце болит,

как бывало.

Спляшем, спляшем, товарищи!

Море гуляет.

Гони!

Кок на палубу вышел,

за ним — собачонка хромая.

Мне не спится, не терпится.

Справа и слева —

огни.

Я холодные ноздри,

как волк,

к облакам поднимаю.

Не за жалость твою —

никогда я ее не знавал, —

Не за ласку ночную —

я ласки забыл поневоле, —

Полюбил я тебя

потому, что скитался

и звал,

Точно легкое чудо,

одну

синеокую волю.

И придумал я сказку

об огненно-синем жуке;

Я видал его в детстве,

весной

у закатных черемух.

Соловей грохотал,

две зари отражались в реке,

Водовозную бочку,

смеясь,

паливал кучеренок.

И повез по селу,
и услышал я
медленный гуд
Пламеневших надкрылий,
и счастье, и ночь,
и огромный
Наплывающий мир.
И тогда,
засверкав на бегу,
Пролетела по небу
запряжка
усатого грома.
Так увидел я
самое тайное
в книге земли —
Несравненный простор,
голубую дорогу вселенной.
Как же это случилось,
что руки твои
не смогли
Удержать для меня
этот маленький груз
драгоценный —
Огневого жука? ..

<1934>.

68. ПЕСЕНКА

Ветровые ночи
падают на палубу,
В брызгах накрывается
танкер на ходу.
Ты, моя любимая,
молчала да лежала бы,
Сонно провожала бы
синюю звезду.

Поднимаем руки,
звон стекла, рябое
Вспененное море.
Гул и толкотня

69. ДЕВУШКА МОЕТ ВОЛОСЫ

По безлюдным улицам,
 в час полночной мглы
Пролетают всадники,
 как черные орлы.
Листья осыпаются,
 норд течет рекой, —
Ты еще не видела
 полночи такой.

Дымные составы
 волокут мазут.
Дом.
 Ты моешь волосы
 в голубом тазу.
Пар и шелест пены
 снуют над головой,
Сбоку ухмыляется
 череп восковой.

От хребта оторван он,
 выварен в котле,
Здесь ему просторно
 на девичьем столе;
Дырка у надбровья, —
 тут входила смерть,
Тут хлестала кровью
 смерти крутоверть.

У сосков нетронутых
 дышит полотно,
Черный ветер фронта
 грохает в окно.
Трубы пароходов,
 кони на скаку —
Интервенты входят
 в пасмурный Баку.

И лежит расстрелянный,
 темен и суров.

Женщина,
 как облако
 приснившегося сна.
В ней будто лампа розовая
 под кожей зажжена.

Но ты лежишь, товарищ,
 на простом столе.
Море рассыпается,
 двигаясь во мгле,
В город, кровью купленный,
 где пятнадцать лет
По рукам студентов
 бродит твой скелет.

Ты лежишь, товарищ,
 на простом столе,
Море дымной славы
 движется во мгле.

<1935>

70. ПЕРВЫЙ ЛУЧ

Я просыпаюсь.
 Прощай!
 Козы бегут по тропе.
Слышу густой звон —
 песню молочной струи.
Падает красный луч,
 бьется, оторопев,
Ночь отпустила с гор
 чистые зори твои.

Возле багровых скал
 солнце трубит в трубу,
Поднят и обагрён
 моря широкий флаг.
Нет облаков на хребте, —
 жар на его горбу;
Полдень будет звенеть
 звоном походных флагов.

Бьют перепела. Ты полюбила.
Бьют перепела. Дрожат светила,
Ночь томит луной и забывает.

Что ж ты смотришь, темно-голубая,
В этот сумрак темно-голубой?
Трактористы молоко хлебают,*
Тихо говорят между собой.

<1935>

72. НОЧЛЕГ

Ветер стелется в ущелье
Теплым брюхом шерстяным.
Стонут медленные ели,
Кот мяучит у стены.

Засыпаю.

Слышу — кони,
Кони, кони, стук копыт;
Или то на горном склоне
Снеговой ручей кипит?

Зол, тенями разрисован,
Он пылит голубизной.
Одурманенные совы
Глухо плачут под луной.

Под соломой — шорок мышинный.
Гром лесов со всех сторон.
На аварские вершины
Белобровый сходит сон.

Там ночует туча-рыба,
Фирн горит, метет крупа.
Возле самого Кахиба
Повернулася тропа.

Хочешь — к морю улетим мы,
Окунуться в черный гул?

Мы с тобою побратимы,
Наши кони — на бегу.

Наши кони разрывали
Ветрокрылую беду.
Серебрятся перевалы,
Облака лежат на льду.

Наши девушки дородны,
Наши седла горячи.
Искрометную породу
Из земли несут ключи.

Побратим, вставай и слушай:
Ветер, кони, лес, гора...
Гул лавин влетает в уши,
Спит тревожно детвора.

Мальчик разминает плечи,
Воду пьет из кувшина,
И на Грузию — далече
Опускается луна.

Я бы этот мир старинный
Трижды погрузил в рассвет,
Я б осыпал все долины
Звоном утренних планет:

Всё, чего мы так хотели,
Всё, о чем мечтали мы, —
Гордо бродит в тихом теле
В этот час последней тьмы,

Тьмы, родящей и глубокой,
Словно лоно матерей.
Открываются с востока
Створы розовых дверей,

И покатый свод природы,
Полный сини и огня,
Вековечным поворотом
Возникает для меня.

1935

Ты руку на голову мне положила,
 Ты снова меня сберегла.
 Широкая песня несется по жилам,
 И ночь

нестерпимо
 светла.

Ты ветром пронизана,
 кровью согрета,

Осмуглена
 в дальних краях.

Ты снова со мной,
 молодая победа,

Двужильная
 сила
 моя.

1936

74. МУЖЕСТВО И НЕТЕРПЕНИЕ

Пароходный чистый ветер,
 вестник будущего дня,
 Мужество и нетерпение
 вечно мучили меня.

Отплывают нефтевозы,
 поднимая якоря,
 В медленную бесконечность
 золотого октября.

От Баку до Красноводска
 путь широкий и прямой,
 Только серп и светлый молот
 возникают за кормой,
 Легкий серп и ясный молот
 на багряном полотне.
 Мне не спится, не ложится...
 Не печалься обо мне.

Не заботься, дорогая,
о пустых моих ночах:
Малый цветик побережий,
ты давно уже зачах.
Остается только небо —
синяя победа дня.
Мужество и нетерпенье
вечно мучили меня.

Может быть, не так я прожил
жизнь свободную свою.
Напряженное дыханье
может выручить в бою,
Напряженное дыханье,
гулкой крови перезвон,
Посреди сухих и жарких,
окровавленных знамен.

Мне не спится, не ложится,
вспомни, зорька, обо мне.
О суровом тучеходе
на закатной стороне.
За кормою льются струи
языкатого огня,
Радостное нетерпенье
вечно мучило меня.

1935

75. РАССВЕТ

Легкая ночь.
Прощальная ночь.
Месяц висит
Клыкатый.
Высоко окно,
Окно черно.
Дома.
Фонари.
Плакаты.

Красен плакат:
Красный солдат
Пальцем и зрачками
Колется.
Пора наступать!
Пора!
Да, товарищи,
Вчера
Записался и я добровольцем.

В пять утра
Загремят буфера —
Милая,
Помни друга!
В пять часов
Душа на засов —
К югу, к югу, к югу!

Сероколонную глыбу вокзала
Голосом меди труба пронизала,

И наклоненно плывущее знамя
Красноармейцы вносят в вагон.

Тогда начинается время рассвета,
В теплушках качается пасмурный ветер,
И ночь остается далеко за нами,
А впереди — золотой перегон.

Утро, утро — часы тумана...

Богатырский тучеход,
Серебро рассвета,
Песня солнечных ворот
Северного лета.
Величава и легка
Облаков прохлада.
Розовеют облака,
Дребезжат приклады.

Ты ли, юность, позвала,
Ты ли полюбила
Вспененные удила,
Боевую силу?
Письма в десять рваных строк,
Шаг усталой роты,
Штык, наточенный остро,
Грохот поворота?

Ты ревушим поездам
Рельсы распрямила,
Пятикрылая звезда —
Будущее мира.
Ты звенела в проводах,
Ты, как песня, спета,
Пятикрылая звезда —
Пять лучей рассвета.

На прощанье ты прими
Перелеты пашен,
Шаг суровый, что гремит
У Кремлевских башен.
На прощанье отвори

Площадь с ровным склоном, —
Это Ленин говорит
Смолкшим батальонам.

Это ты простилась, друг,
В платье парусиновом.
Это катятся на юг
Молодость и сила.
На платформах ни души.
Гром гремит далече.
Проплывают камыши
Безымянных речек.

1926—1928

76. НА УЛИЦЕ ДОЖДЬ

Il pleut sur la route.

(Уличная песенка)

О, только бы слышать твой голос!
В ночном телефоне —
Москва,
Метель,
новогодняя встреча,
пушинки веселого снега...
В гудящей мембране
едва различимы слова,
Они задохнулись
от тысячемильного бега.
О, только бы слышать твой голос!
За окнами дождь.
Глубина
Парижских асфальтов.
Картавая песенка.
Пленка
Воды на панелях.
И вновь запекает она —
Девчонка с гармоникой —
нищенка в черной клеенке.

О, только бы слышать твой голос!
На улице дождь.
Далеко
Качается песня.
На улице дождь.
Дорогая!
Вся сырость трущоб
и полет дождевых облаков
В гармонике ноют,
от мертвых дождей содрогаясь.
О, только бы слышать твой голос!
На улице дождь.
Говори —
Летят ли
двенадцать ударов
с Кремлевских завьюженных башен?
Меня в эту полночь
чужие томят фонари.
Мой тост передай
ослепительной родине нашей,
О, только бы слышать твой голос!
На улице дождь.
Подо мной
Бесшумный, блестящий
плывущих машин поединок.
«На улице дождь...»
Вот слова этой песни ночной.
Играет гармоника
песню
дрожащих
дождинок.
О, только бы слышать твой голос!
Секунды уходят...
Ответь:
— Морозит?
Друзья наконец собрались?
«Партизанскую» пели?
Так спойте еще раз,
как только умеете петь,
Для этой девчонки
на черной парижской панели.

1936

77. ВСТАВАЙТЕ, ЛЮДИ РУССКИЕ!

(Песня из кинофильма «Александр Невский»)

Вставайте, люди русские,
На смертный бой, на грозный бой.
Вставайте, люди вольные,
За нашу землю честную!

Живым бойцам почет и честь,
А мертвым — слава вечная.
За отчий дом, за русский край
Вставайте, люди русские!

1938

78. АПРЕЛЬ

В час предутренний видишь всю жизнь позади.
Шелест, шум, голоса окружают тебя,
И забытая страсть колыхнулась в груди,
И летят журавли, в поднебесье трубя.

Посмотри на себя — ты высок и тяжел,
Ты немало больших городов обошел,
Ты любил и страдал, ты с друзьями дружил,
Молодое вино своей родины пил.

Но веселое, быстрое счастье твое,
В поднебесье трубя, унеслось в забытье.

В час предутренний видишь всю жизнь позади
Ты, отдавшая целую жизнь для меня.
Легкой тенью приди и меня поведи
В нашу юность, в страну голубого огня.

Там березы стоят на юру голубом,
Там несется весна на ветру голубом,
Там, в лесу голубом, голубой бурелом,
Голубая река громыхает, как гром,
Голубеет бревенчатый низенький дом
И луна голубая плывет за бугром.

Там глубоких снегов голубая постель, —
Это наш голубой подмосковный апрель.

1938

79. КУРСАНТСКАЯ ВЕНГЕРКА

Сегодня не будет поверки.
Горнист не играет поход.
Курсанты танцуют венгерку,
Идет девятнадцатый год.

В большом беломраморном зале
Коптилки на сцене горят,
Валторны о дальнем привале,
О первой любви говорят.

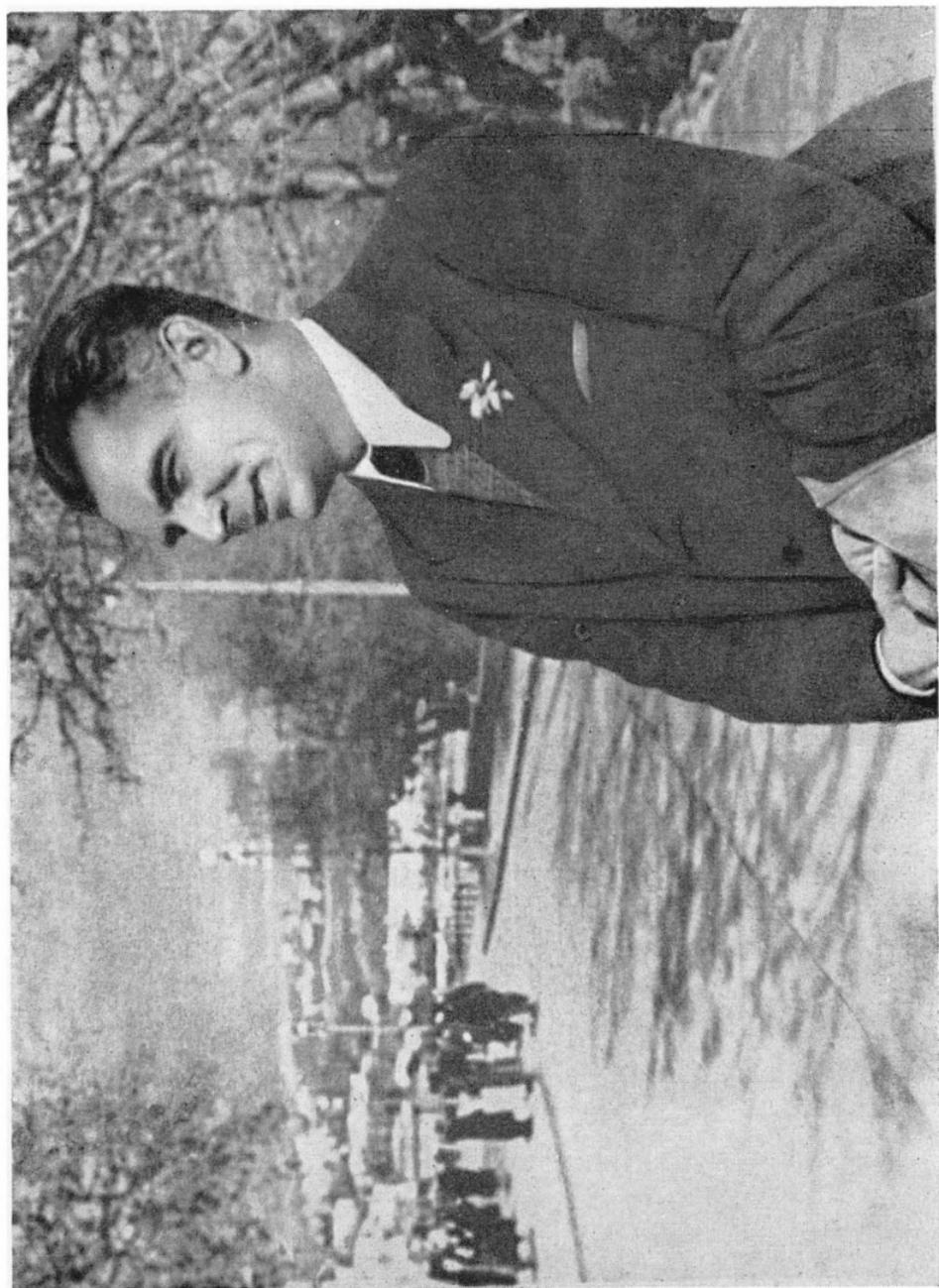
На хорах просторно и пусто,
Лишь тени качают крылом,
Столетние царские люстры
Холодным звенят хрусталем.

Комроты спускается сверху,
Белесые гладит виски,
Гремит курсовая венгерка,
Роскошно стучат каблуки,

Летают и кружатся пары —
Ребята в скрипучих ремнях
И девушки в кофточках старых,
В чиненых тупых башмаках.

Оркестр духовой раздувает
Огромные медные рты.
Полгода не ходят трамваи,
На улице склад темноты.

И холодно в зале суровом,
И надо бы танец менять,
Большим перемолвиться словом,
Покрепче подругу обнять.



— Ты что впереди увидела?
— Заснеженный, черный перрон,
Тревожные своды вокзала,
Курсантский ночной эшелон.

Заветная ляжет дорога
На юг и на север — вперед.
Тревога, тревога, тревога!
Россия курсантов зовет.

Навек улыбаются губы
Навстречу любви и зиме,
Поют беспечальные трубы,
Литавры гудят в полутьме.

На хорах — декабрьское небо,
Портретный и рамочный хлам;
Четвертку колючего хлеба
Поделим с тобой пополам.

И шелест потертого банта
Навеки уносится прочь —
Курсанты, курсанты, курсанты,
Встречайте прощальную ночь!

Пока не качнулась манерка,
Пока не сыграли поход,
Гремит курсовая венгерка...
Идет
— девятнадцатый год.

<1939>

80. ЛОЗОВАЯ

Бронепоезда взывают вдруг,
Стылый ветер грудью разрывая,
Бронепоезда идут на юг
Вдоль твоих перронов,
Лозовая!

Поднимайте старые штыки,
Стройтесь на заплеванных платформах!

Блещет украинский Звездный Воз,
Русские осенние Стожары.
Конница звенит,
скрипит обоз.

Дальние
качаются пожары.

Мчится полночь
бурая, как иод,
Имена дивизий называя, —
Это молодость моя
встает
На твоих перронах,
Лозовая!

Шелестит Тайницкий сад в Кремле,
Карты стелются в штабном вагоне,
И по всей ночной степной земле
Ходят пушки
и топочут кони.

Армия идет на юг, на юг,
К морю Черному,
на Каспий,
в Приазовье,
Заливая ширь степей вокруг
Плавленным свинцом и алой кровью.

И на проводах дрожит звезда,
Запевает сталь полосовая.
Громяхают бронепоезда
Вдоль твоих перронов,
Лозовая!

1939 (?)

81. КОНЕК-ГОРБУНОК

Ночь пройдет,
и станет ясно вдруг:
Не нуждаюсь я
в чужой заботе,
Полечу
куда-нибудь на юг
В старом, неуклюжем самолете.

Проплывут московские леса,
Поплывут подольские заводы.
Осень, осень!
Рыжая краса.
Желтые леса.
Стальные воды.

Спутники случайные мои
Будут спать
или читать газеты.
Милый холод ветровой струн,
Золотые облака рассвета...

Дымка легкая,
сухая мгла,
Тоненьких тропинок паутина.
Без конца, без края
залегла
Русская
покатая равнина.

Сколько хожено пешком по ней,
Сколько езжено в ночных теплушках,
Через сколько невозвратных дней
Пролетали
в тяжком топоте коней
Трехдюймовые родные пушки!

Сколько крови,
сколько стылых слез
Ты взяла себе, моя отрада,

Вся в туманном зареве берез,
В красно-бурой шкуре листопада.

Сколько труб, ангаров, корпусов
Поднялось из недр твоих могучих,
Гордо ты стоишь

в кольце лесов,

В десять

темно-синих поясов

Над тобой

текут крутые тучи.

Ты кормила, не скупясь, меня,
Материнским молоком поила,
Песенного подарила мне коня —
Горбунка-коня

мне подарила.

Ну и что же,

я живу с таким конем.

Много лет

ведется дружба между нами.

Искрами он пышет и огнем,
Сказочными хлопает ушами.

Горбунок-конек,

ты ростом мал,

Северная

русская порода.

Ты меня,

родной, не выдавал,

Никому и я тебя не продал.

1939

82. ЗЕЛЕНЫЙ МАЯЧОК

Стала ты совсем другою,
Замер топот быстрых ног.
Но всё тот же

под горою

Твой зеленый огонек.

Маячок едва заметный,
Малый знак береговой, —
Он спокойно и приветно
Луч бросает
на прибой.

Я приду к нему, забудусь,
Тихо сяду в тишине,
И опять любовь
и юность
Сонно
улыбнутся мне.

Море бьет, шумят деревья
В этом мире молодом,
Далеко дрожит огнями
Не обжитый нами дом.

Отчего приходит счастье,
Маленький бегущий свет,
Чуть помедлит, чуть покружит,
И ему возврата нет.

1939 или 1940

83

Ты давно уж разлюбила.
Я недавно разлюбил.
Вот мы ходим, дорогая,
Возле маленьких могил.

Что схоронено глубоко,
Знаем только
ты и я.
Всё окончилось до срока —
И любовь, и скорбь моя.

Всё прошло.
Я это знаю.
Что же сердце так щемит,

Уезжает друг, судьбу пытая,
К берегам далеким, не родным.
Брызги через мол перелетают,
Налетает пароходный дым.

Мы любили кушанья простые
И костры на перевалах гор,
Наши вечеринки холостые,
Кружки пива, долгий разговор.

И, бывало, посредине спора
Вдруг звенела вещая строка,
Открывались дальние просторы,
Медные клубились облака,

Приходил тяжелый ветер боя,
Тусклый гул воздушных кораблей.
..И еще любили мы с тобою
К северу летящих журавлей.

Уезжает друг большой, отважный,
Человек крылатых скоростей.
А куда рванулся он — неважно:
Есть народы, ждущие гостей.

Мы еще стоим и шутим грубо,
Затеваем детскую игру,
Мы глядим на мостики и трубы
И ломаем спички на ветру.

Но стальные цепи завизжали.
Писем,

старина,

не обещаешь.

Далеко, товарищ, уезжаешь, —
До свиданья...

Может быть, прощай!

1938

И лес гудит, гудит, как печь.
Ночных стволов ночную речь
Ты слышишь, о душа?

В окне горит одна свеча,
И жизнь, как прежде, горяча,
Как прежде, хороша!

1939

90. ГОРЫ

Н. Тихонову

Тамадой руководимый,
Буду говорить короче.
Я люблю тебя, родимый,
Длинный ход осенней ночи.

За стеною великаны
Нам, веселым, отвечают.
Поднимаются стаканы
И сшибаются, качаясь.

Великаны за стеною —
Сосны, мачтовые ели,
Потревоженные мною,
Закачались, зашумели.

Зашумели, закачались,
Дождь холодный уронили.
Все заботы, все печали
Мы с тобой похоронили.

За тебя, мой друг старинный!
Мы прошли, по праву чести,
Путь недолгий, путь недлинный —
Половину жизни вместе.

Половина жизни нашей —
Молодая, ветровая,
Круговая ходит чаша,
Ходит чаша круговая.

В облаках до половины
Горы встали за горами,
Бьют полночные лавины,
Глухо вздрагивают рамы.

Горы! Горы! Гул лавинный,
Ветра свист в щелястой раме,
Пир полночный, дом старинный,
Весь охваченный ветрами.

1939

91

Тот чудесный переулочек
Часто вижу я во сне.
Там веселый запах булок,
Тень собаки на стене,
Потому что та собака
День и ночь сидит в окне.

В том чудесном переулочке
Елки в комнатах стоят,
Мать выводит на прогулку
Очень маленьких ребят.
Ветер спит. Собака смотрит,
А ребята говорят.

Там живет и не тоскует
Девушка, совсем одна.
На платках она рисует,
Распеваает дотемна.
Песенка ее родная
Через форточку слышна.

Зимние синеют горы,
Тучи впали в забытье.
Непреклонные шоферы
Нежно слушают ее,
Рассуждая у колонки
Про свое житье-бытье.

Слышал я ее недолго,
А приснится — буду рад:
Снова хлынут окна, елки,
Зимний медленный закат. . .
Ветер спит. Собака смотрит,
А ребята говорят.

1939

92. МАЛЬЧИКИ ИГРАЮТ НА ГОРЕ

Мальчики заводят на горе
Древние мальчишеские игры.
В лебедé, в полынном серебре
Блещут зноем маленькие икры.

От заката, моря и весны
Золотой туман ползет по склонам.
Опустись, туман, приляг, усни
На холме широком и зеленом.

Белым, розовым цветут сады,
Ходят птицы с черными носами.
От великой штилевой воды
Пахнет холодком и парусами.

Всюду ровный, непонятный свет,
Облака спустились и застыли.
Стало сниться мне, что смерти нет, —
Умерла она, лежит в могиле.

И по всей земле идет весна,
Охватив моря, сдвигая горы,
И теперь вселенная полна
Мужества и ясного простора.

Мальчики играют на горе
Чистою, весеннею порою.
И над ними

в облаках,
в заре,

— Я шагаю ночью на веселье,
Что идет у медведей в горах,
Новый год справляет новоселье.
Чатыр-Даг в снегу и облаках.

— Не ходи,
тебя руками сшили
Из людских одежд, людской иглой.
Медведей охотники убили,
Возвращайся, маленький, домой.

Кто твою хозяйку приголубит?
Мать с отцом встречают Новый год,
Домработница танцует в клубе,
К девочке мохнатый сон идет.

Ты лежи, медведь, лежи в постели,
Лапами не двигай до зари
И, щеки касаясь еле-еле,
Сказки медвежачьи говори.

Путь далек, а снег глубокий и вязок,
Сны прижались к ставням и дверям,
Потому что без полночных сказок
Нет житья ни людям, ни зверям.

1939 (?)

94. КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Виноградник шелестит. . .
Спи, моя родная!
Сычик жалобно кричит,
тьма течет ночная.
Ходят в море паруса —
не оглянешь оком.
Бьется светлая хамса
в неводе широком.
Ветер в горы полетел
и упал в ущелье.

Листья вьются на шоссе
 легкой каруселью,
 Листья вьются на шоссе —
 ветер догоняя,
 Всё в серебряной росе...
 Спи, моя родная!
 Крейсер по морю плывет —
 он тебе не страшен,
 Он легко несет вперед
 тени круглых башен.
 Пограничники прошли,
 ветки разнимая,
 И маяк горит вдали...
 Спи, моя родная.
 Будет буря,
 будет бой,
 битва забушует,
 Я услышу за собой
 девочку большую.
 Надвигается война,
 а когда — не знаю.
 Наливается луна...
 Спи, моя родная!
 Совы спят на чердаке,
 спят под нашей крышей.
 Бродят в горе и тоске
 маленькие мыши.
 Кот гуляет под столом,
 песню начиная, —
 Засыпает тихий дом...
 Спи, моя родная!
 Бьют кремлевские часы,
 музыка играет.
 Больше песен не проси, —
 печка догорает.
 Я люблю тебя навек, —
 почему, не знаю.
 Я веселый человек, —
 спи, моя родная!

Декабрь 1938

Опять, как в те года, когда над головой
У нас с тобой летел ветров пустынных вой,
Я верную тебе протягиваю руку.
Ведь мы давным-давно поверили друг другу.

Мы оба северяне. Нам сродни
Чуждачества, и хмель, и пасмурные дни,
И одиночество, и пыльный запах юга, —
Ведь мы давным-давно проверили друг друга.

Что скажешь, старый друг? Что слишком жадно
жил,
Что был нетерпелив, стихом не дорожил,
Душой не дорожил? Что вечно шел навстречу
Звериной теплоте и ласке человеческой?

Ну что же, я приму упрек твой справедливый,
Приму, благословив хребты, моря, заливы
И многих дальних стран пути и города,
Где тратил я себя без важного труда,
Но чтобы жизнью жить и вкус земли почуять,
Воюя и участь, влюбляясь и кочуя.

А время движется. И войны и судьба
Идут навстречу нам, и темная резьба
На лбах упрямых всё ясней, и сроки
Уже приходят. Но, клянусь тобой.
Стихи, как трубачи, нам протрубят отбой!

1941

Е. Л. Б.

Перекресток. Красный светофор,
Тормозят машины в красном свете.
Как ребячий монотонный хор,
Мягко запеваёт вьюжный ветер.

Вот и всё. Земля опять тиха
Или. . . притворяется такую.
Разодевшись в белые меха,
Может быть, она пришла к покою?

Может быть? . . .

Но столько мертвых вьюг
Занесло, что сердцу было мило.
На восток, на север и на юг
И на запад бросило могилы.

Взвешенная на стальных весах,
Середина века нам досталась.
Снег дорог. . . Горелые леса. . .
Щебень городов. . . Сердце усталость. . .

И такая жажда жить, дружка
С песней, елкой, легкою порошей,
И такая гордость, что душа
Хочет быть и быть должна хорошей.

И такая ярость, что порой
Слышат люди, даже умирая,
Как земля под ледяной корой
Волнами огня шутя играет.

Вдоль стены Кремлевской, по прямой —
Старая московская дорога.
Поздно возвращаюсь я домой.
Много прожил, а сказал немного.

Но ложится в руки шар огня,
Вдруг дыханье сделалось короче.
Поднимает и несет меня
Дикое знахарство этой ночи.

Кажется — вот-вот я всё пойму,
Мышцы, волю, разум напрягая,
Но земля спокойна, и в дому
Ты, грустя, заснула, дорогая.

Ты лежишь и видишь сон во сне,
Будто всё чудесно между нами.
В заячьих фуфайках пухлый снег
Кружится, снует над фонарями.

Вот и снегом всё замечено.
Белый цвет и черный без оттенков.
В комнате твоей темным-темно,
Только вещи чуть сквозят в простенках.

Сон качает круглой головой,
Детские показывает страны.
Ходит шерстолапый домовой,
Ледяные капли пьет из крана.

Снова так мучительно знаком
Отраженный свет привычных окон.
Кончилась война, и снова дом
Полон той же жизнью, тем же соком.

Может, правду говорят, что смерти нет?
Только свет, и снег, и сон, и строки...
И опять не хочет дать ответ
Город мой, столь доблестный и строгий.

И опять ночная жизнь стиха
Лжет о том, что всё полно покоя.
Вот и всё.

Земля опять тиха
Или... притворяется такою.

Ноябрь 1945

98. ЛИСТОПАД

Что-то мне печально стало очень.
Лунным золотом осыпан сад.
Это всё твои павлиньи ночи,
Еле ощутимый листопад.

В этом мире дивном и огромном,
В мире помыслов, трудов, борьбы,
Совы-сплюшки гукают бездомно
И арык чешуйками рябит.

Дым жаровен беспечально горек.
Все дома из одного куска.
Белые порожки.

Южный дворик.

На хребтах далеких
облака.

Может быть, здесь никогда не пела,
Не бросала туфли под кровать
Та, что легкой птицей улетела
Колдовать, лукавить, забывать.

Может быть, мне только сон приснился
В эту ночь наточенной луны?
Над живой водой я наклонился —
По воде, блистая, бродят сны.

Бродят и дороги не находят
К ветровому сердцу твоему.
Будешь в счастье ты или невзгоде —
Сердце птицы я всегда пойму.

Прилетай сейчас в свои владенья,
Как бывало в белой мгле ночей,
Где смешался свет с горячей тенью
Сторожей луны — карагачей.

Я зову, — мгновения короче
Будет путь твой в золотистый сад.
Это всё твои павлиньи ночи,
Еле ощутимый листопад.

1947

99. ПЛАТОК ЭТЬЕНЕТТЫ

Дождь весны.

Вокзальные перила.
Так прощанье было нам дано.
Ты тогда платок мне подарила.
На ночном вокзале «Gare du Nord».

Глазом немигающим и рыжим
В темноту глядел локомотив,
И над всем блистающим Парижем
Дождь метался, гриву распустив.

Золото витрин, огней потоки
Через пять минут умчатся прочь.
Я рванусь на родину,
к востоку,
Сквозь германскую глухую ночь.

Расставанья час всегда непрошен.
Загрустил я,
твой Париж
любя.

Не забуду я друзей хороших.
Дольше всех мне не забыть тебя.

Это было так давно, товарищ,
Будто дымом всё заволкло.
От Дюнкерка, от ночных пожарниц
Багровело каждое стекло.
И сказал подлец, что больше нету
Франции,
Тут гады вылезли из нор.
Но платок твой помню, Этьенетта,
На ночном вокзале «Gare du Nord».

Ты вдали как будто бы читала
Список бед, скитаний и разлук,
Агитпроп Латинского квартала,
Этьенетта,
незабвенный друг.

101. БАРСУК

Е. Л. Быковой

Боз-су. Ни ветра, ни души.
Вечерний взлет тумана.
Барсук убрался в камыши —
Он вылез из капкана.

Отец с утра сажает рис,
И мама встала рано. . .
Он тихо лапу перегрыз
И вылез из капкана.

А что за сторож ты при нем,
Всегда весна туманна,
Цветочной пылью и огнем
Мчит день Узбекистана.

Для маленькой твоей души
Раскрасил мак поляны.
Барсук убрался в камыши —
Он вылез из капкана.

Тебе бы нужно сторожить,
Но столько пчел, и мошек,
И рыбок острых, как ножи,
И ящериц хороших.

И столько сказок здесь лежит
На глиняных откосах. . .
Пусть милый край спокойно спит
В апрельских чистых росах.

Не бойся, девочка, не плачь,
Ушел звереныш хмурый.
Дороже родинка твоя
Его паршивой шкуры.

Я отведу твою беду.
Он вылез из капкана. . .

И тополя в поземке круговой
Загадочно шумят над головой.

Вот песня замирает вдалеке,
И лыжи свищут на Москве-реке.
Природы русской чистая душа
Встает в снегах, светла и хороша.

Я не растаю раннею весной.
Десятки весен расцветут со мной,
Но замела я снегом все пути,
И вам теперь, любимый, не уйти».

1951

103. УФА

Старый друг,
как прежде,
как бывало,

Я к тебе,
доверившись,
иду.

Через золотые перевалы
Осени,
бушующей в саду.

Бродит лошадь белая,
ступает

Тяжело и мерно,
как во сне.

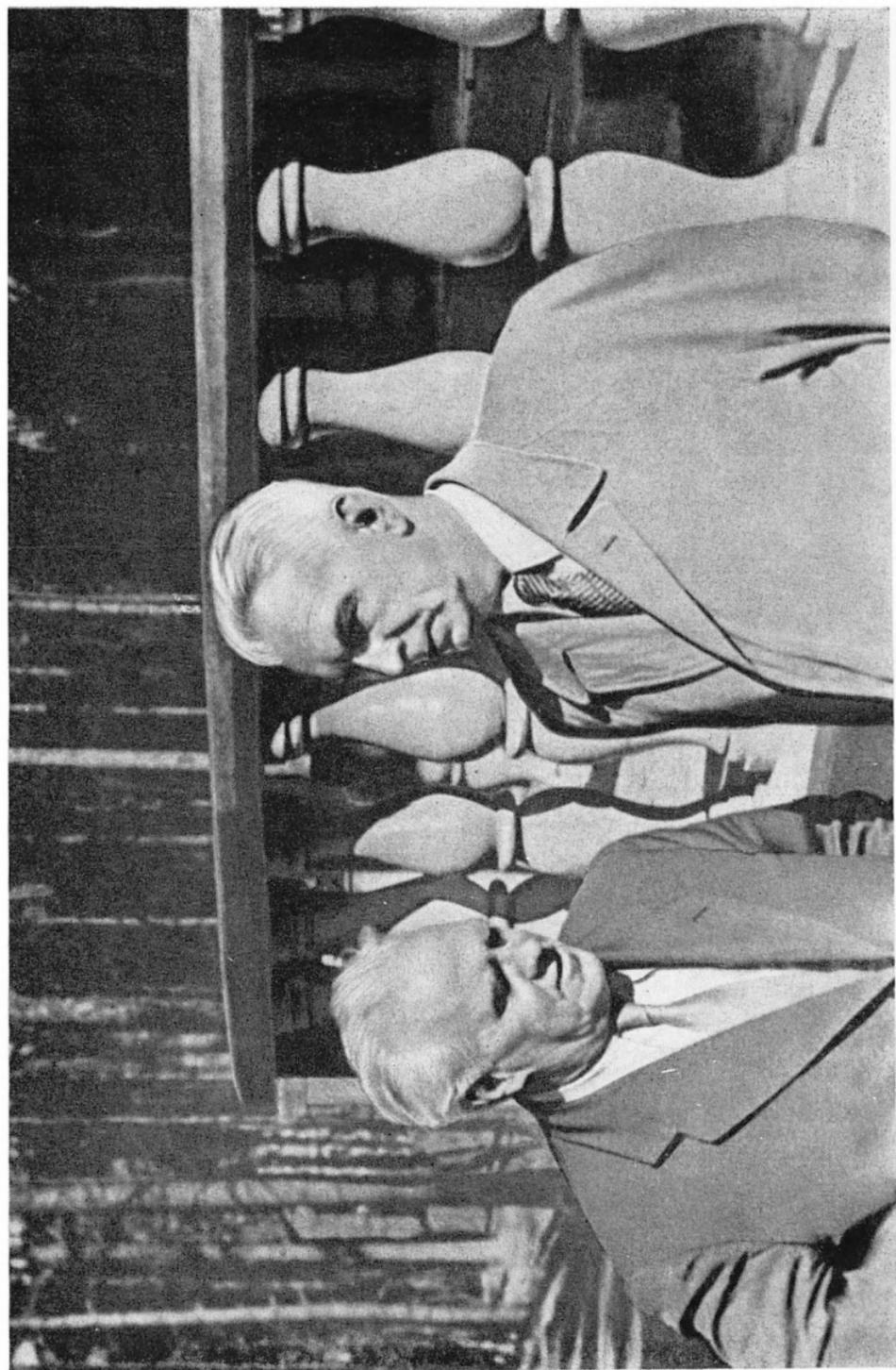
Яблони холодными стопами
Медленно проходят при луне.

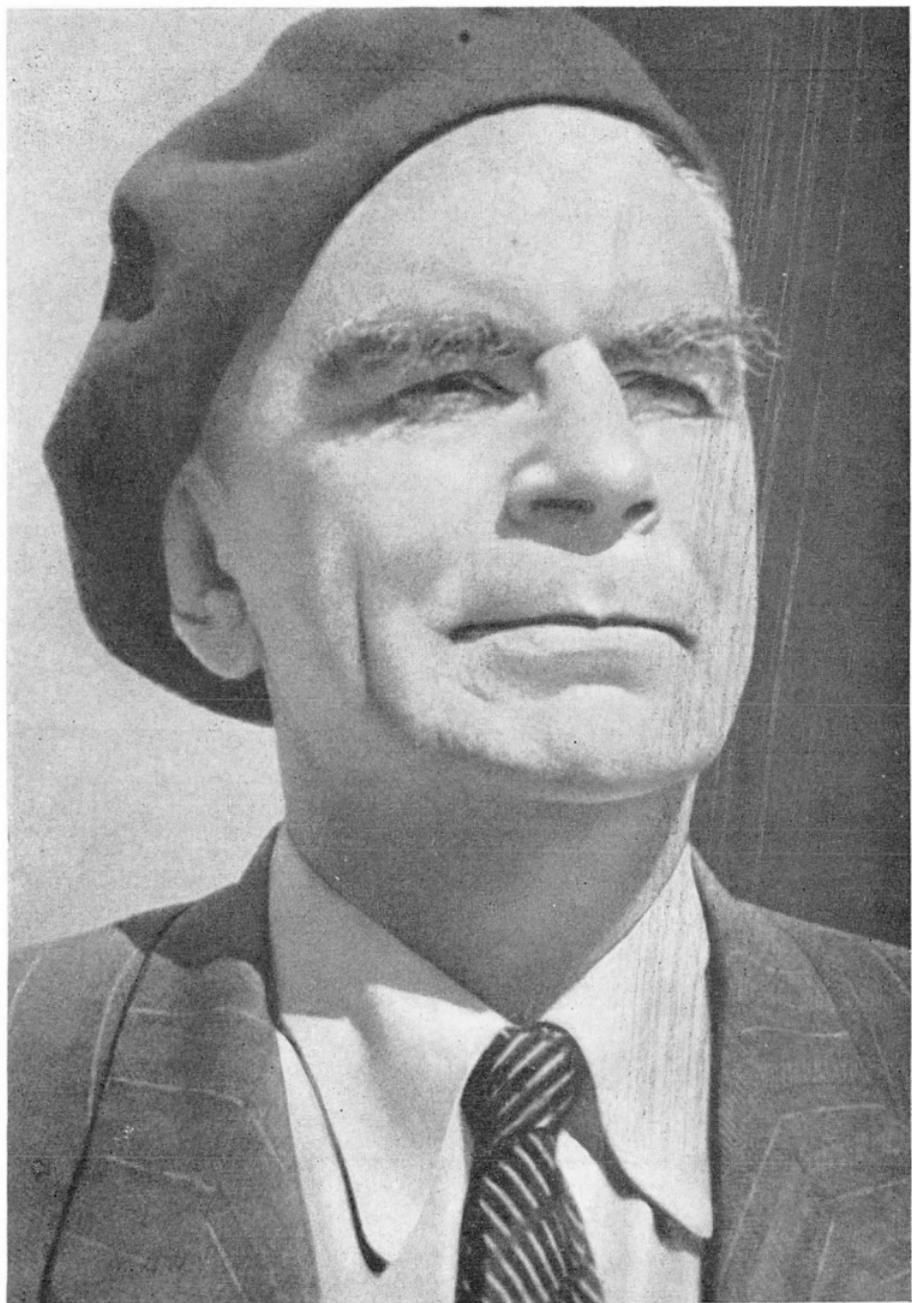
Ночь полна
несметных
темных звуков.

Дивные
в душе
кипят слова.

Песенку полночную
отгукав,

На мир ночной
 так жадно,
 так взволнованно глядела,
Дай руку,
 посмотри и ты,
 дыханье затая,
На эти серебристые края,
На это мощное морское тело.
Мне кажется, я прожил сотни лет, —
Так постоянен
 этот ровный
 лунный свет.
«Эгей!» — кричу,
 и по ущелью мне в ответ:
 «Эгей!»
Шуршит кустарник,
 лавр шумит,
 качается сосна.
Возьми в подарок эту ночь
 и ею завладей.
Друг сердца моего,
 ведь к нам пришла весна!
Стыдливая она,
 холодноватая она,
В раздумье юности погружена.
Ты видишь,
 там, внизу,
 экран горит —
Открытое кино, —
 и тень за тенью
 по нему бегут.
И слышны голоса —
 громовые, веселые.
А дальше весь залив
 волной изрыт,
Залив стеною брызг
 встает на берегу
И бродит, как от солода.
Вот улицы —
 там человеческий уют,
Вон пароход —
 лебедки груз берут.





ВЕСНА

105. ГУСИ

Над необъятной Русью
С озерами на дне
Заготовали гуси
В зеленой вышине.

Заря огнем холодным
Позолотила их,
Летят они свободно,
Как старый русский стих.

До сосен Заонежья
Река небес тиха.
Так трепетно и нежно
Внизу цветет ольха.

Вожак разносит крылья,
Спешит на брачный пир.
То сказкою, то былью
Становится весь мир.

Под крыльями тугими
Земля ясным-ясна,
Мильоны лет за ними
Стремилась к нам весна.

107. ЮНОСТЬ

Отзвенели капли,
И подсохла земля,
И грачи полетели
На родные поля.

Что же мне так тревожно?
Я и сам не пойму.
Выхожу осторожно
В неоглядную тьму.

В небе — черные дыры. . .
Ветра с вербами спор. . .
Полыхает над миром
Звезд извечный узор.

И далеко, у рощи,
Возле сосен-сестер,
Тьму пронзает на ощупь
Одинокий костер.

И по-девичьи дремлют
Два янтарных ствола,
Будто юность на землю
В эту полночь пришла.

12 марта 1956

108. ЗЯБЛИК ЗАПЕЛ

Зяблик запел на березе лиловой,
Вышел из черной земли чистотел.
Это не высказать будничным словом —
Снова, как в детстве, зяблик запел.

Значит, дано мне опять насладиться
Дедовской русской, прохладной весной,
Видеть, как мчатся пролетные птицы
К старым гнездовьям, на север родной.

Слушать ручьев перезвон по низинам,
Тихий, дремотный, клонящий ко сну,
И вспоминать отшумевшие зимы,
Зябликов детства, зовущих весну.

Заново каждой весною рождается
Мир в заповедной апрельской тиши.
Мысли летят, как пролетные птицы,
К старым, забытым гнездовьям души.

Видишь всю землю, рожденную снова.
Всё, что забылось, — встает наяву.
Каждая клеточка шара земного
Тайно тебе говорит — я живу.

Жизнь голубой бесконечностью манит.
Где же предел? Мне не виден предел.
Рощи берез в легкокрылом тумане.
Снова, как в детстве, зяблик запел.

19 апреля 1956

109. ВЕСНЯНКА

За горами Урала сизыми,
Что сосной строевой унизаны,
Крановщица жила красавица —
Ведь Урал красотой славится.

А жила никем не утешенная.
Сталь в мартенах кипит, как бешеная.
Парни вслед за Любашей кидаются,
А никто Любаше не нравится.

И не то чтоб росла недотрогою —
Просто шла своевольной дорогою.
Кровь кузнецкая, староверная,
Брови смелые, сердце верное.

Для кого же такую красу припас
Стародавний уральский рабочий класс?

И любила она ясных звезд покой
Над родной своей Чусовой-рекой,
Песни русские, даль далекую,
Чусовую-реку синеокою,

Ночи белые в зорях розовых
И веснянки в лесах березовых.

И любовь веснянками славила,
Но с любовью она лукавила.

Я моложе был, я слышал ее,
На крутом берегу я искал ее.
Я искал ее, окликал ее,
Двадцать лет потом забывал ее.

Я спросил кузнеца-старика в тоске:
— А русалки есть в Чусовой-реке?
— Может, нет, может, есть —
люди разное врут.
Если есть — так они, как Любаша, поют.

Лунный свет, соловьи голосистые.
Ночи легкие, аметистовые.

Тень пройдет, бузина заколышется,
И веснянка по берегу слышится.

И заря с зарею целуются,
На речных зеркалах милуются.

Парни с девушками встречаются,
И над домами пламя качается.

Ах, Урал, Урал, тело каменное,
Тело каменное, сердце пламенное!

Небо светлое, кровью крашенное,
Как веснянка ночная Любашина.

Разорвись, душа, говори, душа,
Если песни нет — сотвори, душа.

Разбивай, душа, немоту свою,
Открывай, душа, красоту свою.

Мать Россия на свете весной красна,
Выходи, душа, на простор одна.

Выходи, душа, не жалея себя,
Людам всем, душа, перелей себя.

Две зари замирают, рука в руке,
И русалки плывут в Чусовой-реке,

Кличут старый Урал — своего отца,
Здесь аукнется, там откликнется. . .

И веснянка-песня стоит, звеня,
Всю седую ночь до прихода дня.

Ели черные, длиннолапые
В Чусовой-реке зыбью плавают.

Слышен стук в Кремле стрелок башенных,
Слышен гром по земле слов Любашиных

О весне, о просторе, о молодости,
Чтобы счастье свое по земле нести.

По земле нести, против волн грести,
А в земной горсти всем цветам цвести.

Ходит, кровью следы печатая,
Сила песенная непочатая.

До рассветных звезд эта песня встает.
Одиноко в лесу крановщица поет. . .

Я слышал ее, я искал ее,
Окликал ее, обнимал ее.
Только раз один целовал ее,
А потом всю жизнь забывал ее.

Все плывут облака, Ермака корабли.
Ты, Россия моя, лучше нет земли!

1 июня 1956

110. ОБХОДЧИК

Далекий, горький голос паровоза.
Весна, весна, лукавая весна. . .
Настоенный на клейких листьях воздух,
Опять гудок, и снова тишина.

Весь день щеглы поют не умолкая —
Один затихнет, и начнет другой.
А по округе тишь стоит такая,
Как будто гость таится дорогой.

Еще мгновенье — он войдет, заглянет
В леса, поля, поемные луга,
Посеребрит холодные поляны,
Навесит на березах жемчуга.

И сядет старый-старый, бородатый,
Седой, как лунь, в болотных сапогах.
Природы всей суровой соглядатай,
Как птица на зеленых берегах.

Закурит и по солнцу прочитает:
Опять пришла весна — земли краса.
На небе облака летят и тают,
И на земле творятся чудеса.

И слушает, что совершилось в мире, —
Молчат ли войны, снятся ль детям сны.
Сидит и курит в синей, синей шири
Лесной обходчик, дедушка весны.

И ветер белой бородой полощет.
Белее снега влажные стволы.
Зеленым дымом за клубились рощи,
Поют, поют, весь день поют щеглы.

18 мая 1956

111. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 4

В этом радостном мире,
Что сроднился с тоской,
Льва Толстого, 4, —
Адрес есть и такой.

Льва Толстого, 4,
Карагач у ворот.
Там в знакомой квартире
Кто-то чуждый живет.

Где ж ты, песня Востока,
Что лилась не спеша?
Ты умчалась далеко,
Этих окон душа.

А бывало, пылали
Тополя под луной,
Мотыльки умирали
Возле лампы весной.

И влетали рассветы
Розовой пылью,
Гладил утренний ветер
Золотое лицо.

И мучительной страсти,
И ревнивой беды,
И любовной напасти
Он стирал все следы.

Азиатские реки
Ждут памирской весны.

И дрожащие веки
Были сонно-темны.

Из неведомой дали,
Как ночная гроза,
Открываясь, мерцали
Чуть косые глаза.

От плечей ее голых
Шла степная жара.
Тихо спрашивал голос:
— Ты не спал до утра?

Я не спал вместе с садом.
Видел — звезды горят,
Видел — кружится рядом
С фонарем шелкопряд.

Видел горные выси,
Веток влажный наклон.
Видел сон твоих мыслей —
Мудрой Азии сон.

Где ты в снах побывала,
Мне вовек не бывать,
Что ты в снах увидала,
Мне уже не понять.

Протяни свои руки,
Вырывайся из сна —
Это ветер разлуки
К нам прислала весна.

Азиатские шири.
Злой судьбы поворот.
Льва Толстого, 4,
Карагач у ворот.

Жизни нить всё короче.
Ночью смотрят глаза —
Древней Азии очи,
Как степная гроза.

Там
великих хребтов
заревая стена.

Там
такая стоит
поутру
тишина,

Что гудит,
как струна,
по дороге ветров

Рокотанье
далеких
степных тракторов,

Поднимает
пшеница
зеленый росток.

С первым ветром весны
торопись
на восток!

Там сидят на кошме
вечерами
друзья.

Шепот листьев
услышат они —
это я.

Это я
тихой фарой
в горах промелькнул.

Это я —
по ущелью
катящийся гул.

Ведь не зря
я
давал
нерушимый зарок

С первым ветром весны
прилетать
на восток.

В теплой
трепетной дреме
шумят тополя.

113. БЕЛАЯ НОЧЬ

Дом как дом, но русалок среди листвы,
Деревянных чертей знает вся округа.
На воротах сидят две резные совы
И всю жизнь глядят друг на друга.

В доме том бородатый художник живет,
Старый резчик, седой, как сибирский кот.

Это белая ночь, это длинный рассвет,
Где крадутся минуты, как серые кошки.
Липы густо цветут, желтый липовый цвет
Теплым липовым медом обрызгал дорожки.

Бьют вдали соловьи. А ночные жуки
Грузно шлепаются о пороги.
И легчайший туман побежал от реки,
Опираясь на зыбкие белые ноги.

Сизокрылая высь, соловьиная тишь.
Три ненужных огня всё мигают на стройке.
В белых стеклах рассвет.

Бродит в комнатах мышь,
С огорода пришедшая мышь-землеройка.

Мне б собрать в хоровод всех русалок в саду,
Деревянных чертей закружить возле дома.
А звезда в эту ночь робко ищет звезду,
Льется с бархатных лип золотая истома.

Мне бы руки раскинуть, дотронуться, взять
Всех зверят, и пичуг, и жуков на деревьях,
И как только начнет, по-большому, светать,
Услыхать, как петух голосит на деревне.

Вот тогда-то и выйдет из белых ворот
Старый резчик, седой, как сибирский кот.

Слава новому дню! Слава белым ночам,
Что, как белые совы, глядят друг на друга
А в твоих волосах, что летят по плечам,
Всё дыханье цветов подмосковного луга.

Ты всю ночь проходила по крохотной той
Колдовской и росистой тропинке июня,
Ты пришла на рассвете в прохладе литой,
Ты пришла, как заря, и вернула мне юность.

19 февраля 1956

114. СЕРЕДИНА ЛЕТА

Вот сквозь сон дощатая ограда.
Сон, помедли! Время, не беги!
Шорох потревоженного сада,
Быстрые и легкие шаги.

Положивши ветер в изголовье,
Ясный месяц вскинув над рекой,
В полночь голубое Подмосковье
Хочет всюду навести покой.

Сразу телевизоры замолкли.
Время в огородах лечь росе.
Лишь, наставив светлые бинокли,
Мчат автомобили по шоссе.

Только ты, пожалуйста, не сетуй,
Что пришла к моим дорожкам сна.
Слышишь — плещет медленная Сетунь.
Квакают лягушки. Вышина. . .

Вышина — вот самое большое,
Что в ту ночь я быстро увидал.
Так прими же детскою душою
Электричку, маленький вокзал,

Палисадников дурман прохладный,
Тени всех размеров и мастей.

Казалось, над липами
мчались
крылатые кони.

Косматые лапищи ветра
метались над нами.

Тяжелые птицы
из сорванных гнезд
выпадали.

Гроза набегала
с обрыва
крутыми шагами,

И в реку кидалась,
и мчалась на вспышках
в далекие дали.

Такая неслась заповедная ночь
под Ивана Купалу,

Когда без дождя
были выси
пустынны и наги.

Лишь редкие капли
на щеки твои
торопливо упали.

И прелым листом,
как берлога,
дышали овраги.

И, за руки взявшись,
глядели мы
в мраки и светы,

Всею грудью прильнувши
к мохнатому ветру
седому,

Как будто купальская ночь
нам на всё
приносила ответы,

Как будто
пришли мы
к родному огромному дому.

С той давней грозы
пронеслись уже
годы и годы.

Но снова я вижу
 ту ночь
 в серебристых и аспидных пятнах.
Мне только гроза
 возвращает
 звериное чувство природы.
Я только в грозу
 понимаю
 тоску твоих глаз непонятных.

1956

116. ГУНИБ.

Тревожен был грозовых туч кругой изгиб.
Над нами плыл в седых огнях аул Гуниб.
И были залиты туманной пеленой
Кегерские высоты под луной.

Две женщины там были, друг и я.
Глядели в небо мы, дыханье затая,
Как молча мчатся молнии из глубины,
Неясыть мрачно кружится в кругу луны.

Одна из женщин молвила: «Близка беда,
Об этом говорят звезда, земля, вода.
Но горе или смерть, тюрьма или война —
Всегда я буду одинока и вольна!»

Другая отвечала ей: «Смотри, сестра,
Как светом ламп и очагов горит гора,
Как из ущелий поднимается туман
И дальняя гроза идет на Дагестан.

И люди, и хребты, и звезды в вышине
Кипят в одном котле, горят в одном огне.
Где одиночество, когда теснит простор
Небесная семья родных аварских гор?»

И умерли они. Одна в беде. Другая на войне.
Как люди смертные, как звезды в вышине.

На облаках
 примчишься ли
 ко мне
 издалека?

Аэродром рассветный
 пахнет
 сонной мятой.

Ревут гудки,
 гудки растут,
 гудок встает
 к гудку.

И пепел на столе,
 подушка
 не измята...

Седой подковой счастья
 ты лежишь,
 Баку.

24 мая 1956

119. ЗАРЯ

Да!
 Мне кажется,
 скоро тебя я пойму.
Жизнь —
 намек на бессмертье,
 дыханье земное.

Всё, что будет
 еще недоступно уму,
Я найду
 на заре
 в месяц пышного зноя.

Ветер
 с каждой тычинки
 снимает слезу.

Он прохладен
 и строг,
 этот утренний ветер.

Но над кровью
 зари
 пламенеет лазурь
Несказанного,
 чистого,
 горного цвета.
Всю вчерашнюю тьму
 нужно утром стереть.
Это ветер зари
 сделал
 просто и мудро.
Ночь прошла,
 ночь придет —
 ночи некуда деть.
Нужно слушать
 вот это
 идущее утро!

2 марта 1956

ОСЕНЬ

120. ЗВЕЗДЫ ОСЕНИ

Тишь стареющей природы.
Звезды осени горят.
Лаёт пес плохой породы,
Непокорный пес Пират.

Водит он хвостом, как кистью,
Цепью звякает глухой.
Облетают с яблонь листья,
Сухо шепчутся с травой.

Сколько нежности и грусти
В том, что чуть бездомен сам,
В стылых лужах, в ломком хрусте,
В заморозках по ночам.

Ходишь, ходишь, как влюбленный,
Слышишь детский свист вдали.

Тонкий холодок каленый
Вырастает из земли.

Что ж в такую осень ищешь?
Молодость — она ушла,
Золотое пепелище
Буйных листьев разнесла.

Счастья миг? Забытый голос?
Дружбы поднятый стакан?
Жжет ли сердце тайный голод
Иль одна из старых ран?

Или та, что брови прячет
В темно-бурый лисий жар,
И от губ ее горячих
Облачком клубится пар?

Может быть, ее и надо...
Только с нею мне нужны
Лист бродячий, жесткость сада,
Одинокий стон сосны,

Всё огромное, живое,
Что зимой должно заснуть,
Что мне песней ветровою
Обещает вечный путь.

1956

121. МОСКОВСКОЕ НЕБО

Что ж, любовь, ты осыпана бурой листвой,
И ракеты взвиваются ярко.
Пять прожекторов встали над головой
Буйной рощи Петровского парка.

И потухли, оставив на небе седом
Пять столбов дымно-черного цвета.
Красно-желто-зеленооконый дом
Светит в сетке тоненьких веток.

Так скорее туда, в этот дом, где живут,
Знаю, очень счастливые люди.
И для них берегут многоцветный уют
Двадцать залпов салютных орудий.

Навсегда запрокинуты губы твои.
Не дойти нам к заветному дому.
Ветер, ветер, оторванных листьев рои
Вьются, кружатся по-молодому.

Ночь сыра той чудесною сырью листвы,
Поздних, пряных дождей переулочной дремы,
Но для нас — беспредельное небо Москвы,
Рокотанье Центрального аэродрома.

Нам с тобою не нужен счастливый дом.
Здесь наш дом; где тревога и ветер,
Где стоят неподвижно на небе седом
Пять столбов дымно-черного цвета.

14 февраля (?) 1956

122. ДОЧЕРИ

Милка, девочка моя,
Скоро жизнь тебя научит
Не давать себе житья
И других напрасно мучить.

Эта глупость от отца
Умной дочери досталась —
Сердце тратить без конца,
Лишь бы сердце оставалось.

Если только бьется в нем
Капля сумасшедшей крови,
Пусть она мелькнет огнем
В каждом чувстве, в каждом слове.

Если видишь ты, что жизнь
Разрывается на части,

Смело сердце положи
На весы людского счастья.

Если же тебе одной
Перепутье попадетсЯ,
Нужно мчаться по прямой —
Так в роду у нас ведется!

3 марта 1956

123. НА ЛИСЬЕЙ ГОРКЕ

На Лисьей горке стЫлые осины,
Осенний лес беззвучен и суров,
Лишь изредка доносится несильный,
Далекий, грустный говор топоров.

Да дятел стукнет, хмуро покосившись,
Макушкой красной на стволе сверкнет.
На Лисьей горке стЫлые осины.
Давно окончен птичий перелет.

Железное безмолвие настало,
Холодный поезд туч, полет немой.
И лес синеет, до смерти усталый,
В последний льдистый день перед зимой.

И вдруг лучами облака прорвало,
Рвануло золотом и синевой,
По лесу солнце прокатилось валом,
Блеснуло ярко-желтою травой.

Помчались в соснах красные колеса,
Встряхнулись листья, хитрые края,
И ты прошла, смугла, русоволоса,
В кожанке рыжей, молодость моя.

Девчонка, пулеметчица, красотка —
Всей болью сердца я тебя зову.
И тихий голос на лесной высоте
Далеко отвечает мне: «Ау!»

3 февраля 1956

124. ЦИРК ШАПИТО

Всё потемнело,
и сразу взлетели
Желтые крылья
опущенных штор.
Кружатся звезды
от легкого хмеля.
Гравий шуршит.
Начинается шторм.
Клоун стреляет
из пистолета.
Ветер врывается
в цирк Шапито.
Вот и кончается
южное лето,
Гроздь винограда
давя
под пятой.

Хочет.
Поют музыкальные пилы,
Пони танцуют,
грызя удила.
Сколько тоски
ты
шутя накопила,
Сколько безвыходной лжи
принесла.

Близится время
последних известий.
Ночь.
Закрывается
цирк Шапито.
Вот и идешь ты
путями созвездий —
Темная,
тихая,
в черном пальто.

1956

О, если бы забыть мне тяжесть лет
 И, как овчарке, вновь напасть на след,
 Который бы привел меня к твоим дверям,
 Хоть этот путь, увы, не будет прям.
 Но знаю, помнишь ты, не забываешь ты
 Чимган, Чимган — далекие хребты!

Ты сможешь ли забыть седую мощь ночей
 В серебряной броне карагачей,
 Ночей, когда стихает азиатский зной
 И бубен бьет, беседа с луной,
 И круглый месяц жадно смотрит с высоты.
 Чимган, Чимган — далекие хребты!

Приснится ли тебе твой старый сад,
 Где арычки, как змейки, шелестят.
 Тот сад наполнен был сухим дождем лучей
 Луны, вплывавшей в океан ночей
 Лишь для того, чтоб видел я твои черты.
 А в небе плыл Чимган — далекие хребты.

Услышишь ли ночного ветра стон,
 Осеннего, когда со всех сторон
 Шумят деревья, сбрасывая первый лист.
 А воздух так лучист, так несказанно чист,
 Как будто от земли к луне ведут мосты.
 Чимган, Чимган — далекие хребты!

Зажжешь ли ты в окне неяркий свет,
 Свет первых и скупых послевоенных лет,
 Вскипает скудный плов на золоте углей.
 И вечер на земле становится светлей
 От этой милой, шумной, детской суеты.
 Чимган, Чимган — далекие хребты!

И перед миром всем в лиловой мгле
 Одни с тобой мы были на земле.

С моря Белого
 журавли летят,
К морю Черному
 журавли дробят.
Снова тянется
 песня вечная,
Перелета нить
 бесконечная.
В небе
 древний клич
 уходящих стай.
Уплывает путь
 за верстой верста.
Сердце птичье
 томит
 даль безумная,
Пелена морей
 многошумная.
Что же,
 карта какая
 мне выпадет
И какая дорога
 выведет?
Всё, что рвется,
 как гром,
 в журавлиной груди,
Жадно вторит
 тому,
 что лежит впереди
Влажным маревом,
 сонной дымкою,
Непонятной для нас
 невидимкою.
А в сыром бору
 темный гул
 стоит.
Двухсотлетний бор
 сердце тайн
 таит.
Всё, что бродит в земле,
 всё, что дышит
 в земле,

127. ФОТОГРАФ

Фотограф печатает снимки.
Ночная, глухая пора.
Под месяцем, в облачной дымке,
Курится большая гора.

Летают сухие снежинки,
Окончилось время дождей.
Фотограф печатает снимки —
Являются лица людей.

Они выплывают неожиданно,
Как луны из пустоты.
Как будто со дна океана
Средь них появляешься ты.

Из ванночки, мокрой и черной,
Глядит молодое лицо.
Порывистый ветер нагорный
Листвой засыпает крыльцо.

Под лампой багровой хохочет
Лицо в закипевшей волне.
И вырваться в жизнь оно хочет,
И хочет присниться во сне.

Скорее, скорее, скорее
Глазами пльви сквозь волну!
Тебя я дыханьем согрею,
Всей памятью к жизни верну.

Но ты уже крепко застыла,
И замерла волн полоса.
И ты про меня позабыла —
Глядят неподвижно глаза.

Но столько на пленке хороших
Ушедших людей и живых,

Чей путь через смерть переброшен,
Как линия рельс мостовых.

А жить так тревожно и сложно,
И жизнь не воротится вспять.
И ведь до конца невозможно
Друг друга на свете понять.

И люди, еще невидимки,
Торопят — фотограф, спеши!
Фотограф печатает снимки.
В редакции нет ни души.

24 апреля 1956

128. КАБЛУКИ

Черная, холодная
 полоса на море.
На дорожке сада
 отпечатки каблуков.
Но сегодня — ветер,
 он с горами в споре,
Он кидает в море
 груды облаков.
Ты зачем к порогу
 ночью приходила?
Это ведь нечестно,
 не по правилам игры.
Но какая
 в море
 сдержанная сила,
Как суров и вечен
 силуэт горы.
Ветер ходит хмурый,
 в облачных отрепьях,
Катится в ущельях
 тихий рокот гор.
Судорожно гнутся
 голые деревья,

Пахнет влажной солью
 сумрачный простор.
Ночью приходила ты,
 мало постояла,
Постояла мало —
 это видно по следам.
Папиросу бросила,
 быстро убежала —
Вниз к пустынным улицам,
 к обветренным домам.
Как же не сказал тебе
 мудрое
 «останься!»
Добрый дух деревьев,
 замученных зимой?
Только бормотала
 внизу электростанция,
Дуло из ущелья
 сыростью и тьмой.
Так зачем стояла ты
 ночью у порога?
Ждала ли ты,
 прощалась ли,
 пыталась ли стучать?
Дрожала ли от шороха,
 как птица-недотрога,
Или хотела заново
 всю нашу жизнь начать?
Что ж, навсегда проститься,
 солгать перед судьбою?
Уходят в море Черное
 моторки рыбаков.
Но на дорожке мокрой
 оставлены тобою
Доверчивые, злые
 отпечатки каблуков.

20 апреля 1956

Не узнать твои черты,
Мысли оскудели.
Неужели это ты
В том же самом теле?

Вечна винограда гроздь
В мощном ливне света.
Вечны мириады звезд
В черном небе лета.

Вечны смерти рубежи —
Дальняя дорога.
И пылает в мире жизнь
Без конца и срока.

Но любви твоей душа
Ссохлась в тайной страсти,
Так искала ты спеша,
Требовала счастья.

И легла в глубинах глаз
Злая тень заботы,
Что тебя в твой лучший час
Вдруг обманет кто-то.

А когда-то в зимний день
Мы в горах бродили,
На скалу взлетел олень
В легкой, дикой силе.

Он стоял, как великан,
Грудью с ветром споря,
А внизу редел туман,
Простиралось море.

И глядел он, чуть дрожа,
На седую бездну.
И над ним скользил, кружа,
Беркут поднебесный.

В миг предельной красоты
Вечность пролетела.
Неужели это ты
В том же самом теле?

21 апреля 1956

**130. КОЛЫБЕЛЬНАЯ
С ЧЕРНЫМИ ГАЛКАМИ**

Галки, галки,
Черные гадалки,
Длинные хвосты,
Трефовые кресты.

Что ж вы, галки,
Поздно прилетели,
К нам на крышу
На закате сели?

А в печи огонь, огонь.
Ты, беда, меня не тронь,
Не тронь!

Разгулялась
По полю погодка.
Разубралась
Елочка-сиротка,
Разубралась
В зори чистые,
В снега белые,
Пушистые.

Как запели
Стылые метели,
Все-то птицы
К морю улетели.
Оставались галки
На дубу,
Черные гадалки
На снегу.

Скоро встанет,
Скоро будет солнце.
К нам заглянет
В зимнее оконце.
Ты, родная, крепко спи,
А снежок лети, лети!

Счастье будет,
Непременно будет,
Нас с тобою
Счастье не забудет,
А пока летит снежок
И поет в печи
Сверчок.

В дальнем море
Корабли гуляют,
На просторе
Волны набегают.
А у нас метель, метель,
А у нас тепла постель.

Счастье будет,
Непременно будет.
Наше счастье
Никто не осудит.
Под щекой твоей
Ладонь.
А в печи горит
Огонь.

Догонялки
В поле побежали.
Это галки
Всё наколдовали.
Скоро будет дольше
Свет.
И разлуки больше
Нет.

Наше счастье
Здесь, с тобою рядом,

Не за синим
Морем-океаном.
Кличут поезда
На Окружной.
Будешь ты всегда
Со мной.

3 мая 1956

131. СВЕТ НА ЗЕМЛЮ

Как морозит! Как морозит!
Вечер, лампы, хруст шагов.
Фонарей далеких россыпь
У гранитных берегов.

Что теперь со всеми нами
Сделала, смеясь, зима!
Как бегут, звеня коньками,
Девушки, сводя с ума!

Сто машин огни швыряют
На тугой румянец щек.
Легким инеем играет
Над губой твоей пушок.

В праздничном, горящем небе
Слышен дальний звон планет.
Может быть, случилась небыль —
Смерть устала, горя нет?

Горя много, смерть не дремлет,
Но, слетевши в ночь зимы,
Радость на седую землю
Жадно вырвалась из тьмы.

21 мая 1956

132. ЗВЕЗДА

Звезда, звезда, холодная звезда,
К сосновым иглам ты всё ниже никнешь.
Ты на заре исчезнешь без следа
И на заре из пустоты возникнешь.

Твой дальний мир — крылатый вихрь огня,
Где ядра атомов сплавляются от жара.
Что ж ты глядишь так льдисто на меня —
Песчинку на коре земного шара?

Быть может, ты погибла в этот миг
Иль, может быть, тебя давно уж нету,
И дряхлый свет твой, как слепой старик,
На ощупь нашу узнает планету.

Иль в дивной мощи длится жизнь твоя?
Я — тень песчинки пред твоей судьбою,
Но тем, что вижу я, но тем, что знаю я,
Но тем, что мыслю я, — я властен над тобою!

21 февраля 1956

133. В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Не горит электричество.
Только одна
Печка
красные блики
бросает на стены.
Да еще
в незакрытые окна
луна
Льет квадраты
и тянет
лиловые тени.
Школа сельская.
Запахи
мела и парт.

Ровно полночь
на маленьких
школьных часах.
Вы — портреты,
в кудрях,
в бородах
и в усах,
Силы
новой России,
как деды,
размерьте.
На сто верст
за стеной
вековые леса,
И на стенах
застыли
ребят голоса.
Здесь
оплот государства
и наше бессмертье.
Ты чему их научишь,
родная моя, —
Присмирелости,
гордости,
правде
иль кривде?
Кто из них
будет книгою бытия,
Кто
слепой запятой
в неразборчивом шрифте?
Мы
великие цели
поставили им,
Все богатства
земные
оставили им.
Мы
о многом
в пустые литавры
стучали,

Мы о многом
 так трудно
 и долго
 молчали.
Но по нашим следам,
 по кострам
 и золе
Поколение юных
 идет
 на земле.
Завтра утром
 мы в месяц весны
 перейдем
По звонку
 и по солнцу,
 без опоздания.
А на рыжих поленьях,
 объятых огнем,
Всё бегут человечки
 и рушатся зданья.
В школе мы говорим
 перед древним
 огнем.
Много видно
 отсюда —
 и ночью
 и днем.

8 июня 1956

ПАМЯТИ ДРУГА

А. А. Стрелихееву

134. СЕРДЦЕ

Возьми прилети, мое сердце,
Синицей
На милый порог,
Где вновь народившийся месяц

Сгибает
Свой белый рог,
Где все сирени июня
Свой гибельный чувствуют
Срок.
Возьми улети, мое сердце,
Как птица,
На милый порог.

Там в серой измятой пижаме
Профессор
Встречает гостей.
Он длинными машет руками,
Он требует новостей.
Хитрым горит любопытством
Его близорукий взгляд,
И мощные вопли футбола
В динамике старом
Гремят.

Как мало себя мы знаем
В нашей новой странс.
Кто знает
Любовь и дружбу
В новой их глубине?
Живем мы в сказочном мире,
Но сказок мало у нас.
А добрые, мудрые сказки
От нас
Не отводят глаз.

Большая и добрая сказка —
Ты сказками
Нас одарил.
Сказочно верил в дружбу,
По-сказочному
Любил.
Болельщиком шара земного
Жил,
Не жалея сил.
Красивым был человеком,

Смешным великаном
Был.

Скажите,
Разве не должен
Жить такой человек,
Высокий,
Как мамонт сибирский,
Возле студеных рек?
Ты девушке улыбнешься —
Она
Потихоньку вздохнет,
Дерево тронешь в апреле —
Дерево расцветет.

Наша земля прекрасна,
Прекрасна наша земля!
Нам очень нужны великаны,
Чтоб тихо цвели поля,
Чтоб двигались мы
В мирозданье,
Чтоб нежились детские сны.
И добрые великаны
Нам тоже
Очень нужны.

Но сердце у великана
Не облако, не гора.
Больше, чем золота
В недрах,
Рассыпано в нем добра.
Но всё же оно обычное,
Обычное,
Как у всех,
Больной, утомленный комочек —
Свидетель
Трудов и утех.

Живут великаньи чувства
В натруженном сердце том —
Мечта овладеть природой,
Планетный покинуть дом,

Увидеть не наши зори
И вновь коснуться зари,
Когда по весне
Токуют
Влюбленные глухари.

Растут великаньи мысли,
Чтоб разум
Не знал оков.
Чтоб не было подлости
В жизни
И не было
Злых дураков,
Чтоб вышвырнуть заваль
На свалку,
Туда, где место гробам.
И, растворяясь,
Исчезнуть,
Землю прижав к губам.

Сны великанские долги. . .
Долго ты счастья ждал,
Пошел над матерью Волгой
Над Волгой пошел
И упал.

Сны великанские долги —
Старайтесь
Побольше найти
Добрых,
Больших великанов,
С ними
Нам
По пути.

А вы, идущие следом
По землям
Грядущей весны,
Не убивайте сказок —
Светлы великанские сны.
Делайтесь великанами,
Несите ворох вестей

А я тебя всюду встречаю — ты плоть,
 ты ходишь по свету,
 Почти что под сажень ростом,
 широкий, сутуловатый.
 Сквозь стекла очков удивленно
 глядишь на нашу планету.
 Вытягиваешься на кровати.
 Книги берешь с полка, ветер ловишь ноздрями
 Охотничьими, емкими, в чувственной жажде мира.
 Застенчиво улыбаясь, идешь мимо разной дряни,
 Утром для нас просыпаешься, утро туманно и сыро.
 Ночью была еще осень, а утром белы заречья.
 Тенькает тонко синица, кошка сидит на перилах.
 Если бы птицы и звери владели
 людскую речью,
 Они бы всласть и подолгу
 с одним тобой говорили.
 Утро туманно и сыро. Открываются магазины.
 Иди в этот день жизни, тихо иди,
 до свиданья.
 Иди, одаряя природу, прохожих,
 робкую зиму
 Лукавой, чуть виноватой, легкой улыбкой знанья.

И хозяин вошел,
и пошли чудеса.
И ольха зацвела,
и весною подуло,
Бурый вальдшнеп захоркал,
заблеял бекас.
Тяга
бьет холодочком
в горячие дула,
Красный луч
молодой
на березе погас.
Я обязан земле
той безмерной
удачей,
Что со мной
повстречался
товарищ такой.
Он ходил, усмехаясь,
в бревенчатой даче
С детской жадностью к жизни
и древней тоской.
Ведь не скоро сойдутся
в одном человеке
Милость сердца,
веселая
дерзость ума.
Ты был тих
и широк,
словно русские реки,
И просторен душой,
как родная зима.
Ты был зорек
и полон
холодной отваги
В кабинетном покое,
в тиши
до утра,
Когда слышалось только
шуршанье бумаги,
Бормотание формул
и шорох пера.

И глядим на огоньки —
На простую прелесть мира.

Сколько в мире тайных сил,
Неисчерпанных, бездонных,
Сколько на земле могил,
Сколько жизней нерожденных.

Друг любимый, смерти нет
В этой прелести нетленной,
Где струится лунный свет,
Блещут маяки вселенной.

И в такую ночь луны
Сила всей земли стремится
Светлым морем тишины
Вновь с тобой соединиться.

24 февраля 1956

ВРЕМЯ

188. ТА, КОТОРУЮ Я ЗНАЛ

Нет,
та, которую я знал,
не существует.
Она живет
в высотном доме,
с добрым мужем.
Он выстроил ей дачу, он ревнует,
Он рыжий перманент
ее волос
целует.
Мне даже адрес,
даже телефон ее
не нужен.
Ведь та,
которую я знал,
не существует.

И если б
я сказал тогда,
что умираю,
Она
до ада бы дошла.
дошла до рая,
Чтоб душу друга
вырвать
жадными руками.
Бедны мы были,
молоды —
я понимаю!
Но власть
над ближними
ее так грозно съела,
Как подлый рак
живую ткань
съедает.
Всё,
что в ее душе
рвалось, металось, пело, —
Всё перешло
в красивое, тугое
тело.
И даже
бешеная прядь ее,
со школьных лет
седая,
От парикмахерских
прикрас
позолотела.
Та женщина
живет
с каким-то жадным горем.
Ей нужно
брать
все вещи,
что судьба дарует,
Всё принижать,
рвать
и цветок и корень

В смоленский лес
вошел
в полдневной тишине.
Всё было
как посадка
по вагонам —
Всё напряженно,
всё тревожно,
путь далек...
В тоске
ломала руки
Антигона —
Библиотекарша,
залетный мотылек.
И режиссер,
хвативший
самогона чарку,
Ругал
босой, нескладный
старцев хор,
Клянясь,
что наркомпрос,
товарищ Луначарский,
Из самого Кремля
глядит
на наш позор.
А вот что
в этот день
на самом деле было —
Народ играл,
народ глядел,
не отрывая глаз.
Как в древности,
трагедия
по лугу проходила,
К вершинам вечности
ведя
смятенных нас.
Пять сотен
деревенщин
бородатых

Когда Зарайский полк
играл
«Царя Эдипа»
Среди июньских,
белых, как творог,
берез.

18 марта 1956

140. ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ

Самеду Вургуну

Снилось мне,
что лишился я
радостных снов,
Приносящих
согретую сердцем
строку,
И пошел
на горбы
нефтяных промыслов,
Что, как рыжие львы,
охраняют Баку.
Слышал я
одинокого коршуна
крик,
Что в железном просторе
так дико
возник.
И со мной
опустился на камень
старик,
С налитыми работой
руками
старик.
Гулко чавкали
трубы
от крови земли,

Черным запахом

нефти

дышала земля.

И каспийские чайки

далеко

несли

Уходящую

к северу

тень корабля.

В реках пролитой крови,

в потоках знамен

Ты трудился,

ты падал,

ты рос,

мой Баку.

От манташевских дней

до вчерашних времен

Сколько горестей

ты перенес,

мой Баку!

Я спросил старика:

что такое Баку?

Он сказал —

это нефть,

это кровь,

это труд.

Никогда

не узнает покоя

Баку,

Никогда

комиссары его

не умрут.

Никогда, никогда, никогда

не умрут.

Все живут 26,

26 все живут!

Эта древняя сказка

у всех на устах,

Что героям

бессмертье

навек дано.

Нет бессмертья в веках,
но в бессмертных делах
Блещет
судеб земли
золотое звено.
Если светит маяк —
он сулит морякам
Безопасность морей
и знакомый приют.
И пока
на Востоке
пылает Баку,
Комиссары Баку
среди живущих
живут.
И видны они всем
там,
где бури черта,
Где сливается
с тучами
грозная твердь.
Их дела беспорочны,
и совесть чиста,
И могуча,
как жизнь,
комиссарская смерть.
Никогда
комиссары Баку
не умрут.
Все живут 26,
26 все живут!
Сколько буйных страстей,
титанических сил
Из груди твоей
вырвалось в мир,
мой Баку.
Сколько
курток залатанных
ты износил,
Горбоносый,
седой бригадир,
мой Баку!

Это сон,
что сидишь ты
на камне
со мной,
Слыша бурю событий
и каменный зной,
Слыша старую речь,
слыша новую весть.
Но с тобою,
храня
свою смертную честь,
Говорят 26,
говорят 26.

11 марта 1956

141. НОЧЬ ВЕСНЫ

— Выходи на балкон.
Слышишь —
гуси летят.
— Как тогда?
— Как тогда!
Время к старости, брат...
— Нет,
я в старость не верю,
на крыльях держись!
Верю в жизнь,
верю в смерть
и опять снова в жизнь.
Видишь, лунный прибор.
Слушай,
гуси летят!
— Как тогда?
— Как тогда,
много весен назад.
Вместе с Фрунзе
пришли мы
с Чонгара сюда
И весной удивились,
как жизнь
молода.

Мы слышали гусей
 той же
 лунной порой.

Помнишь ты
 черепа
 под Крестовой горой,

Помнишь
 ту бескозырку
 с пробитой дырой?

Закопали мы
 кости
 героических ребят?

Слышишь, гуси летят?
 Слышишь, гуси летят?

Разве кто из нас
 молодость
 зря проиграл?

Ты теперь академик,
 а я — адмирал.

Тот же
 слышим прибой,
 ту же
 видим звезду

Здесь,
 в твоём ботаническом
 старом саду.

Как нас в жизни
 трепало,
 мотало,
 мело.

Раньше тридцать бы жизней
 в такую вошло,

Оттого что
 юнцами
 несли на плече

Серп и молот
 на выцветшем
 кумаче.

Этот ветер тревожный
 на запахах
 щедр:

Слышишь —
 вот кипарис,
 вот сосна,
 это кедр.

И неожиданное чудо
 пришло
 от земли —

Это вишни
 у моря
 сейчас расцвели.

Помнишь
 девушку Леру —
 несчастье мое?

Под Мадридом
 бойцы
 схоронили ее.

Ботанический сад
 дышит
 влажным листом.

Здесь — я гость,
 ты — хозяин,
 и это твой дом,

Дом шумящий,
 зеленый,
 в громадах аллей.

— Адмирал,
 под луной
 вновь стаканы налей.

Пью за синий твой дом,
 пью за путь кораблей!

— Счастлив ты?
 — Я не знаю...
 — Не знаю и я.

Всё в порядке --
 работа,
 любовь
 и семья,

Только,
 если не замерло
 сердце в груди, —

Настоящее счастье
 всегда впереди.

Потому что
 сюда
 с Перекопа пришли.
В дни,
 когда еще
 Ленин
 в Кремле проходил,
Когда Фрунзе
 полки
 за Чонгар проводил.
Сердце —
 молодость мира —
 ты бьешься в груди.
Настоящее счастье
 всегда впереди!
— Как тогда?
 — Как тогда,
 много весен назад...
Море бьет,
 и огромный колышется сад,
И весна
 развернула
 свой юный наряд.
Слышишь — гуси летят?
 Слышишь — гуси летят. ■■

28 марта 1956

Родина,
 ты вся в пути —
 Россия, Украина —
 В этой пограничной,
 безграничной тишине.
 Реки твои синие,
 синие долины
 В глуховской и брянской
 дремучей стороне.
 Это ли берез
 светлокудрявые туманы,
 Это ли поляны
 синих, синих медуниц...
 Дикое безмолвие
 лесного океана,
 Чистые свирели
 прилетевших птиц.
 Какие мы республики
 мимо
 проезжали,
 Какие там правительства
 сидели
 и войска —
 Не ведаю,
 но Родину
 всё крепче собирали
 Руки коммунистов,
 Ленина рука.
 Власти были молоды,
 и молоды без опыта,
 И никакой Европы там,
 а просто глухомань.
 Шайки, банды, батьки
 рубались
 в конском топоте,
 С государств двухдневных
 собирая дань.
 И может,
 всё распалось бы
 в дыму, пальбе и прахе,

И может,
 полетела бы,
 замлевши,
 голова,
Но Кремль сводил в одно
 страну
 без жалости и страха,
Соединяла землю
 заново
 Москва.
И «Яблочко»
 катилося
 от моря и до моря.
То яблочко румяное
 беспутный ветер гнал,
Катилось по дороге
 разлуки,
 смерти, горя,
И намертво
 сменял его
 «Интернационал».
Весна такая синяя,
 такая сине-синяя
В березовых сережках,
 в гусиных косяках.
Из лесу красавица
 вышла возле линии,
Глаза такие синие
 и ветер на висках.
Земля моя,
 любовь моя,
 на клочья ты размётана,
Измучена, истоптана,
 исколота штыком.
С разгромленными селами,
 с горящими омётами,
С бредущим по обочине
 костлявым стариком.
...Острейший глаз
 прищуривши, сел у прямого провода
Ведущий судьбы времени,
 насмешлив и суров.

Нозной пайрул

Времена зимние
города Силезские
привабливае
Катане, Луисе
Винтермане колесами
подруго тинице

Винтермане колесами
Кисе дел. отмена. Афра "

Не пиром
'Бескель
Кисе дел. отмена. Афра "

Свети на яздане
пиром 1 пиром ариал,
африка

Редо на ерале тинице.
Друаке
африка пиром

Меза на ерале тинице
лас, еде ерале тинице
то ерале тинице, ролле

В ерале тинице
пиром
африка тинице

В Делр ерале тинице
лас ерале тинице

В ерале тинице
пиром тинице

В ерале тинице по ерале тинице.
Орале тинице
В ерале тинице пиром тинице
рас-де, рас-де, рас-де .:

Выстрел отдаленный.

Кино без стекол

«Арс».

На площади

беленый

глиняный Карл Маркс.

Слепил его художник,

потом в тифу пропал.

Звезда из красной жести.

Дошатый пьедестал.

Звезда из красной жести,

лак

или крови ржа.

В середине серп и молот,

лучи

острей ножа.

И Днепр, замороженный,

весь ледяной

до дна,

И ведьмами озябшими

зажженная луна.

Идет патруль по городу.

Округа вся

мертва.

Шагами тишь распорота —

раз-два, раз-два, раз-два.

И я иду, и я иду —

ремень вошел в плечо, —

Несу звезду,

мою звезду,

что светит горячо.

Всем людям я

звезду несу,

пяти материкам.

Недвижен Днепр,

синеет Днепр —

славянская река.

И невысоко

над Днепром,

где стонут провода,

Глядит товарищ Ленин,
облокотясь на стол.
Горит звезда багровая,
судьбу земли
тая, —
Жестокая и строгая,
как молодость моя.
Идет патруль по городу —
шаги, шаги, шаги.
На все четыре стороны —
враги, враги, враги.
А ветер жжет колени.
Звезда горит огнем.
Мы здесь,
товарищ Ленин.
Мы землю повернем!

3—4 января (?) 1957

144. БАЛЛАДА О НОВОМ ГОДЕ

У статуи Родена
мы пили спирт-сырец —
Художник,
два чекиста
и я — полумертвец.
Весь выбритый до глянца,
с тифозной головой,
Я слушал,
нет, мы слушали
метели волчий вой.
Коптилка догорала,
музей был тих и пуст,
Лишь двигался
по залам
полов морозный хруст,
Шушукалась
с портретами
слепая темнота,
Да крысы пробежали
величиной
с кота.

Товарищи, за коммунизм!
 Вот он —
 встает в снегах!
 Гремели трубы за окном,
 взметая снежный прах.
 Наташа, девушка,
 ждала
 в хибарке без огней,
 Но я в ту яростную ночь
 не вспоминал
 о ней.
 Зачем любить,
 копить добро,
 других опережать,
 Когда приходит коммунизм,
 вот он —
 рукой подать!
 И пели трубы чистые,
 преграды все
 круша.
 Чекисты пили истово,
 кожанками шурша.
 Пойдут они
 по улице,
 зайдут в старинный дом.
 Там до утра потрудятся
 и выйдут вшестером.
 И впереди старик пойдет —
 полковник
 с бородой,
 Потом два пана,
 а потом
 поручик молодой.
 Тяжелая работа.
 Нелегкая судьба.
 Полночные аресты,
 полночная пальба.
 Земной кружился
 старый шар
 среди крови, дел и слов.

И лягушки кричат,
и русалка томится.
А восстанье кулацкое
кончилось.
Будет дорога.
Ветер
в лунных теплушках
и степь у порога.
Многодумное небо,
могучие запахи
ночи.
И весенние ночи,
что жизни курсантской
короче.
Ты приснишься опять
в поездном нарастающем гуде.
Мне рубашку прожгут
молодые горячие груди.
Ты приснишься
в туманах берез,
в подмосковных рассветах,
Майским соком
дурманя
нелегкую службу
Советов.
И на русских болотах
взойдешь ты,
как дымка ночная,
В соловьином чаду,
словно ландыш,
цвети начиная.
Ты приснишься
в отцовской,
сиренью задушенной школе,
Где громовые лозунги
кличут тебя
в комсомоле.
Ты теперь в комсомоле!
Ты в смолах,
лесах и долинах.

В залетевших
 на Север
 крутых облаках-исполинах.
 В незакатных ночах,
 где не движутся
 светлые воды,
 В колдовской толчее,
 в этой свадебной пляске
 природы.
 Ты со мной не ложись,
 как ложится роса
 на дорогу.
 Подожди,
 чтобы нам не проспать
 боевую тревогу.
 Боевая тревога — труба,
 что взорваться от ярости хочет.
 Нет, поет не труба —
 на селе
 просыпается кочет!
 И восстанье окончено —
 что ж ты, тревога, таишься?
 Ах, Россия, Россия,
 зачем ты мне снишься?!

15 февраля 1957

146

Тебя давно уж нет на свете,
 Но я беседую с тобой.
 Я вспомнил бухту,
 южный ветер,
 Зеленопламенный прибой.
 Ангары.
 Ночь.
 Тень гидроплана.
 Огромное лицо луны.
 Тревожный холодок дурмана
 От губ
 твоих,
 от крутизны.

Дух сивушный,
дух обжорный
шел из мелких лавочек,
Визг стоял
у колоколен
от летящих ласточек.
Нэпманы
ходили важно —
серый коверкот, —
Долларами торговали
прямо у ворот.
Франция, как змей, глядела,
Англия — как лев,
И Пилсудский
на плакатах
неся, озверев.
В страшных,
штопаных шинелях
хмурый шел народ.
Крот истории,
как видно,
был ленивый крот.
Только что
кусок
просила,
мерла и брела
Вся поволжская Россия,
с голоду бела.
Только что
свистели банды,
бились кулаки,
Только что
открыли двери
настежь
кабаки.
Стал плюгавый обыватель
вороном кружить.
Пел он
песню о цыпленке —
том,
что хочет жить.

148. НЭПМАН ЗВАВИЧ

Нэпман Звавич гуляет.
Он демонски пьян.
Поднимая
Венецианский стакан
Золоченый,
Он тосты, гордясь,
Говорит.
Над хозяином
Грузная люстра
Горит.

Нэпман Звавич,
Как штык,
Полирован и чист.
Кто в гостях у него?
Скульптор-супрематист
И поэт-акмеист —
С черным перстнем
Поэт,
Две лихих балерины,
Худых,
Как скелет,
Коммерсанты
И дамы
Значительных лет.
А красотка жена
Словно вешний рассвет.
Нэпман Звавич гуляет,
И удержу нет!

Нэпман Звавич гуляет.
Он хапнул кредит.
Из Промбанка
Бухгалтер
С ним рядом сидит,
Говорит,
Что с такими дельцами
Вперед
Наша мудрая власть

До победы
Пойдет.

И квартира
В семь комнат,
Как море, шумит.
Нэпман Звавич
Кухарке
Не ставит на вид,
Что на кухне
Ночует
Пять суток подряд,
Полусидя,
Кухаркин
Рабфаковец-брат.

Нэпман Звавич гуляет.
Он славит судьбу.
У него, спекулянта,
Семь пядей
Во лбу.
Нэпман Звавич
Такой,
Что с него взял пример
Виктор Гаммер,
Нью-йоркский концессионер.
Виктор Гаммер,
Нью-йоркский миллионер,
Непреклонного Звавича
Ставит в пример.

Нэпман Звавич гуляет.
Он тверд и речист.
Вот он,
Новый
Российский капиталист:
Где медведем рванет,
Где змеей проползет,
От расстрела ушел,
В президенты пройдет,
Если всё повернется
Наоборот.

А рабфаковец
В дреме
Окопы берет.

Балеринские челки :
Висят до бровей.
Акмеист разливается
Как соловей,
И, как фея,
На Ззавича
Смотрит жена,
В трех
Настенных зеркальностях
Отражена.
И любитсЯ Ззавич
Плечами жены,
А рабфаковец видит
Кронштадтские сны.

Нэпман Ззавич возносится.
Льется коньяк
На лиловый
В полоску
Английский пиджак.
О России
Презрительно он говорит.
Он Америку,
Пренебрегая, корит:
Что Америка нам? —
Нам она нипочем :
Перед русским
Классическим нэпачом.
Не ломился
Рокфеллер
В замерзший вокзал.
Нэпман
Пулей вгонял
Основной капитал.
Он и стрелян, и ломап,
И кошек едал.
Пострашней преисподней
Он вещи видал.

Стал безмерно велик,
Был до горести мал.

Потому-то
Справляет он сам
Торжество.
И великим
Назвали на бирже
Его.
А рабфаковец
Речь
В грозном сне говорит
Над своим комиссаром,
Что в землю
Зарыт.

Опрокинули гости
Бокалы до дна.
Наклонилась над ними
И смотрит
Страна.
У гостей
Раскрывается настезь
Душа.
Разъезжаются гости,
Морозом дыша.
И останутся Звавич
С женою одни.
Сон придет.
Понесутся
Несчетные дни...

Несутся дни,
Как искры на пожаре,
Прошла эпоха целая,
Пока
Великий Звавич
Стал
Официантом в баре,
Рабфаковец —
Секретарем ЦК.

10 февраля 1957

149. ПЕТРОВСКИЙ ПАРК

(1929)

- Меня поцелуй покрепче! . .
- Там люди.
- Нет, это ветер,
Ветер, ветер Петровского парка.
- Мне жарко!
- Нет, он холодный, осенний. . .

Словно в землетрясенье
Качаются крыши, деревья, заборы.

- Так скоро?
- Постой! Неужели так скоро?

Ночь листьев и увяданья.
Ночь рваного ветра.

- Прощай?
- До свиданья!

Извозчик проехал. Задрезбужала пролетка.
— Зайдем на минутку ко мне.
— Зачем?

Еще за стеною пьют водку
Жокеи.
Бормочут еще патефоны
Глухие, как полночь, чарльстоны
В бревенчатом, толстом домишке
На Масловке.
Тянется вишня
Вся голая,
Словно раздетая девочка.
В окна стучится.
Жокеи с бегов
Торопливо стремятся напиться
И хвалят своих лошадей
С непонятными гордыми именами:
«Эксцельсиор», «Лорд Четем»,
«Миранда», «Сюррей», «Лаэтами».

Из ресторана приехал
Опухший
Валютчик
На конское это веселье.
«Я Пушкин, — кричит он, — я Пушкин!
Я Ленский перед дуэлью!
Сразят меня в сердце налоги,
Смерть на пороге!
Последние дни доживаю.
Последних девчонок целую...»
И полночь последним трамваем
Уносится напропалую
В шуршащую темень,
В сумятицу листьев
Злую.

Огромное небо
Подкрашено светом неярким.
Танцуют, и вьются, и свищут
Все ведьмы Петровского парка.
Цыганские ночи.
Ржут конские глотки.
Минуты прощанья всё тоньше, короче.

Опять простучала пролетка.
Податливы губы твои
И податливы плечи.
Глаза запрокинуты, зубы — полоской —
Прохладны и влажны.
Туманны глаза твои
И запутанны речи.
И так ты вся пахнешь,
Что это вот —
Всё,
Что мне нужно
И важно.

— Брось лысых лошадиников,
Песни, похмелье, семью.
— Я не в силах,
Возьми меня, бей меня, режь меня, —
Только б не ехать.

— Ты едешь куда?

— На Урал.

— Это место для ссыльных. —

Взрыв жеребьячьего смеха

И выкрики: «Где она, где она?

Сказано, сделано!

Сбито, заметано!

Где она? Вот она!

Крала червонная,

Дама чарльстонная».

— Иди!

А через ночь летят слова по проводам

Грохочущие:

«Уралмаш. Турксиб. Магнитка.

Краммашстрой...»

— Тебе я жизнь веселую отдам.

Не уезжай. Глаза закрой.

Ты будешь мой.

«...Челяба. Днепрогэс. Хибины.

Ростсельмаш...»

— Пусть патефоны грянут марш!

Здесь так темно

И так тепло.

Я не люблю, когда светло.

Тебя безжалостная тянет

Клетка.

А жизнь моя

Как поезд под откос!

...Всё будет так:

Бетон,

Землянки и мороз.

Горячечные ночи.

Пятилетка.

Да, только так.

А иначе никак.

Вдруг обедневший,

Толпами шумящий

Город.

Приказ ЦК,
Что может сдвинуть
Горы.
Где метрдотель
Парил, как небожитель, —
Транзитников
Случайная обитель,
И вместо вывесок,
Где блески и узоры, —
Железная доска —
Распределитель.
Бетон, бетон.
И струйки кумача,
Где наша кровь
Сочилась
Горяча.

Качаются крыши, деревья, заборы.
— Так скоро?
Постой, неужели так скоро?
— Да, милая, скоро!
— Всем телом зову тебя,
Телом зову и душою.
Урал — моя гибель!
Даю тебе слово большое.
Останься!
Здесь жаркие печи,
Дома-перестарки,
Желанные плечи.
И тайные речи
Петровского парка.
И жизнь на пределе
Закрытого малого мира,
В горячей постели,
В укрытой ветвями квартире.
И старая сила,
Что дедов твоих уносила,
Блаженная, жаркая,
В храмах воспетая
Сила
Тебя вознесет
На измятых подушках

К бессонному сердцу любимой,
И станет вся жизнь,
Словно вера,
Неколебимой.
Душа твоя вспыхнет
От лучшего в мире
Подарка,
Когда ты увидишь
В крови, в позолоте
Все клены
Петровского парка...

Вдруг глянула ты
Так горько
И кротко.

Опять простучала пролетка...

Из комнат лошадников
Конское ржанье.

— Прощай!
— До свиданья.
— Прощай, я умру!
— До свиданья.
— Теперь я живу...
— До свиданья.
— До самого дальнего,
Дальнего в мире
Свиданья. Прощай!
— До свиданья!

20 февраля 1957

150. ДРУЗЬЯМ ТРИДЦАТОГО ГОДА

Пусть
Любая мне радость
Приснится,
Постигнет любая невзгода, —
Никогда не забуду

Друзей и товаров
Тридцатого года.
Тех, кто жили
В горячей бессоннице
От напряженья,
В каждый день
Выходили упрямо,
Как ходят в сраженье.
Вы, в холщовых рубахах,
В седых сапогах
Из брезента,
Все дороги узнали
От Мурманска
До Ташкента.
На афганской границе
И на китайской границе
Видел я
Ваши солнцем сожженные
Лица.
Вы, строители,
Гидротехники,
Агрономы,
Были в каждом ауле,
В кибитке
И в юрте —
Как дома.
Это русские люди,
Как нас называли —
Иваны,
Рыли в снежной
Сибири,
В казахской степи
Котлованы,
Шахты ствол
Опускали,
Крутили подъемные краны.
Через четверть столетья
Их юные лица
Актеры несли
На экраны.
Это русские люди,
Как нас называли —

Иваны,
На грохочущий праздник
Работ
Были первыми званы, —
В пированье невзгод,
Что друзьям моим
Щедро досталось,
Где от зноя и холода
В горле хрипела
Усталость.
Это русские люди,
Как нас называли —
Иваны,
Перекрытья цехов
Поднимали
В степные бураны,
Удивляясь рукам своим мудрым,
Терпенью
И силе.
И за это подачек
У жесткой судьбы
Не просили.
Это русские люди,
Как нас называли —
Иваны,
С нивелиром прошли
Водоемы,
Хребты
И барханы,
Ничему не сдавались,
За дело стояли
Горою,
Никогда не узнав,
Что они-то
И были герои.
Это русские люди,
Как нас называли —
Иваны,
Приносили
Подмогу и братство
В забытые страны,
Помогали расти

Государствам
В их самом начале
И достойную помощь
По-братски
От них получали.
Это русские люди,
Как нас называли —
Иваны,
Ледовитый и Тихий
Сумели обжить
Океаны,
Пели песни широкие,
Семьями жили
Простыми
В городах,
Что построили сами
В тайге и пустыне.
Это русские люди,
Как нас называли —
Иваны,
Знали радость работы
И горькие знали
Изъяны.
Каждый
Совесть свою
Неустанной заботой
Тревожил.
И сурово и гордо
Он молодость быстрюю
Прожил.
Вы, идущие
В дальние дали
Ряды
Молодого народа,
Вспоминайте почаще
Товарищей старших
Тридцатого года.

17 июля 1956

151. МАЙСКАЯ НОЧЬ

Ты помнишь ли
След от луны —
Серебряные плоски
За кормой?
Ты помнишь ли,
Как на березах
Насквозь видны
Сережки
Под луной?
И поцелуй,
И хруст шагов
В лесу,
И задыханье соловья,
И то, как звезды
Пьют росу,
И то, как всё это
Был — я,
И то,
Как это — ты была
Всем, всем на свете:
И лучом звезды,
И детским лепетом
Ночной воды.
Ты шла,
Как ходит ветер,
Запах рощ неся.
Ты вся
Была землей и небом,
И еще
Была свечой,
Еще была пожаром,
И еще
Всем человечеством,
Что обнял я
Так жарко
За плечо.
Я не считаю лет,
Которые прошли.
Великолепен
Мудрый мир земли,

И полететь,
 произая Млечный Путь,
Ракетой
 межпланетного снаряда.
Видны
 деревьев
 строгие черты,
Отвесного хребта
 седые гребни,
И в этом мире
 кажешься мне
 ты,
Как листья, юной,
 как деревья, древней...

154. КОСТРЫ

Пощади мое сердце
И волю мою
Укрепи,
Потому что
Мне снятся костры
В запорожской весенней степи.
Слышу — кони храпят,
Слышу — запах
Горячих коней,
Слышу давние песни
Вовек не утраченных
Дней.
Вижу мак-кровянец,
С Перекопа принесший
Весну,
И луну над конями —
Татарскую в небе
Луну.
И одну на рассвете,
Одну,
Как весенняя синь.
Чьи припухшие губы
Горчей,

Чем седая полынь...
Укрепи мою волю
И сердце мое
Не тревожь,
Потому что мне снится
Вечерней зари
Окровавленный нож,
Дрожь степного простора,
Махновских тачанок
Следы
И под конским копытом
Холодная пленка
Воды.
Эти кони истлели.
И сны эти
Очень стары.
Почему же
Мне снова приснились
В степях запорожских
Костры,
Ледяная звезда
И оплывшие стены
Траншей,
Запах соли и йода,
Летающий
С ночных Сивашей?
Будто кони храпят,
Будто легкие тени
Встают,
Будто гимн коммунизма
Охрипшие глотки
Поют.
И плывет у костра,
Бурым бархатом
Грозно горя,
Знамя мертвых солдат,
Утвердивших
Закон Октября.
Это Фрунзе
Вручает его
Позабытым полкам,
И ветра Черноморья

Текут
По солдатским щекам.
И от крови погибших,
Как рана, запекся
Закат.
Маки — пламенем алым
До самого моря
Горят.
Унеси мое сердце
В тревожную эту
Страну,
Где на синем просторе
Тебя целовал я
Одну. —
Словно тучка пролетная,
Словно степной
Ветерок —
Мира нового молодость —
Мака
Кровавый цветок.
От степей зацветающих
Влажная тянет
Теплынь,
И горчит на губах
Поцелуев
Сухая полынь.
И навстречу кострам,
Поднимаясь
Над будущим днем,
Полыхает восход
Боевым
Темно-алым огнем.
Может быть,
Это старость,
Весна,
Запорожских степей забытье?
Нет!
Это — сны революции,
Это — бессмертье мое.

12—13 апреля 1957

Дай мне руку.

Рассвет.

Виден Кремль.

В тусклом номере — дым.

Кто, когда запретил

мне побыть

эту ночь

молодым?

Молодым, но увидевшим всё,

всё понявшим

до дна.

Это сделала

наша московская,

синяя наша весна.

И гостиница

тоже зовется «Москва»,

а внизу

Бьют асфальт

водопадами брызг,

как весною в грозу.

Удивительно радостный

ветер

идет от реки,

Окна настежь открыты —

просторы

не знают тоски...

...вдруг стало видно далеко
во все концы света.

Гоголь

Und so lang du das nicht hast
Dieses: stirb und werde!
Bist du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde.¹

156

Передо мною середина века.
Я много видел.

Многого не видел.

Вокруг не понял и в себе не понял.
В душе не видел, на земле не видел.
И всё ж пойми — вот исповедь моя:
Я был участником событий мощных
В истории людей. Что делать мне —
Простому сыну века?

Говорить

О времени, о том неповторимом,
Единственном на свете. О гиганте,
Который поднялся над всей землей,
На плечи взяв судьбу и жизнь планеты.
Как единична жизнь!

В мозгу людей

¹ Если ты не понимаешь этого — умри и снова возродись, — ты только грустный гость на темной земле (нем.). — *Ред.*

Миры летят и государства гибнут.
В ночном раздумье человека ходят
Народы по намеченным путям.
И всё же ты лишь капля в океане
Истории народа.

Но она —

В тебе. Ты — в ней. Ты за нее в ответе.
За всё в ответе — за победы, славу,
За муки и ошибки.

И за тех,

Кто вел тебя. За герб, и гимн, и знамя.
Я уходил от виденья прямого.
Слепила слабость, принижала робость,
Мешала суетность, манила сладость
Земных ночей, звериное тепло.
Но, даже будь я зорок до конца,
Лишь малое сумел бы я увидеть.
Я спотыкался, падал, поднимался
И снова шел.

Увы, я не пророк.

Я лишь поэт, который славит время,
Живое, уплотненное до взрыва,
Великое для жизни всей земли.

Да, весь я твой, живое время, весь,
До глуби сердца, до предсмертной мысли.
И я горжусь, что вместе шел с тобой,
С тобой, в котором движущие силы —
Октябрь, Народ и Ленин, весь я в них.
Они внутри меня. Мы неразрывны.
И в том, что я сегодня записал,
Я слышу голоса, я вижу мысли
Других людей, друзей, живых и мертвых.
Я записал всё так, как я увидел,
И как умел, и как вообразил.
Я всюду вижу горькие пробелы —
Мне десять жизней нужно бы прожить,
Чтоб передать богатство нашей жизни,
То главное, что принесли мы в мир
На смену старому, в средину века.
Без сказки правды в мире не бывает.
Мне сказочное видится во всем:

В борьбе, природе, в жизни человека,
Я твой, живое время, весь я твой!

Я за окном услышал хруст шагов —
Идет румяный человек в ушанке.
Как молод он! Как щеки разгорелись
От холода! Журнал зажат под мышкой. . .
Пальто подбито ветром. Подожди,
Ты, молодость, ты, будущее наше!
Я здесь с тобой. Ты видишь эту книгу?
Я протянул ее.

Возьми ее!

1957

157. СКАЗКА О ДЕДОВОЙ ШУБЕ

Дверь отворяется — и входит дед.
Огромный, седобровый, бородатый,
Арбатским инеем осыпан весь до пят.
Он опускает каменную руку
На голову мою и молча дарит
Холодный, красный, круглый апельсин.
Домашние, шумя, снимают шубу
Пудовую, на вытершихся лисах,
И вешалка скрипит от старой шубы.
И я, закинув голову, смотрю,
Как дед гребенкой поправляет брови
И медленно скрывается в столовой,
Где сразу поднимаются все гости,
И слышно, как садится тяжкий дед.
И далеко, там, на границе мира,
В столовой легкий звон граненых рюмок
И разные торжественные звуки —
Движенья стульев, перестук тарелок,
Веселый смех и быстрый разговор.
И никого в передней, только шубы,
Галоши, палки, шапки, талый снег.

Я нюхаю, как зверь, меха и сукна
И узнаю гостей.

Морозом пахнет,

И дедом пахнет больше всех. И жадно
Вдыхаю я знакомый запах деда
И залезаю в шубу для игры.
Охватывает душный воздух меха.
Ворсинки меха, запах деда строгий,
Грозовый, медный, стариковский, чистый
Звериный дух оврагов и лесов.
Здесь духота и рыжая дорожка
Среди шерстинок, дальше, дальше, дальше.

— Мне говорили: Киплинг Реднард
Почтен наградой Нобеля за книгу
Ту самую. Ты помнишь — мы читали.
Название «Джунгли». Книга для детей.
— А кто, скажите нам, опишет джунгли
В Тюмени, в Бийске, в Вышнем Волочке?

Здесь рыжие ковры опавшей хвои,
И ветви желтые, и сосны встали
Медвяно-красные на рыжем небе,
И рыжики стоят сам-пятьдесят,
И белки рыжие среди ветвей смеются,
На ветер кинув пышные хвосты.
Несет полдненным духом мерных сосен,
Одна к одной, они гудят, как море,
На богатырских золотых корнях,
И рыжие, с наперсток, мужики
Сосновые, натужась, пилят иглы.
И тропки разбегаются, желтея,
На все четыре стороны, и дует
Тяжелый низовой смоленый ветер.
И разные тут разности творятся:
То будто светом кинет, то стемнеет,
Могучие расходятся забавы
По этой рыжей дедовской стране.
По тропке красные уходят муравьи,
Уносят божью красную коровку,
И дятлы — стук да стук, глядят угрюмо
На этих муравьев, и длинно кличет
Неведомая птица за чашобой.
И вдруг далекая родится песня.
Веснянка это, это же веснянка!

— Вы слышали Шаляпина в «Борисе»?
Тиран. Безумец. Страшный человек.

Сто голосов, один другого выше,
Стоят, не опускаясь, в медном небе.
Заплакать бы, да сил уже не хватит!
Звенит веснянка.

Мчится краснолесье,
Гудит утроба дедовских лесов.
Ты ландышами, что ли, вдаль кидаешь,
Родимый ветер, или лебедями,
Летающими над русскою землей
К далеким черным талым бочагам.
Тут зори падают и вырастают зори
Хвостатые, запененные медом,
Как некогда при Дмитриии Донском.

И входит лето в рыжий храм сосновый,
Светлеет бор, и сосны расступились.
И круглая поляна под цветами,
Покрытая как будто белым платом,
Чтобы никто не мог по ней пройти.
Тут подорожник закрывает тропки,
От раны исцеляющий, зеленый,
А на поляне как бы монастырь —
Коврига белая. Белеют стены,
Ворота настезь, пусто, тишина,
Нет никого.

Безмолвие, пустыня.

— Ты, государыня пустыня, не обидься,
Что мальчик маленький пришел из леса,
От шубы дедовской, от лисьей шкуры.
Прими меня да не гони меня!
Квасами пахнет и печеным хлебом,
Великорусским, духовитым, жарким.
И никого, и только из бойницы
Над воротами слышен томный голос.
Там серая кукушечка кукует
В платочке сером, в пестрядинном платье,
Года предсказывает мне кукушка
И кланяется в пояс по уставу.
— Скажи, кукушка, сколько лет осталось?

От неба до земли лучи гуляют.
Те лучики натянуты, как нити,
И это будто там, где я родился,
Из этих сосен вышел и тропинок,
И бел-горюч заветный русский камень
Лежит на полдороге, и в глуши
Подземное растет лесное пенье.
Раскинул руки я, и всё пошло:
Холодные текут на север реки,
И тучи богатырские восходят.
Стоит избушка на куриных ножках,
Ключи гремят, и родники бормочут,
Берестяные ковшики лежат
У сорока ключей.

Стучит сорока,
Круглеют глубодонные пруды,
В них караси в парче золототканой
Лениво и торжественно проходят.
Кувшинки плачут, ряска зеленеет,
Стрекозы пляшут, крыльями звеня.
Там лисьи норы и большой топор,
Гуляющий по соснам, рыбы пляски,
Овраги, рывины и буераки,
Косматый мох, поднявший к небу брови,
Бревенчатый на трех увалах Муром,
Забытый город, тихий, как сова.
Выходят говорящие медведи,
В обнимку борются, и мед воруют,
И разные слова твердят неспешно.
Кто их поймет — тому пришла беда.

— Нет! Англия теперь уже не та.
Сильнее стали, энергичней страны:
Германия — всё в мире завоюет,
Америка — она продаст и купит
Весь Лондон.

Это наш двадцатый век!

Тут колокол ударил в первый раз,
И полетела, гулко изгибаясь,
Волна громовой меди над пустыней,

Отряхивая золотые росы,
Закованными соснами звеня.
И сердце разорвалось, будто умер.
Но белая выходит песня лета —
Ромашек круглых, круглого покоя.
Стоят над лугом золотые пчелы
И, ножки поджимая, забирают
Великое июльское тепло.
Кукушка кругло вдалеке кукует,
И солнечное в небе колесо,
Сияя, катится по круглым тучам.

— А Блерио не может улететь
На моноплане. Всё ломает крылья!

Тут бочки, и ободья, и одонья,
Коричневые круглые грибы,
Тут мухоморы в крапинках старинных,
И бляхи солнца, и круги прудов,
И плавунцы-жуки, жуки-вертячки,
Иван-да-марья на крутых лугах,
Всё краснолесье, круглое от жара,
И лопухи под бременем улиток,
Червонная от солнца дробь копыта
Коня, идущего за сто земель.
По воздуху тугая льется брага,
Сверкая между сосен, словно искры,
И цепь висит, как древле, золотая
От золотого неба до земли.

— Поверить трудно — умер Менделеев,
Такой гигант!

Таблицы. . .

Это что же —

Атомный вес?

— А что такое атом?

Второй удар пошел над темным лесом,
Ударил колокол щитом полдненным,
И стало время близиться к закату.
Раскинулись беспмятные реки
На три версты, могучей шириною,

Не переплыть, не переехать лодкой.
По всей России реки побежали,
Бездонными темнея омутами,
Кувшинки забелели, затомились,
И аир наклонился над водой.
Сомы вздохнули в голубых корягах:
Белопесочный бор вознесся тихий
Над белыми песками по заречью.
Так что же, плакать мне над этой ширию,
Или пески безветренные гладить,
Или следы беспечных трясогузок
Мальчишеской, грустя, стирать рукой?

— Какие-то кубисты появились.
Их вождь — испанец, Пабло Пикассо.

Плетни за дальней далью задымались,
По черным избам пламень пробегает,
Петух кровавый голосит окрест.
То улеглось зарезанное солнце,
Свалилось набок над лесами мрака.
Речные девки в реках мочат косы
И выжимают косы,
и над Русью
От этого подымется туман.

Тяжелый жук жужжит через поёмы.
Болота дышат, кулички играют,
Зубчатые леса горюют молча,
И коршун делает последний круг.
Садится коршун на стога далече,
Кобыла ржет, да рыбица играет,
Дергач кричит в низине за рекой,
Овсы тяжелым серебром одеты.
Лежит на запад смутная дорога,
Не начинается дорога ниоткуда,
И не ведет дорога никуда.
И человек сидит у той дороги,
Сам черный, черный, вроде даже стылый,
И злобно щерится и всем пророчит
Войну и мор, и голод и пожар.

Да не угнать ему туман заречный.
Речные девки расстилают росы,
Кладут каменья белые по взгорью,
На каждом птица легкая сидит.
Леса еловые встают пилой на зорях.
Седая тишина лежит в заречьях,
Поют ракиты древними словами,
И не одна дорога, а четыре,
У каждой есть пачало и конец.
Летят четыре ветра-жеребца
Сырыми непомерными лугами.
Куда летят?

И позади встает
Кровавый месяц в три земных обхвата,
И черный волк на нем перебегает,
Не может черный выбежать из круга
И мечется по огненному кругу,
Хватается зубами за края.

— Столыпинская Дума. Хутора.
Петля Столыпина. Террор кромешный.
Доколе это будет продолжаться?
Доколе будет изнывать Россия?

Тут высыпают звезды светлым роем —
Светильники, зажженные извечно,
Садятся утки в заводи глухие.
Торжественная прибывает ночь.
И от земли до неба легким роем
Огни блистают, и зовет из мрака
В ночном мальчишка чалого коня.

— Опять аресты?
— Да, опять аресты!
А где Ульянов? — Кажется, ушел.
Через Финляндию в Стокгольм. — Неужто?
Суровый ум! Острейший человек!

Тут месяц заиграл в кувшинках белых,
Плеснули щуки, укатились тучи,

Грибною сырью дунуло из лесу,
И колокол ударил в третий раз.

Тут гости сели, рюмки зазвенели,
Меня позвали
встретить Новый год.

1943—1956

158. КАК ЧЕЛОВЕК ПЛЫЛ С ОДИССЕЕМ

Шестнадцатый кончался страшный год.
Вилась над куполами стая галок.
Отец сидел за письменным столом,
Подперши голову рукою пухлой,
В чуть рыжеватых, легких волосках.
Он шурил близорукие глаза,
Глядел в окно. А на дворе бродили
Десятки раненых в халатах черных,
Все сизые от холода, в галошной
Последней рвани. Плох был лазарет
Союза городов. Тосклив и плох.
Да ведь и год-то был совсем последний,
Шестнадцатый.

Распутина прикончили вчера.

Царица билась на полу в падучей.
Сидел отец. Листал «Войну и мир».
Звонок в передней. Я пошел. Открыл.
Шагнул с порога длинный, белобрысый,
В ремнях скрипящих прапорщик. Как лошадь.
И зубы лошадиные. И глаз
Ворочает, как лошадь. Запах кожи
И нового сукна. И он глядит,
Как лошадь на станке у коновала.
— Хочу проститься! — он сказал. —

Цветков. —

Я передал. — Проси, — отец ответил.
Он обнял прапорщика. Сели молча.
— На фронт? — На фронт. Досрочно кончил
школу.

— Талантливый вы человек, Цветков, —
Задумчиво отец промолвил. — Выйдет

Из вас лингвист хороший. — Нет, не выйдет.
Лингвистике начну учить червей
И быстро кончу

в качестве скелета. —

Отец нахмурился:

— К чему кощунство?

— Кощунства нет, учитель. Есть дыра.
Всемирная, бессмысленная гибель,
И мы летим, мильоны, в эту прорву.
Я вас спрошу, учитель: для чего
Вы нас учили русскому искусству?
Вот Врубель. Демон. Страшные глаза.
Гордыня. Разум. Неземная мудрость.
Усталость. Скорбь.

К чему, к чему всё это?

Лишь для того, чтоб мертвецом лежать
В обнимку с немцем на горбе окопа.
И немцу ничего уже не нужно,
И мне не нужно. Полная расплата.
А вот кому мы платим — я не знаю.
Милльон людей свалился под Верденом.
Милльон людей в Галиции закопан.
Милльон, милльон, милльон, милльон, милльон.
Живые все, и в каждом — бог и совесть.
У каждого есть дом. А в нем — часы,
И тикают они — тик-так, тик-так.
Какая польза в этой кислой бойне?
Освобожденье мира? Чепуха!
Босфор и Дарданеллы? Да кому
Они нужны — мне или вам, учитель?
Борьба за веру? Нет! Борьба за правду?
Какую, вы не знаете?

— Не знаю, —

Сказал отец печально. —

Я не знаю. . .

— Вы дали нам «Бориса Годунова»,
Как дар небесный. Дали «Нибелунгов».
Раскрыли Тютчева. Открыли Росси.
А для чего? Для стылого окопа
И для безверия. Кто виноват
В кровавом торжище? Вильгельм Второй?
Король Георг иль Николай Романов?

— Не знаю, — повторил отец, — не знаю. . .

Но велика и тяжела вина!

— Прощайте! — поднялся Цветков. —

Спасибо!

За всё спасибо, дорогой учитель, —

За Левитана, Грига и стихи,

За то, что научили понимать

Нас, мертвецов грядущих, силу жизни,

Искусство, — это всё-таки победа.

Победа разума, победа света.

Неужто было так всегда и будет —

Бессмысленная гибель человека,

Бессмысленная прорва впереди? —

Он двинул лошадиные глаза,

Ощерил зубы конские. Схватил

Отца за локти. Повторил: — Спасибо

За всё! Прощайте! Я вам оставляю

Тетрадку. Посмотрите. Баловство. . .

Прочтете — мертвому потом ответьте,

Кто Одиссей. —

— При чем тут Одиссей? —

Спросил отец.

— Узнаете, учитель.

Прощайте!

Честь имею. . . —

Он ушел.

— Прочти, — сказал отец.

Я взял тетрадку.

— Червонно-синий рушится хребет

Литой волны, и пена, словно кудри

Морских созданий, вьется вслед за ветром.

Корабль звенит, как тетива тугая,

И парус, накреньясь, летит упрямо,

Крутой и полногрудый, на восток.

Косяк дельфинов мчится, кувыркаясь,

И бешеное солнце разъяренно

Плывет над нами в грозных небесах.

О, сколько лет мы рвемся по неверным,

Пустым зыбям среди чудес попутных,

Средь островов, встающих из пучины,

Среди проливов гибельных и смрадных,

Что пахнут скалами и дохлой рыбой,
Меж тучами и синецветной влагой
На родину, на родишу, в Итаку,
К забытым очагам, стадам и женам,
И это всё напрасно.

Мы плывем,
Чтобы вовеки не вдохнуть вечерний,
Печальный запах греческих жаровен,
Чтобы вовек не заколоть барана
На дедовском знакомом алтаре,
Чтоб никогда уже не спать с женою
На темном ложе, шкурами покрытом,
И никогда не выходить из дома
Коня погладить при осенних звездах,
Вдыхая запах глины, и навоза,
И чебреца, и рыжей дикой мяты,
И острой соли ветровых валов!
Корабль идет, отмеченный судьбою,
Навстречу верной гибели своей.

Ты предаешь меня, я знаю, ты
Хитришь и своеволишь. Я, ничтожный,
Гребу на веслах. Рыжий, бородатый,
В седой от пота бедряной повязке,
Я должен умереть. Мы все умрем,
И только ты, мой капитан свирепый,
Мой Одиссей, поднимешься над нами,
Над нашим кораблем и над Элладой,
Над нашей Грецией, над всей землей, —

Живой и хитрый, в белом ожерелье
Попутных молодых свистящих волн!
Громады скал восходят нам навстречу,
Смертельный ветер пробует канаты.
Я должен умереть, а ты, крылатый,
Останешься в живых! Но я помедлю
Еще мгновенье!

Вот они, ребята —
Ахейский сброд, рябая солдатня,
Смоленные, чесоточные греки,
Что десять лет сражались возле башен,
Увидели пожар, и гибель Трои,

И женщину, единую на свете,
Которая в пурпурном покрывале
Спокойно проходила по стенам.
Она звалась красавицей Еленой,
Она, как ты, вовеки не умрет.

То были сны — осада, голод, горе,
Болезни, мор, и дождь троянских стрел,
И свет зари над речкою Скамандром,
Густой и черной, словно бычья кровь,
И женщина, единственная в мире,
Она во время битвы проходила
За черными зубцами чуждых башен,
Обмахнутая огненным плащом.
Из-за нее мы бились год за годом,
Барановоды, мужики, гуляки,
Хорошие мужья и проходимцы,
С тобою, Одиссей, водитель славный,
И взяли Трою и, насытись славой,
Ушли ни с чем на кораблях тяжелых
На родину, на родину, в Элладу,
Чтоб никогда ее не увидеть.

Я знаю, ты хитришь, ты бедных греков
Кидал вперед, блистая медным шлемом,
А сам, с колена холодно прицелясь,
Метал в троянцев бешеные стрелы.
Я знаю, ты один видал Елену
Без покрывала, голую, как рыба,
Когда ворвался вместе с храбрецами
В Приамов полыхающий дворец.
И ты хитро не взял ее с собою,
И ты хитро уйдешь в мою Итаку,
В свою Итаку, царь наш непорочный,
Единственный из мертвых нас свидетель
Жестоких битв и горестных невзгод.

Да, ты хитришь, ты именем всех мертвых
Спокойно будешь говорить столетьям
О подвигах, которые герои
Не совершили и нигде на свете
Так совершать вовеки не могли.

Мы все погибнем, греческие люди,
Чтобы один из нас доплыл, как должно,
Овеянный великой нашей славой,
До берегов Эгейских островов!
Чтобы один из нас, водитель хитрый,
О нас поведал речью величавой,
Не вспоминая нашего обличья,
Не называя маленьких имен,
Лишь говоря о спутниках случайных,
Любивших верно своего героя
И верно павших за царя Итаки,
Чтобы его потом воспел певец.

Греби, ребята! Парус наш трепещет,
Вина немного, впереди — конец.
Мы все плывем в желанную Итаку,
Коричневые, жилистые, злые,
Срывая пену волн нетерпеливых,
Затягивая пасмурную песню.
Ведь наши жены зажили с другими,
И наши песни сорваны другими,
И наши свиньи колоты другими,
И нашу славу вырвал Одиссей.

Сижу на веслах, мерно отгибаясь.
Встают над морем вечные созвездья,
И пахнет берег родиной моей.
Никто не знает, кроме Одиссея,
Могучего, лукавого владыки,
Как хороши набитые дровами
Беспечные родные очаги!
Гребцы, гребите!

Напрягайтесь, греки!

В ногах у вас лежат немые шлемы,
Гривастые, тяжелые обличья,
Свидетели неповторимых битв.
Гребите, греки!

Есть еще в Элладе

Огонь, и меч, и песня, и любовь!

Над нами сжалились, как прежде, боги,
Они нам даровали Одиссея,

И он за нас несет среди вселенной
Глазастую сову, большую мысль.
Он будет править нашими словами,
Он будет править нашими сынами,
Он будет править нашими певцами
По праву капитана и царя!

Еще мгновенье!

Вот взлетают скалы.
Опять белеют челюсти прибоя.
Вот это смерть, единая навеки.
Молитесь Зевсу, греческие люди,
Ты, справа, не клони бровей тяжелых,
Спокойно посмотри на нашу смерть:
Да, у меня давно был виноградник,
Холодное белье на зыбком ветре
И кувшины с коричневым вином.
Зачем ходил я к черным башням Трои,
Зачем меня стрела кусала дважды,
Зачем я десять лет видал на стенах
Еленин красный, взвитый ветром плащ?
Не я приду в родимую Итаку,
Не ты, мой правый, и не ты, мой левый,
Не ты, мой кормчий, и не ты, кузнец!
Будь проклят Одиссей, лазутчик горя,
Водитель кораблей, хитрец коварный.
Вот он стоит, блистая медным шлемом,
И мы, как дети, смотрим на него.
Но властно он людей объединяет
Своей несокрушимой темной волей
Для многих тысяч легендарных дел.
А старый наш народ не знает смерти.

Еще мгновенье!

Мы простые люди,
Мы только копья, весла над волнами.
И лишь один из нас стоит, крылатый,
В тяжелом шлеме с полосатой гривой,
Грудастый и холодный, как, бывало,
Обветренный в скитаньях Одиссей.
Он нас погубит, греческие люди,
Он доведет до будущих столетий,

Он донесет до будущих людей,
Мужчин и женщин, черные от крови
Слепые песни старика Гомера,
Исполненные лживой простоты.
Он передаст для будущего мрака
Прошедший мрак, усеянный звездами,
Раздвинет веки мертвые мои,
И я увижу как идет водитель,
Торжественно и хмуро отдавая
Большую, золотую ветвь земли
Тем, кто, как прежде, повторит скитанья,
И вечность человечества, и радость,
И дым от очагов моих родимых,
Которому есть вечное, святое,
Недвижное, как звезды, имя —
жизнь!

Прощайте, греки!
Смерть!

— Как человек на свете одинок! —
Сказал отец. —

Как непонятен мир!
Как тяжела на свете справедливость!
А революция близка.

Ее
не миновать.

Так пусть она приходит.
Она рассудит старый шар земной!

1943 (?) — 1957

159. НОВЫЙ ГОД

У статуи Родена, в мерзлой тьме
Губернского музея, мы встречали
Метелями повитый Новый год.
Стаканы выше! Хилая коптилка
То вспыхнет, то притухнет. Лезут тени
Огромные, из мрака вырывая
То глаз, то рот, то руку на портрете,
То мраморную выпуклую грудь.

Спирт разведен был ледяной водой,
Он бил, как огнемет, свистел по жилам
И нам, голодным, головы кружил.
Да нет, не всем. А кто там был? Художник,
Историк-мистик, я — молокосос,
Весь выбритый до глянца после тифа,
Ежеминутно гладивший наган,
И два чекиста. Первый — комиссар
Сережа Зыков и второй — безвестный,
Пришедший с ним, наверное матрос.

Стол инкрустированный был колюч
От выпиравших бляшек перламутра.
Он был накрыт плакатом: «Смело в бой!»
На нем лежали две оббитых воблы,
В манерке стыла пареная рожь.
Вода и спирт стояли так, отдельно.
В коптилке плавал грязный фитилек.
Год восемнадцатый кончался тихо,
Лишь изредка стреляли у Днепра
Да выла за окном сухая вьюга.
А время?

Время двигалось рывками.
Историк-мистик, разъярясь, читал
Нам «Одиссею» в старом переводе.
Летел корабль, и настигали беды
Его со всех сторон. Летел корабль
Навстречу гибели. Смеялись боги
Над обреченными. Летел корабль
По синему волненью первых песен
На белых гребнях позабытых волн.
И Одиссей, водитель богоравный,
Наперекор всему пытал судьбу.
Торжественный гекзаметр разносился
По мертвым залам. Плавал огонек,
Как жизнь людская в океане мрака.
И вот приплыл в Итаку Одиссей.

— Что ж, — молвил Зыков, —
я предполагаю,
Что Одиссей не первоклассный вождь,
Себя сберег он для жены и славы,

А всех матросов начисто сгубил.

— Да, —

подтвердил матрос, —

братва погибла.

А для чего —

и сам я не пойму.

Для государства? Нет, не для него.

Для будущего? И того не вижу.

— Для песни, —

стукнул Зыков кулаком, —

Для песни, чтобы люди песни пели.

А настоящий вождь погибнет сам,

Но выведет людей и выдаст счастье.

А лучше бы ему не погибать

И выдержать смертельные тревоги,

Как Ленин вынес выстрелы Каплан.

За Ленина! —

сказал он, встал и выпил.

Год восемнадцатый кончался в этот час.

Там, за горами, за морями, пели

Колокола.

Красавицы плясали,

По пояс голые, в тепле и блеске.

А город за окном был страшно пуст,

И не дымили трубы, и не плавал

Огонь коптилки ни в одном окне.

Замерзло всё.

Всё вымерло.

Скрипучий

Огнистый снег. Шипящая поземка.

Крутящиеся белые столбы.

Ночь страшной силы. Сотворенье мира.

Лети, метель, взвивайся, дикий снег!

Германия упала на колени.

Могилы наползают на могилы.

Нельзя уже дышать от мертвых тел,

От мертвых слов, от умерших законов.

Мир потрясен. В огромном гулком мире

Три маленьких, как гномы, человечка,

Ручонками размахивая, пляшут —

Вильсон, Ллойд-Джордж и старый Клемансо.
Они, как в перевернутом бинокле,
Над чем-то возятся.

Над Лигой Наций?
Над репарациями? Над морями?
Миллионы трупов лезут к ним в бинокль.
«Вставайте, мертвецы! —

кричат могилы. —

Живых судите, требуйте расплаты,
Земля не в силах больше вас держать!»
Ползут калеки, и поют слепые.

Сгибаются отравленные газом.
И миллионы женщин в мире ищут
Тех, кто могли бы их мужьями быть,
Но умерли, и сгнили, и расплылись.
Морское дно усеяно судами.
Солдат, как зверь, идет к себе домой,
Озлобленный, усталый, семижильный.
Где справедливость? Кто во всем виновен?
Неужто

это

вновь увидит мир?
Тогда зачем на мерзкой жить планете?
Но

это

будет вновь! Нам не уйти
От повторенья. Нас опять загонят
В окопы.

Стой! Тогда взрывайся всё!
Летит метель живой дорогой снега.

Но ведь теперь на свете были мы.
Мы первые сказали: «Мир народам!»
Мы первые сказали: «Власть Советам!»
Сказали первые: «Война — войне!»
Кто мы?

Полузамерзшая в метели
Крестьянская страна. Простор без края
С черневшими, как точки, городами
На исполинской снеговой равнине.
И зубы стиснувший рабочий класс,

До черноты осунувшийся, вставший
За партию, чье имя было «Ленин».

Кто мы?

Упрямый огонек коптилки,
Сверхчеловеческая вера в правду,
Замерзшие железные дороги,
И нищета, и стальные штыки.
И мы в ответе перед всей вселенной,
Перед народами, перед веками,
Перед всеобщим счастьем, общим горем —
На то был создан русский человек!

И мы — страна, и мы здесь впятером
Окружены, притиснуты, зажаты,
За горло схвачены рукой Антанты.
О, гордый клекот наших нищих вьюг!
Одесса — море, выпела французов.
Архангельск — лед и выпела британцев.
Владивосток — американский флаг.
И Каспий ходит мрачными волнами.
Морзянки отстучали: «Пал Баку!»
По переулкам, темным и горбатым,
Шаги, шаги британских часовых.
Колчак, как волк, выходит из Сибири.
Деникин в снежном вихре вырастает.
Что ж, кончено?

Нет, только началось!

Мы разожгли огонь. Он занялся.
Европа вся дрожит от взрывов гнева.
А время?

Время движется рывками.
Еще недели — и взойдет «Спартак»
На баррикады хмурого Берлина.
Лишь месяцы — и вскинет Бела Кун
Над Будапештом красный флаг Советов.
Бавария и Гамбург, Вена, Рим —
Призывы труб «Интернационала».
Они гремят сейчас по всей земле.
Вы слышите их за окном в слепящей,
Кромешной, вьюжной тьме. Они звенят. . .

Что это?

Колокольцы.

Свист и гомон.

— Так, так! —

сказал Сережа Зыков. —

Точно —

Наш военком гуляет, девок возит.
Наполеон губернский, сукин сын.
Гоняй, гоняй казенных лошадей,
Диктаторствуй! Потом с тобой сочтемся. . .

Друзья, ведь коммунизм — он с нами рядом.
Еще нажать бы — и рванет Европа.
Индусы, негры — все пойдут за нами,
Китайцы — этим сам Христос велел.
И полетят с земного шара цепи.
Силен, ох и силен рабочий класс!

— Буржуев выселим на острова, —

Сказал матрос. —

Пускай копают грядки.

— Они тебе, браток, вскопают грядку

На самой на твоей могилке ранней.

Пойдут они с тобой на острова!

И всё же есть на свете справедливость

И правдой всё на свете победишь,

Суровой и безжалостной, но правдой.

А коммунизм — он, брат, не за горами.

Подольше б только Ленин с нами жил,

Да этих Бонапартов бы поменьше!

И видел я в ту ночь, как из морей
Кровавых, из потоков слез горючих
Встает вся в красном женщина — Коммуна,
Держа в ладонях старый шар земной.
А что ж Наташа?

Да, ждала Наташа.

И керосину не было, и мышь

Хрумтела страшно возле мертвой печки. . .

Под полушубком дедовским ждала,

Уставив в тьму, кипевшую на воле,

Огромные раскосые глаза.

И думал я: зачем в такую ночь
Любить, о доме думать или счастье,
О нежности, когда там, за окном,
Гремят в метелях трубы коммунизма,
И ледяной восторг ломает душу,
И нужно сразу жертвовать собой.
Художник крикнул:

— Мы тогда построим
До неба электрическую башню.
Вот поворот спирали, ленты света.
Летающий штопор. Устремление ввысь.
Фундаментально-примитивный контур.
Чистейший и абстрактный футуризм.
Полкилометра высотой. Вверху
Лицо — квадрат из золота. Два глаза —
Две лампы. Каждая — миллион свечей.
Дворец народов! Памятник свободе!
Овал хрустальный. Зал — сто тысяч мест.

— Кто взял немецкий штык? Замерзла каша!

— Там будут танцы солнца, —

я сказал.

— Да, девушки в одеждах всех народов.
Нет, лучше в белых туниках. Я вижу
На туниках квадраты, ромбы, луны
Неистовых расцветок. И фанфары
Серебряные ржут, как жеребцы. —
Историк-мистик поднял руку:

— Стойте!

Трагедии Эсхила среди скал,
Лесов ревущих, бурных водопадов,
Стенанья хоров убеленных старцев —
Так будет человечество свершать
Свой праздник разума, свою победу.
— Постреливают! —

заклучил матрос.

И комиссар прислушался: — Охрана.
Наверно, дезертиры лезут в баню.
Живые люди, брат, а вошь заела.
Пускай помоются под Новый год. —

И он вздохнул. —

Дворцы? Дворцы построим.
Да, трудно будет! Труден человек,
Его не переделаешь с размаху,
И долго в человеке зверь таится.
Кровь черная. Зверьячье самовольство.

— Нет, —

отвечал историк, —

мы живем

Секунду во вселенной, лишь секунду.
Поденки мы под жарким фонарем,
Эфемериды — бабочки из мрака.
Живем секунду, а миры вбираем
В сознание. И туманность Андромеды,
И Млечный Путь. И всё вот здесь, в мозгу.
А ты меня за это, Зыков, шлепнешь?
Освобожденный человек достоин
Жить для познания единичной жизни
И единичной истины. Он — бог.
В нем всё! Других не надо. «Я» бессмертно.
Налейте всем за будущее «Я»!

— Я полагаю, —

так ответил Зыков, —

Что если познавать, так весь народ.
Куда пойдет он, как судьбу построит,
Когда дождется коммунизма. Вечно
Он будет счастлив или вновь захочет
Тревоги. Вот какое дело, брат.

Опять промчались тройки с бубенцами. . .
А что Наташа?

Всё ждала, ждала.

Всё было сонно, томно и тревожно.
И вот дремота грустно обняла
Бараний, черный, дедов полушубок.
Сны черные пришли. Ах, ночь черна!
Звезда стоит над степью черной ночью,
И кони фыркают.

Не будет счастья! . .

— Но будет счастье, комиссар, скажи?

Какое счастье, как его понять?
— Я думаю, простое будет счастье —
Стать человеком и самим собой.
И человек окажется велик,
А коммунизм огромен непомерно.

— Нет, —

возразил художник, —

к нам придет

Другое бытие. Дома коммуны.
Стеклянные. Кабины для работы.
Кабины сна. Кабины для любви,
Задрапированные белым шелком.
Гигантские столовые, где люди
Средь мраморов торжественно вкушают,
Под музыку, назначенные блюда.
И детские на тысячи младенцев.
Красивые шуршащие одежды.
Каркас конструкций. Чистота и свет.
Всеобщий гармонический порядок.

— По-моему, так скучно будет жить,
Неловко как-то, вроде бы казарма, —
Сказал матрос. —

Скорей бы всё увидеть!

Да всё равно убьют не нынче-завтра.
Эпоха ведь такая, что ж поделывать.
Из всех щелей вылезит старый мир.
Эй, глянь, да это крыса. Ну и крыса!
Дай шугану ее. Сильна зверюга.
Ишь глазками сверкает.

— Дьявол с ней!

— Нет, вдарю из нагана эту мразь.

— Оставь, браток! Музей —

здесь неприлично. —

Копилка замигала. Уносились
Ввысь статуя Родена. Вдохновенно
Чуть розовели поднятые руки.
Девическое тело напрягалось,
Как молодость, летящая к победе.
Вельможные портреты оживали,
На нас уставя лживые глаза.

— Колчак пошел, —

сказал Сережа Зыков. —

Прольется, брат, река народной крови,
И вошь заест, и выдушит мороз.
Контрреволюция стреляет в спину.
Но сила всей земли стоит за нас,
И человек дойдет до коммунизма.

Дрожал музей от злых ударов вьюги.
Позванивали стекла. Выло в трубах.
То будто песня слышалась, то залпы,
То плач замученных, то вопли мести.
Как будто знала ночь, что мы стоим,
В безмерность глядя, туго сжав наганы,
А революция идет по свету,
И Ленин видит вечный смысл ее.
А время?

Время двигалось рывками.

— Не будет оскорблений и обид, —
Так Зыков говорил. — Измен не будет.
Ни подлости, ни лжи, ни унижений,
Ни гнусного начальственного взгляда
На человека. Встань, служи народу.
Правитель ты, живи скромней других.
Сильны мы тем, чем мы теперь сильны:
Идеей, честностью, самозабвением.
Никто на свете нас не переборет,
Покуда мы за Лениным идем,
По-большевистски истребляя старь,
Плюя на почести, чины и славу.
Не надо только ничего скрывать.
И надо крепко доверять народу.
Народ всё выдержит и всё поймет.
Твой Одиссей, он плыл не для людей,
Плыл для себя, а мы плывем для мира.

— Мой Одиссей — есть символ всех времен.
Вы все подохнете, он передаст
Ветвь человечества грядущим людям.
А вы, ребята, просто матерьял
Для прихоти истории всемирной.
И нет у вас ни речи, ни лица,

Ни выдумки. Простые организмы,
Назначенные лишь для истребления
Других, сложнейших.

— Новый год, товарищ!

Довольно спорить. Нас рассудит время.
Дорога наша вся в крови, в снегах.
Кто матерьялом будет, кто судьбою,
Не знаешь ты, да и не можешь знать.
Пора! Нас ждет работа. Кто-то пьет
Сейчас за нашу гибель. Мы пошли.
Копилка гаснет. Эх, уже потухла!
Тьма-тьмущая.

— Гляди, полезла крыса!

Дай выстрелю.

— Постой, не надо шума.

Давай кремень, я высеку огонь.

Во мраке раздавался мерный стук.
Летели искры.

В каменных пещерах
Так добывали пламя.

Зыков взял

Плакат «Смелее в бой!», свернул трубою,
Зажег и поднял словно красный факел:
— За Новый год!

За нас!

За коммунизм!

1957

160. ЭФЕМЕРА

Подвал рукою черной влез во тьму.
Пять пальцев пять туннелей пронизали,
Сухую толщу аспидной горы.
Шел впереди немый татарчонок
С тяжелым факелом. Смола кипела
И щелкала. А позади несли
Китаец мрачный и мадьяр усатый
Парализованного латыша
На перекопских полевых носилках.

То был хранитель, комиссар, владыка
Великих мрачных бочек Ай-Даниля.
А кое-где лежали, словно трупы,
Замшелые холодные бутылки.
И факел начинал ребрить и резать
Окружая доньев и стекло на полках —
Весь благородный, неживой уют
Старинных погребов, почти столетних.

В руке у комиссара был стакан.
Он подавал его, где нужно.

Я, хмелея,

Нацеживал ему почти по капле
Огонь могучей хризолитной влаги
И дальше шел. И снова уточняли
Сорта вина. И снова комиссар,
Парализованный до половины, нежно
Вдыхал созвездья вин и называл
По именам бочонки и упрямо
Протягивал ладони чуть живые
К дубовым бутам, а потом, грустя,
Приказывал нести себя всё дальше
В сырую тьму, и холод, и покой.

Слезилась стена. Факел колыхался.
Был двадцать третий год.

Едва-едва

Лихие нэпманы достигли Перекопа
И перешли его, не отрываясь
От потайных своих и темных дел,
И растеклись по золотому Крыму,
Хватали дам дворянского сословья
В сандалях назаретских и в хламидах
(Мужья расстреляны, кругом темно) —
И в два приема одевали их
Во всё, что нужно опытному глазу.
Они гвоздили синие киоски
По берегу. Они несли червонцы
В набрюшниках. Они перекупали
Отели, коврики, змеиный шорох
Листвы в ущельях.

Всё скупали, всё.

А Ленин видел нэп как на ладони,
Он исчислял его предел и срок.
Те нэпманы судьбы своей не знали.
Они дрались за жизнь. Они хотели
Всё захватить, всё захватать, руками
Нацеленными рвать, держать, кромсать.
Валютчики. Дельцы и коммерсанты.
Американцы самой новой марки.
Они смеялись. Гордые, они
Сидели в поплавах.

Не я, беспечный,
Посмел бы воспевать холодный посвист
Залатанных автомобильных шин,
Оплаченных неукротимым нэпом,
Летящих в Ялту. Я пришел случайно
На это торжище. Я засмушался,
А этого не нужно было делать:
Ведь я был командир.

Я в гимнастерке,
Побрякивая маузером, шел
За комиссарскими носилками. Я пил
Из многих бочек. Всё летело мимо!

Там, на горе, гремят сверчки седые,
Поджарые от песен, в сизом пепле.
Монашеские хоры кипарисов
Взывают к справедливости. Но здесь
Вино, вино, прощающая радость.
Простишь ли ты, чье имя — Эфемера —
Понятно только мне?

Простишь ли ты
В подвальном этом мраке, где в бочонках
Кровь бьется?

Факел кружится. Китаец,
Осколок грозной пулеметной роты,
Вдруг запекает тоненькую песню.
Качаются носилки.

Комиссар,
Держа стакан, командует.

Носатый
Мадьяр усы промокшие кидает
В очередную кружку. А туннели

Молчат, как прежде. Пьяный татарчонок
Кипящим факелом в восторге крутит.

А я люблю тебя так чисто, так свирепо,
Так трудно! Длинные твои предплечья,
И лживые глаза, и жаркий мыс
Под Севастополем, на кладбище судов,
Где мы с тобой ловили крабов. Жадно
Я для тебя нырял, летел в пучину
И видел мертвецов у миноносца,
Объединенных рыбешками, и шлюпку
С названьем корабля,

и никому

Я, возвратясь, не рассказал об этом.

Да, я любил тебя!

Быть может, ты

Была дорожкой, скользкою тропинкой
На том опасном, бедственном мысу,
Где ловят крабов.

Слишком уж в тебе

Кипела жизнь. Ты слишком беспощадно
Сулила счастье:

«Рядом вот, возьми.

Вот ощути случайность. Вот прикончи
Существованье прежнее! Вот рядом
Стоят другие жизни, повороты.
Ну, помечтай! Мы уплывем с тобой
На шхуне, на закат, в Константинополь.
Ну, помечтай немного. Ну, попробуй,
Ну, руку протяни, ну, только палец
За нашим счастьем.

Посмотри — моря

Сегодня рвутся и взлетают. Крабы
Карабкаются. Сохнет пена. Ночью
Луна старинная идет над степью
И осеняет белые ракушки —
Остатки бурь, волнений и прибоя
Былых морей, ходивших здесь волнами.
Бормочет шквал, а ты иди, мой милый,
Иди ко мне!

Огонь вдали мигает,

Окно открыто. . . Дверь открыта. . . Пахнет
Холстом, и чебрецом, и дикой мятой.
Тысячелетий нет. Нет ничего
Между тобой и мной. Войди, как прежде,
Всё в ту же дверь и получи меня.
Всё в ту же дверь, зеленую от света
Луны пустынной. В грохоте прибоя,
Цикад, сверчков, ракушек.

Торопись,
Я поджидаю жадно, как бывало,
Как при начале мира. Пospеши,
Пospорим мы с тобой и повраждуем.
Ты будешь спать, а я не буду спать.
Скорей иди ко мне! Иди тревожно
Мужской усталой каменной походкой,
Давя ракушки по степи полынной.
Погладь меня.

Открыта дверь.

Иди!»

Махнул огнем невытый татарчонок,
Селитрою запахло, душной серой,
И комиссар сказал неторопливо:
— Быть может, много будет испытаний,
Но мы непобедимы навсегда.
На свете есть великие законы.
Они ведут вперед весь шар земной.
Законы! Слышишь ли про них, товарищ?
Их изменить и подменить нельзя!
На свете есть, товарищ, справедливость,
Не подкупить, не затемнить ее.
Она в тебе, во мне, в китайце нашем,
В железе, камне и огне.

Постойте!

Носилки опустите, я хочу
Продегустировать «Токай 12».
Любил я выпивать! Любил, любил,
Как латыши. Но партия велела
Мне, инвалиду, сторожить подвалы.
Я должен знать и чувствовать вино
Лишь языком. Ты понимаешь? Только
Пупырышками, здесь, на языке,

И небом. Вот и всё.

А так мне трудно
Не веселить себя, полуживого,
Не позабыться. Не увидеть вновь
Себя большим, с винтовкой трехлинейной.
О, где вы, ночки, ночки Перекопа!
Ну что ж, пошли! —

Сдвигаются бутылки,
И стены клонятся. Нет, не хочу тебя!
Ушел я от тебя, нет больше мочи!
Будь проклята в своем холщовом платье,
В свертках полынных!

Нет, не назову
Тебя любимым именем. Не нужно
Тревожить волосы и повторять
Прибой, и крабов, и огонь полночный.
Продать себя, переменить себя,
В карминных бриджах, в золотом басоне,
За грудь твою?

Нет, я не то сказал,
Я сам в себе несу противоречья,
Мне не с тобой считаться, а с моими
Ночными бреднями. Ты плоть и кровь.
Я от тебя ушел. Перелистали
Страницы дней книжонку записную.
Всё кончено. Я здесь — и никуда!

Латыш загрохотал:

— Идем, товарищ.
Довольно пессимизма. Я лежу,
А хочется подняться, но не можно
Подняться комиссару. Я лежу,
А говорю тебе:

«Идем, товарищ».
Смешно ведь? Верно? Но, сказать по правде,
Я всё-таки иду, а не лежу.
Иду вперед с Республикой Советов,
Веселый, крепкий, бодрый, молодой,
Любимый и, наверное, женатый.
Такую сказку я себе придумал —
Кто смеет эту сказку осмеять?!

Пошли обратно! —

Постепенно звезды...

Зеленый ветер дальнего прибой
И в три обхвата грузная луна.
Носилки, обагранные кагором,
Шумя, внесли в контору. Телеграмма
Из Севастополя.

«Нет никого.

Жду. Торопись. Матросский переулоч,
Дом номер девять».

Мы поцеловались

С недвижимым латышом, и я ушел
На пристань, под луной, а лунный столб
Водил волнами. Лунная дорога
Змеилась, поднималась, опускалась,
Тянулась прямо в Турцию, на юг.

На пристани сидел я до рассвета,
Уткнув лицо в колени. Мотыльки
Затылок щекотали. Малярия
В крови скользила холодком летучим,
И от земли до неба раздавались
Сквозные гаммы радостных цикад.
У домика, где Пушкин жил, рыдали
Ночные жабы. Лунные туманы
Над берегом кружились, и русалки
На пляже били рыбьими хвостами
И падали, расчесывая косы,
На крутогрудый голубой прибой.

Волна уходит. Человек приходит,
Плюет в прибой. Стоит, как стрелка, полночь.
И час, и два часа, и три часа
Луна, склоняясь, быстро отмечает.
И на заре в железной синеве
Приходит старый катер «Кабардинка»,
Берет меня, швыряет по волнам.
Две дочери капитана обновляют
Весь лексикон алуштинской любви.
Меня томила малярия, била
Колоколами. Стыла малярия
Зелеными ледышками, а сестры

Качались на перилах. Малярия
Рванула по глазам, и обе дочки
Вдруг оказались возле Херсонеса.
Там быстро вылетел маяк высокий,
И завизжали цепи. Севастополь
Пошел навстречу ясными огнями.
Ложится ветер. Катится луна.

Кем ты была?

Отчаянной, тревожной,
Чего-то ждущей женщиной. Тогда
Ты отдавала всё, как на рулетке,
Выигрывала, ставила вдвойне,
Втройне, не ошибаясь.

Ты была. . .

Но, впрочем, мне не стоит повторять
Тех сведений, что были в протоколах. . .

На мертвенном, седом мысу стояли
Три небольшие нэпманские дачи.
Туда я приходил в зеленой тьме,
Давя ракушки каменной стопою.
Как девочка, кружился виноградник,
Фонтан татарский, медленно хмелея,
На камне плакал аспидной слезой.
Шумели туи на ветру рассветном.
Тебя назвал я Эфемерой.

Где же

Ты ждешь меня? Качнулась малярия.
Где номер девять? Нет. Еще, еще!
Всё расколосось в непреклонном свете,
Все номера померкли, почернели.
Но я стучал.

Рвануло, будто ветром.

— Во имя господи! —

ответил голос. —

Бандиты или прокуроры? Вы
Восприметесь как должно!

— Номер девять. . . —

Сказал я, погибая, и очнулся.

Очнулся я.

Весь первозданный сад
Был полон винограда. Нависали
Над головою гроздьа. Шелкопряд
Қоричневый, родившийся недавно,
Неопытно носился возле лампы.
Я охнул. Всё!..

Передо мной сидел
Сам Саваоф в миткалевой рубашке,
Курчавой шерстью на груди блестя.
Он помавал руками, и навстречу
К нему летели бабочки и мушки.
Он двигал бровью, и к нему под ветром
Катился черноморский гул валов.
Седые очи налились прохладой,
Крутые брови кинулись, как буря,
На золотой миродержавный лоб.
Большая борода крутилась гневно,
Как волны возле скал.

Я видел бога,
Того, кто создал мир, кто поднимал
Скопленья звезд железными плечами.
Я видел бога. Он сидел во тьме,
Старинный, одинокий, непонятный,
И толстыми кровавыми губами
Пил виноградный спирт.

— Вы извините, —
Сказал он хриплым басом, —

вы упали
В моих дверях. Священник Златогоров,
Расстриженный по личному желанью
Недавно, страха ради иудейска.
Лежите, выпейте стаканчик спирта
Из виноградников моих.

Какая ночь!

Какая ночь!

Здесь от земли до неба
Медовые, светясь, упали нити.
Всё было в черных, лапчатых листах
Ночного винограда. На тарелке
Лежали под луною хлеб и сыр.

На керосиновую лампу налетали
Серебряными шквалами из мрака
Крылатые ночные существа.

— Вы, сударь, повалились возле двери, —
Сказал и поклонился поп-расстрига, —
Вам повезло, товарищ, пейте спирт. —
В тяжелых сапогах, в холщовых брюках,
Почесывая грудь и округляя
Седые очи, он мне говорил:

— Живу один, кухарка отказалась,
Но виноградник, как всегда, со мной.
Вино в бочонках, как прибой, гуляет.
Беседку сплел, поставил две скамейки
И отошел от зла, да будет вечно
Над нами свет, благословенье, мир! —
Мы чокнулись стаканами. Могучий
Расстрига поп восстал передо мной
И, поводя кремневыми руками,
Кричал над лампой:

— Помните, товарищ,
Всё справедливо в нашем мире, только
Нам не хватает сказки. Потому
Нам по ночам тоскливо спать с подругой.
А человечество летит на сказки,
Как бабочки летят на эту лампу.
И дай вам бог так понимать людей,
Как понимают в сказках. Эти там
Толстые, Достоевские, Бальзаки
Что делают: немножко ворошат
Так, поверху, людские отношенья,
А сказки нет!

Вот разве Лев Толстой. . .
Он небо увидал под Аустерлицем
Да сводное Евангелье писал.

Он размахнул кремневыми руками,
И бабочек ударил по крылам,
И выпил стопку. Накренясь, поплыли
В моих глазах рябые абрикосы,
Маслины и черешни.

— Это — книга! —

Ударил он по толстой, синей книге. —
«Евангелъе от Марка и Матфея».
Вот мироносицы пришли к скале,
Где наш господь был временно схоронен.
Ну, знаете, идут в косынках жены:
Мария Магдалина и потом
Клеопова Мария и другие,
Поменьше рангом. И светло, и листья
Над гробом клонятся. Стоит заря.
Ну, камушки, ну, разные растенья,
Тут, знаете, бегущий ручеек,
Тут майские жуки. Тут мирозданье. . .
И, значит, гроб открыт. И будто сбоку
Серебряный сидит веселый ангел
И говорит (изволите заметить —
Они пришли с букетами большими,
Ну, лилии там, розы там, сирень),
А гроб открыт — простите за измену
Науке позитивной. . .

Гроб открыт.

И в гробе никого. Вот это случай! . .
А мироносицы идут ко гробу,
Несут, как полагается, цветы.
И вдруг на камне, отвалясь, крылатый
Веселый юноша сидит, прищурясь,
Светясь, как лампа, желтая внутри.
Я это видел.

Вот они спустились,
Те мироносицы. И ангел поднял руку
И тако спросил: «Кого хотите
Теперь увидеть?» —

«Господа Мессию», —

Ответили они в большом испуге.
«Он улетел, — сказал веселый ангел. —
Он улетел. . .»

И вдруг пошло жасмином,
Боярышником и пахучей розой,
Шиповником. И жены уронили
Свои бутылки с благовонной миррой.
«Его здесь нет! —

спокойно молвил ангел. —

А может быть, и не было. Теперь

Уйдите, ради бога, от могилы
И не мешайте ангелу стеречь!»
Тут все ушли. А наверху, поймите,
Шумели листья, реяли цветы,
Летели бабочки. . . —

И он поднялся

И медленно промолвил:

— Как теперь,

Вот здесь всё это было! Я видал
Аримафейскую гробницу. Ночью
Здесь расцветают черные фиалки.
Я здесь ходил от неба до земли.
Давайте чокнемся! Теперь, товарищ,
Мы оба пьяны. Бьются мотыльки
Об эту лампу. Ветерок играет.
Благословляю вас крестом старинным
За эту сказку — и конец всему.

— Христос воскрес! — он сказал, хмелея.
И вдруг ударил колокол в порту.
Летели бабочки прозрачным роем
И, умирая, падали у лампы.
Деревья чернолобые шумели.
Расстрига вынес бороду седую
Навстречу бабочкам. И я возник —
Адам в кудрях, сидящий на скамейке.
— Теперь постойте, —

он сказал. —

Теперь

Благословляю вас, и ваших братьев,
И Коминтерн, и старый шар земной.
Я знаю: в Ай-Даниле есть недвижимый
Калека-комиссар — совсем непьющий,
Но знающий все вина. Он страдалец.
Он знает многое. Так за него
Во имя господи! —

Полночный сад

Шумел и колыхался. Две ручищи
Лежали предо мной. Толстобородый
Могучий бог летел среди блестящих
Наплывов бабочек молочно-белых.

Бог загремел:

— Вы пленники законов,
Законы рядом с вами. А случайность
Стоит над вами. Это есть закон.
Дурной или хороший — неизвестно.
Я пью за этот сад, за виноградник,
Сей вертоград, за бабочек, жуков,
Москитов, сов, за сорок тысяч лет
Тех, что меня недавно отделили
От правнуков моих! —

Стоял господь —
Расстрига поп, дышал мохнатой грудью
Над мокрой скатертью. Брела луна —
Знахарка желтая над мирозданием
Вьюнков, ростков, коричневых корней.

— Законы и случайности встречались
Уже не раз, товарищ. Но законы
От господа — и от него случайность.
Случилось что-нибудь — и слава богу.
Случилось с вами вроде наважденья —
И вы ко мне попали. . . Почему?
Всё потому, что это мне угодно.
Вы господу угодны.

Вы летели
Как бы поденка. . .

Вот они. . .

Смотрите:
Эфемериды — бабочки из мрака.

Действительно, из темноты ночей
Летели бабочки, как смерть седые,
О лампу обжигались, коченели,
Поднявши лапки и раскинув крылья,
Как Прометей. Их было много тысяч,
Белесых Прометеев. Бог сказал:
— Эфемериды, легкие созданья,
Для них господь воздвиг единый день.
Всё тленно и неверно, кроме слова.
Случайность и закон — одна расплата.

Приказываю! —

Он сказал —

и сразу

Рвануло ветром. Листья зашумели.
Качнулись тени. Лампа потемнела
От мириадов бабочек.

Они

Нахлынули жемчужными крылами,
Летели, танцевали, паровались,
Встречались, падали и цепенели,
Мерцали крыльями, качались, били
Крылами легкими, легко взвивались
Над лампой золотой и погибали
Мильонами вокруг нее и возле.
И это были жалкие поденки,
Эфемериды, бабочки седые,
Те однодневки, те созданыя ночи,
Что возникают в зелени из тьмы.
— Давай с тобою чокнемся, суровый
Расстрига бог в холщовых, серых брюках!
Я чуда не увидел. Но за чудо
Я поднимаю спиртовой стакан.
За чудо, за тебя, за Эфемеру,
За этого попа, за виноградник
В зеленом бешенстве.

И за тебя,

Ушедшая от лжи.

И за тебя,

Земля в сирени, в розах и жасмине!
Люблю тебя, люблю тебя, земля.
Твой запах слышу, черный, беспощадный,
Прощающий и памятный навеки.

Содвинем, поп, блестящие стаканы,
Пробитые огнем, ребристым светом,
Пронизанные виноградным спиртом.
Неужто должен я искать под утро
Дом номер девять? —

Подошел расстрига,

Открыл свои скрипучие ворота
И прогудел:

— Всю ночь я с вами плел

Неведомое. Там свершался обыск.—
Он указал перстом. Автомобиль,
Брюхатый, черный, кашлял возле дома
Под номером девятым. Встал рассвет,
И человек с наганом хлопнул дверцей,
Усталый, почерневший, в черной коже.

— Ее не тронули, —
сказал расстрига, —

Она хорошая. Она ребенок.
Она здесь ни при чем. Забрали мужа.
Он вечером из Турции вернулся.
Контрабандист. Валютчик. Черный тип.
Я не хотел, чтоб вы там оказались,
Больной, усталый, смутный человек,
Я глупое вам говорил.

Простите! —

Неужто мне идти? Неужто я
Найду тебя такой, как ты бывала
В июльских сумерках?

Да, я найду
Тебя такой, как ты всегда бывала!
Возьму тебя, как человек природу,
Как дождь равнину, как волшебник сказку,
И обожгусь у белой лампы дня,
И лапки подниму, как поднимали
Эфемериды — бабочки из мрака.

Люблю тебя, люблю тебя, земля!
Жена моя, тоска моя и радости!
Несутся мотыльки. А виноградник
Шумит, как шторм. Повсюду на шпалерах
Висят седые, огненные гроздья.
И лампочка в зеленом абажуре
Там, в кабинете у расстриги бога,
Кладет свой луч на грядки. И жасмин
Взлетает сбоку хрупкими цветами,
Торжественное наступает утро.
И бог с бутылкой спирта на ветру
Взметаает волосы и на рассвете
Приятельски меня к себе зовет.

Ты, значит, прав, седой расстрига бог.
Согласен я:

теперь я пью за сказку!
За сказочность незыблемых законов,
Чьи имена: борьба, разлука, жизнь!

1942 или 1943—1956

161. ДЕРБЕНТ

А. Галичу

Дербент, Дербент — Железные ворота,
Зеленая кайма, трехрядный вал,
Моряна в парусах, гнилые шхуны,
Баркасы, солнце, аспидный песок,
И кубовые тени под ногами,
И город мертвых возле цитадели.
Там — миллионы памятников.

Там —

В чалмах могильных встали, стали полднем
Мильоны мертвецов. Они ходили
По этой выжженной тугой земле.
За сотни лет скопилось столько мрачных,
Продолговатых, словно люди, плит,
Стоящих неподвижными рядами,
Что миг один — они пойдут на город!

Сегодня день рожденья моего.
Ты разве жив?

Я жив, живу в Дербенте.
Здесь кончики лучей слетают в полдень,
Невидимый пожар лучей стрекочет —
Болят осатанелые глаза.
Протянут я, как доски на кровати.
И бесконечные, как вечность, гаммы
Подросток разбирает за стеной.
Играет девочка. Полы желтеют
От масляной, липучей, жаркой краски
И пахнут детством. Льются жалюзи
Зеленые. И крики парохода

В порту —

отход,

могучий, плотный звук!

Здесь всё остановилось, запеклось,
Всё забелело в непомерном свете.
Прошла собака, синяя от солнца,
Понюхала собака, улеглась
От зноя на крыльце. И вышел мальчик,
Велосипедом по лучам вода,
Нажал звонок, и девочка возникла
И поглядела на него большими,
Сухими, малярными глазами.
Кивнули дети, затворились двери,
И снова раздались в Дербенте гаммы,
И за стеною гаммы, и за домом.
Играют гаммы с долгой остановкой.
Здесь мне спокойно, думаю — от гамм.

Вот это счастье! Так бродяги верят,
Так верил я! Не смейтесь надо мной.
Я жить хотел на десять долгих жизней,
На сотни жизней, на мильон несчастий.
И что же, я несчастен потому,
Что заключен, как в скорлупу ореха,
В одно существованье, да и то
Наполовину глупое.

О счастье,

Чем ты еще манишь, ведешь меня?
К чему твои протянутые руки?
Не лучше ли — лучи от жалюзи
И бронзовый сверчок, что за стеною,
Сухой, однообразный, словно гаммы?
А там, какое там великолепье:
И ванная с колонкой, и кладовка,
И сундуки, и вешалка, и гвозди,
И холодильник, и скворец домашний —
Всё нужное, достойное, дневное,
Всё полное отменного уюта,
Законного уюта и тупого,
Который я всегда так ненавидел.
Там всё бело, там стены коридоров,

Оленьи рожки, столики в передней,
Уставленные разной дребеденью.
Отец жужжит себе на бормашине.
Иль нет, пожалуй, он метеоролог.
А девочка играет за стеной.
А мама дышит черными грудями
В вискозе черной: ходит возле двери,
Подталкивает дверь бедром широким.
А я не отворю!

Всё те же гаммы.

И желтый треугольник на полу.
Откуда он? Кто ходит синей тенью
Здесь мимо окон? Гаммы. Почему
Беспамятство и гаммы? Почему
Здесь ребрышки желтеющего света,
Диван колючий, злой, темно-зеленый,
С большой скрипучей спинкой, а на полках
Стоят слонишки, слоники, слоны?
Их породил какой-то мыльный камень,
Слоны повсюду означают счастье.
Их много, много — толстеньких слонов.

О брат мой по перу, кто нынче знает,
Когда писанье это доберется
Над быстрою моею случайной смертью
К возвышенному обществу людей.
Быть может, не найдут его — прекрасно!
Быть может, не поймут его — согласен!
Мне наплевать на лавры — в этом слава.
Сейчас я бескорыстен — в этом сила.
И вот теперь в Дербенте много счастья.
Всё потому, что паруса устали,
Ослаблено сияющее небо
Над голубыми крышами, и трубы
Легко дымят. Так много, много счастья
Всё потому, что связан я с людьми,
С природой, с миром напряженной связью,
Всё потому, что мир совсем доступен:
Хочу — приму в себя огонь прибора,
С глазастой девочкой заговорю,
Соленых грузчиков возьму в обнимку,
В стихе, как в зеркале, переверну

На сотни лет всё небо, море, землю
Таковыми, как стоят они сейчас
В моем отображеньи точном.

Мальчик,

Что позволил недавно на парадном,
Ответь мне: где же счастье? Неужели
Твоя, художник, воля вечно рвать
Силки и надевать силки, как прежде,
Всё новые силки? Силки тревоги,
Страстей и поисков.

А мама дышит
Вискозными грудями и толкает
Бедром упругим тоненькую дверь.
Но дверь не открывается. На теплых
Губах волнение, горестный кармин,
Сухие усики, дробинки пота.

О каменное небо! Небывалый
Коричневых сельдей железный запах.
Лимонные полоски на полу.
Ты, счастье, в этом медленном покое,
На грани музыки, на грани гаммы,
Когда сбежал ты от всего.

На миг

Ты выбрался из мировых законов,
И понял их, как бог, со стороны,
И увидел в душе зеленый дворик,
И вырастил выюнки, лопух и мяту,
И посмеялся тихо и без злобы.
А это, знаю, самый милый смех.

Сегодня день рожденья моего.
Родился я — живой комок земли
На лучшей из планет, в начале века.
Планета лучшая была тиха,
Кончалась интервенция в Китае.
Разграбленный, в крови лежал Пекин,
Мао Цзе-дун ребенком был в Хунани,
Но это никого не занимало.
Всё в мире было слишком безмятежно:
Прогресс, культура и двадцатый век,
Век электричества, как сообщали,

Век гуманизма, светлый храм добра.
У времени едва лишь прорезались
Чуть страшноватые, стальные глазки.
Тринадцать —

слышишь —

лет до первой Марны.

Земля неслышно вздрагивала в гневе:
Шестнадцать —

слышишь —

лет до Октября.

Всё было так спокойно в ясном небе
И на земле в день моего рожденья,
Как будто кто вошел в зеленый дворик
И удивился тишине прозрачной.
Но страсти исполинские кипели
В седой земле пяти материков,
Расшатывая путь земного шара
И потрясая самый символ счастья —
Зеленый дворик маленькой души.
Многообразье счастья. . . Сколько жизней
Поломано судьбой из-за того,
Что в них замолкло вечное стремленье
Пробиться, проломиться, протаранить,
Вершину взять или достичь глубин.
Я счастлив потому, что я один
Сейчас, наедине со всей природой,
И людям приношу в тот миг добро
Тем, что я слышу, вижу, понимаю
Для них, для них, но нет, не для себя!

Старинный друг, немного посвети
Мне на пути своим холодным светом.
Серебряным светильником своим!
Ты — легкий светлячок, комочек света,
Прощающая ночью, ты прости
И посвети в пути, звезда над крышей!
Ты, длинная, как стебель, ты, жара,
Движение на юг, ты, руки ночи,
На юг направленные,

где тебя

Теперь искать? И есть ли смысл теперь
Тебя искать? Прости! Конечно, нет!

Сергей Мироныч!

Я здесь на минуту
Прилег на трехподушечной кровати
Побыть с душой своей, послушать душу,
Ее пустые, девичьи рассказы
О горестном многообразье счастья,
О том, что сердце — это облик мира,
О рыбах, что застыли у причалов,
О длинных перерывах белых гамм.
Сергей Мироныч!

Через полминуты
Я поднимусь. Я отдохнул. Иду!
Жара, жара, отчетливые гаммы. . .
Забиться бы, да запрещает совесть.
Потоки солнца плещут на полу,
И по дивану слоники гуляют,
Размеренное обещая счастье.
Мне в жизни ненавистно это счастье.
Я человек другого измеренья,
Пронизанного ветром Октября.

На улице лежат квадраты солнца,
Круги и треугольники косые, —
Фигуры, приносящие покой.
Неужто мне бродить еще по свету,
Предметы трогать, говорить ответы
Или вопросы, если этот полдень —
Средина жизни, и навряд ли будет
Такой же полдень, и навряд ли снова
Большая муха в воздухе повиснет,
Так медленно и точно повторяясь?
Не думаю.

Неповторимо счастье,
Да и не нужно счастье повторять.
История идет железным шагом.
Не замедляй ее шагов железных.
Сегодня день рожденья моего.

1943—1956

Зеленые, осыпанные пеплом;
Взметались язычки — народ особый.
Гребенчатые голубые звери
Ходили, полая, вверх и вниз.
Там был король.

Он понимал, конечно,
Что слишком быстро рушатся стропила
И бьются стекла, грустно раздробляясь.
Такие измененья он предвидел,
Он вырос между этих изменений.
Он вел в то время битву с духом мрака
И дочь имел, как говорят, хромую,
Немножко хулиганистую дочь.
Она тайком курила папиросы,
Врала отцу и матери дерзила,
Тайком писала детские стихи,
А сын стоял на отдаленном фронте.
Но может быть, среди девиц летучих
Была одна, которую до гроба
Сын полюбил,

да ведь не в этом дело!

А дело в том, что сожалел король
О быстротечном пламени на сучьях,
О том, что девы к сроку поспевают
И шепчут, черт возьми, всё те же речи,
Как затвердили при начале мира,
И, дуры дурами, они лепечут
В огне летучем, в гибельных пожарах
Одни и те же девичьи слова.

Он слушал, загрустивши, тихий сумрак
И патефон, игравший по соседству.
Дымок от папиросы завивался.
Невероятно тикали часы.
И думал он о снежном государстве,
О лиловатом, воробьином снеге,
О короле в том государстве снежном,
И очень он завидовал ему —
Живет просторно, весело, счастливо,
Уверенно, в солидном постоянстве,
Хорошей, правильной семейной жизнью,
Не опасаясь быстрых перемен.

Он мало знал о снежном государстве,
Там был лиловый воробьиный снег
С вишневыми вершинками.

Как будто

Заря вечерняя ложилась в два ряда.
И маленький народ, живя на ветках,
Ходил по двум цветам и наслаждался
То грустью синей, то вишневым снегом.
Их много было, этих человечков,
Звездинок и снежинок шестигранных.
Они друг с другом важно танцевали,
Ходили в гости, в черные морщины
Широкоплечих оголенных кленов,
И видели сверкающий хребет,
Встающий, словно бог,

на мрачном юге.

На каждой ветке жило их мильон,
Иные воевали ветка с веткой,
Карабкались и осыпались вниз
Пронзительными блестками седыми.
Когда садился грузный воробей
И перья мощные кудрявил клювом,
Валились люди, тая на лету,
И новые рождались, и громада
Тяжелых лошадей внизу шагала.

А на одной из тех ветвей король
Жил очень мудрый или председатель.
Он всё до точки сразу понимал,
Сидел на самом на вишневом снеге
И песни пел о радости людской,
О том, что жить совсем великолепно,
А умирать совсем уже привычно.
Просматривал входящие бумаги,
На исходящих ставил номера.
И дочка у него была красotka,
Но хромоножка, с круглыми щеками.
Она тайком курила папиросы,
Врала отцу и матери грубила,
И бегала на самый уголок
Двухлапой ветки, чтобы там за деньги

Купить в ларьке пушистым рассыпные.
И шла опять, хромая, во дворец.

Дворец огромен был.

Ковры висели
Числом четыре от земли до неба,
Под каждым, как цветок, цвела кровать:
Одна для короля, другая, рядом,
Для королевы, третья для принцессы.
Четвертая кровать была пустая:
Ушел на фронт невидный королевич,
И только фотографии висели.
А телефон — канючил на столе.
Принцесса, покуривши рассыпные,
Стихи писала ручкой деревянной,
И котик лазил у хромой ноги,
И мышь ходила —

служка королевы.

А за окном у них крутился вечер,
Холодный и голодный, лиловатый,
Большие лошади шагали молча,
Поспешные вставали огоньки.
И слушала принцесса тихий сумрак
И патефон, поющий по соседству.
Дымок от папиросы поднимался,
Невероятно тикали часы.
А люди осыпались легким снегом,
И войны шли, рождались государства
На ветках клена, в снеге воробьином.
Стучали звезды чистым серебром.

Король судил живых, судил умерших
На самом чистом, на вишневом снеге,
Поднявши к небу белые ресницы.
Неважно, что его ругали всюду,
Он был обычный представитель власти,
Необычайно мудрый,

но усталый

От множества народов и событий
И оттого, что часики мигают
Ресничками секунд на циферблате.

И если в тихий час подумать молча,
То всё на свете —

снег и чистота.

Но сыплется на снег горячий пепел,
Слетают хлопья очумевшей сажки.
Из маленькой трубы приходит гибель.
Бежавшие по оснеженным веткам
Народы крохотные погибают.
И падает король, сорвав корону
Из шестигранных голубых снежинок,
С последней верой глядя на закат
И жадно веря в постоянство снега.

Вот этого не знал печной король.
Он на мгновенье ощутил сонливость
От сладких дум о королевском счастье
Того, кто правит снегом наверху.
Но духи зла катались в поддувале,
Смерть поднимая в серебристом пепле
И кверху, к небу, посылая искры,
Бежали люди в розовом свету.
Была бомбежка или легкий праздник,
Того не ведаю, но одиноко
Король печальный созерцал огонь.
Он разрешил убийство и напасти,
Он сам, качая огненной бородкой,
Входил клубами в раскаленный дом,
Пожарники, оборотясь, кричали,
Чтобы вода развертывала шланги,
И рвались, будто звери, в самый чад.

Но шли огни в четвертом измеренье,
Подпрыгнувши, взлетая к дымоходу,
И было наверху темным-темно.
Ведь всё равно созвездья искр летучих
Обозначают для кого-то гибель,
Ночное пламя рвется в семь рядов.
И морщится король, невольно слыша
Обрывки скучных для него трагедий.
Всё рушатся уступы рыжих сучьев,

И морщится король:
на свете плохо!

Он, загораясь, как звезда на ветке
Среди колючих барышень пожара,
Вдруг понимает, что закрыта дверца
И путь один на небо —

в дымоход.

Он понимает, что погибнут люди,
И города, и щепки дров сосновых,
И улица, покрытая лиловым
Остылым жаром мертвенных углей.
А люди всё бегут вдоль красных улиц.
Червоннокудрые огни взлетают,
Как демоны беседуя поспешно
С бегущими в багровой мгле людьми.
Летят наискосок домов громады.
И королю понятно:

он погибнет

Совместно с искрометным государством,
С огнями, девушками, городами,
Когда в печурке кончатся дрова.

Так он сидит, угрюмый, краснолицый.
Последний падает истлевший уголь,
В печурку вновь подкладывают щепки,
Опять ревет ликующий огонь,
Взлетают птицы в пламенных уборах,
Взлетают барышни, смеясь, на сучья.
И если, как всегда, подумать молча,
То в мире всё —

огонь и чистота.

Пойдем скорей на волю, дорогая,
Посмотрим на царя в снегу вишневом,
На снеговое это государство,
Пока его не скинул воробей
С малютки ветки, черной от заката,
Или не съела быстрая капель.
Но миллионы лет ложится снег
На злые ветви кленов оголенных.
И возникают снежные столицы
С веселыми и бодрыми людьми.
Жизнь всюду побеждает, даже в сказке.

Как облачко на заповедных мысах.
Ты, девочка с косичками, за ширмой,
Обозначаешь дом, уют, семью.
Стол хромоногий. Бедные закуски.
Бутылки пива. Тосты и альбомы:
Младенчество героев на Борнео.
Террор. Восстанья. Желтый динамит.
Что ж, оглядимся. Половинки двери
Попорчены мелкокалиберной винтовкой.
Налево — шар земной.

Направо — очи

Седого Маркса.

Наверху — понятный

Плакат на непонятном языке.
А за окном шумит, бежит Тверская,
Там по асфальту девочки гуляют,
Там дышат булочные легким жаром,
Столовые. А здесь растет трава
Молуккских островов в горшках лиловых.
— Во имя братства! —

так сказали мы.

И дружно поднялись.

— За шар земной! —

Тут сдвинулись щербатые стаканы
Во славу разума, на гибель тьмы.
Яванцы поднимали за Вольтера,
За Льва Толстого,

хоть прищур лукавый

Обозначал, что мыслят эти люди
По-своему, для нас немного странно.
И есть поправки, и на темно-сером
Косом окне газетная бумага
Наклеена, и очень здесь бедно.

А в коридоре телефон, и строго
Зовут хозяина, и налитое пиво
Дрожит в разнокалиберных стаканах
До возвращения. Девочка за ширмой
Легко сопит.

Усни, полуяванка!

Отец приходит, руку поднимая,
Торжественным кивком благодаря.

Он — будто детство, будто у Коммуны
Мгновенье вырвал.

Будто Робеспьер
Идет в Конвент, и будто Бонапарт
Рванулся, побледнев, а впереди
Аркольский мост, заря и Марсельеза.

Баранину яванцы принесли
И керри огненное, и повсюду
Я видел дружбу, и почет, и силу,
И круглый, драгоценный шар земной.

Темно от дыма, на столе стаканы.

— За мировую революцию! —

И долго

Сверканье глаз не унималось.

— Братья,

За мировую революцию! —

Достоинно

Встают яванцы, кхмеры и японцы
И тосты поднимают, припадая
К подобранной по номерам посуде.
Народы угнетенные, вставайте!
На стенках полосатые обои,
И сырость, и подтеки, и портреты
Учителей. Они сидят, как боги,
Крутобородые, в тугих пластролах,
Веселые.

Происхожденье мира,
Семьи и частной собственности ясно
Для этих мудрых грозových голов.
Венки на Пер-Лашез и коммунары
Там, у стены смертельной над обрывом,
И митральезы около могильных
Спокойных плит, и жалюзи на окнах,
И Делеклюз, и почки лип парижских.
Взывайте, мертвецы! Вставайте, братья!
Земля дрожит и мечется от гнева.
Настали времена косить и жать,
Пора настала.

Поднимайте песню —
Немеркнувший «Интернационал».

Могучие хоралы всех умерших,
Погибших, стреляных, в петле повисших
За дело правое, звезду коммуны,
За дело близкое в ночных боях,
За дело правое, за нашу совесть!

Народы угнетенные, вставайте!
По всей земле, от севера до юга,
Звезда летит и музыка играет.
Противоречий тягостные руки
Тебя, звезда, не тронут.

Ты, звезда,

На кладбище парижском.

Ты, звезда,

Ты здесь у нас сидишь, поешь, как гостья.
Твое здоровье, грозная звезда!

Внизу кондитерские. В полутьме
Срываются, бегут обрывки лестниц,
И телефон страдает за стеной.

Какая сила человеческой воли,
Железных воль яванских и малайских!

За ширмами лежит полуяванка —
Лет девяти.

Восстание на Яве,

Дожди и пулеметы.

Очень дики

Вот здесь зубные щетки, паста, мыло
Американское, искусственный ковер,
Зеленый, как болото, и подушки.
На люстре три розетки, три подруги,
Все очень тусклые.

Звезда над миром

И над кроватью детской.

Ты, звезда,

Зовешь к себе погибших.

Ты, звезда,

Ты выше всех и пламенней!

Теперь

Альбомы, подвиги, потоки света,

Что некогда упали на людей,
Сидящих рядом. Подвиги былые
В суровом оформлении. Те же лица
На фотографиях. Последний час
Перед расстрелом. Избавленье. Ветер.
Машина. Гавань. Южная заря.

А на стене — рекламы пароходов,
Лиловый сумрак дальнего причала.
Великолепье Зондских островов.
Тоска народов! Вот всему причина.
Борьба за жизнь.

А девочка за ширмой

Всё видит сны.

Снести существованье!

Смести границы! Поднимайтесь, звезды!
Жить в маленькой гостинице. Газетой
Заклеено окно. Газетой «Правда».
Вас подзывают к телефону.

Сразу

Рвануться в будущее и потом
Взойти, блистая, на яванском небе.
Покуда бедствовать, терпеть, учиться,
Душить тоску, и вдруг — звезда на Яве.

Непарные тарелки. Поднимаем
Стаканы.

Слава!

Золотые лица,
Раскосые глаза, тугие брови,
Вниманье, нестерпимое вниманье,
Горячие ветра за темной сценой.
— За мировую революцию! —

Она

По-матерински обойдет все страны,
Промолвит слово каждому народу,
Как должно по обычаям его.
Содвинем чашки. Ничего не вижу
На лицах золотых. Быть может, радость
Не ночевала на ресницах синих.
— За Яву! За Борнео! —

Поднимаем

Стаканы. Твердо смотрим друг на друга.
Встают товарищи, борцы за правду.
Окно заклеено газетой старой.
Все, словно тигры, слышат запах ветра, —
Солдаты революции.

Они

Жестки, нетерпеливы, непреклонны
В своем решении умереть за Яву
И за звезду кровавую.

Горит

Звезда над миром. Призывает мертвых
Могилы покидать. Зовет живущих
Презреть могилы. Щурятся яванцы,
И на плакате — пароходный ветер
Раздул, развеял голубую юбку
Американки в золоченых рожках.

Какой простор! Какие песни мира!
Какие волны! Как хорош экватор!
На поручни кладя, как звезды, руки,
Летит девица по морям горячим,
А ветерок уносит кисею.
Восстань, девица, подними знамена!
Но, впрочем, ты глупа и непотребна.

Японцы истребляют сыр творожный,
Яванцы — ливерную колбасу.
Секретари железных комитетов
На Целебесе, Яве и Борнео,
Как голодно жуют они, как жадно,
Отхлебывая, злое пиво пьют.
Изгнанники. Народные посланцы,
Приговоренные раз десять к смерти
За преданность к свободе, за решимость
Всё вынести, всё вытерпеть для дела
Великого.

Идущие на всё

За обновление мира, за безмерность,
За гибель рабства, за освобожденье
Колоний мира.

Люди новой эры.

Изгнанники.

Усталые пришельцы
Из пламенных тропических просторов,
Нашедшие приют в седой Москве
На краткий миг по мировому праву
Убежища. Стремящиеся вновь
Туда, к народу своему, к работе
Смертельной, тяжкой, может быть безвестной.

Когда смотрю на них, я вижу пламя.
На нем кипят народы, как в котле,
К свободе рвутся, гибнут, побеждают
Под грозным солнцем первозданных сил.
Там каждый день в крови плывут события.
Народ, судьбу свою едва нашедший,
Мучительно выходит на дорогу
Без них —

друзей моих,

но вместе с ними.

Они живут одним, как жизнь, желаньем
Скорей вернуться, встать или погибнуть
В своей стране, где блещет Южный Крест.

Полночная Тверская неумолчна.
Обычная гостиница бессонна.
Свободу Азии! Встал материк.
Ты слышишь это, славный век двадцатый?
Звезда коммуны, ты взошла над нами.
Привет тебе!

Здесь, за столом, герои,
Овеянные парусами славы,
Великие искатели, провидцы,
Голодные, мучительно-живые,
С такими вот ребятами, как эта
Полуяванка, девочка за ширмой.

Товарищи,

я пью за ваши лица,
Оскаленные в нетерпенье зубы,
Я пью за нетерпенье и удачу,
Да, за удачу, за богиню счастья,

За эту девочку! Она сопит,
Как подобает девочке, тихонько
И даже скромно.

Шурятся яванцы.

Три лампочки над люстрой горят.
Звезда коммуны, ты горишь над нами,
Священная, в своем пятиконечьи.

Звезда коммуны —

поворот вселенной,

Звезда коммуны —

пять материков!

1943—1956

164. СКАЗКА О ТОМ, КАК ЧЕЛОВЕК ШЕЛ СО СМЕРТЬЮ

На Монпарнасе, в мерзостной больнице,
С поломанными ребрами, хрипящий
От сгустков крови, жалостно небритый,
На трех подушках задыхался я.
За окнами палаты грозным светом
Горело окровавленное небо,
И ночь за ночью шли,

но я не видел

На красном небе ни одной звезды.
Лишь черные, как дьяволы, деревья
Хватали тучи хилыми руками
И ерзали по огненному небу.
Вокруг меня, как искони бывало
В палатах смертников, глядели люди
На дикое и хмурое блаженство
Багроволицых толстобедрых туч.

Здесь умирали просто, как попало,
И запах ледяной врачебной кухни
Входил в десятиместную палату,
Как белый призрак сна и пустоты.
Сюда вносили только тех уродов,
Кто жизнь свою перевернул случайно
В холодной сутолоке мокрых улиц.

«Палатою случайностей»

звалась

Та смертная палата, и случайность
Была богиней десяти кроватей,
И в комнате казалась не случайной
Лишь сложенная пополам газета,
Что я сжимал мертвеей рукой.
Бомбят Мадрид!

Бомбят Мадрид!

Бомбят!

О, эти дьяволы почного неба,
Огни реклам, прожектора, неон —
Слепой огонь над входами борделей.
И надписи на Эйфелевой башне,
Семь страшных букв, тоскливый «Ситроен»!
Что ж, умирай хоть сотни раз в ночи,
Ты будешь видеть тот же алый воздух,
Всё те же лужи, смоченные кровью.
Ты будешь слышать тот же хищный запах
Сырых и ветреных парижских парков,
Идальний свист, и легкие шаги,
И холодок двадцатого столетья.

Они толпятся каждой ночью —

эти

Подобия людей в седых витринах —
Окутанные светом манекены,
Изображенья всей земной тоски,
Всей пошлости и подлости вселенской,
Отчаянно и лживо простирая
К полному прохожему свои
Бессмысленные, ласковые руки.
И рядом с ними пляшет водопад
Огней, вещей, оберточной бумаги,
Коробок и флаконов шестигранных.
И целый год качается нога,
Одна нога, без туловища даже,
Нога из воска смугло-золотого
В чулке постыдно-семгового цвета.
Качается, качается, зовет
Всё позабыть, убить, надвинуть кепку.

И, жалобно посвистывая, выйти
В четвертое ночное измеренье
Косых дождей, колючих кадыков,
Пустых мостов и тихой, тихой дроби
Старинных дождевых унылых капель.

Дай руку мне, идем, уже пора!
Ты — смерть,

я это знаю.

Что ж, попутчик,

Опять, как прежде, погуляем вместе,
Опять, как прежде, вместе простучим
Дождливыми, большими каблуками
По черно-золотым ночным бульварам,
Попыхивая затхлой сигареткой,
Помахивая тростью камышовой,
Поигрывая тоненьким колечком,
Поскрипывая костью лучевой,
Вдыхая пармскую тоску фиалок,
Тоску бензина в розовых колонках,
Тоску девиц в серебряных накидках
Мышиный шорох двадцати веков.

Что ж толковать:

мы разглядели, сударь,

Всю неприютность маленьких подъездов,
Все пелерины толстых полицейских,
Весь сатанинский перехлест джаз-банда
В кафе «Веню» на туфельках девиц.
Кровь светофоров, струи лживой Сены,
Кошачье захолустье переулков,
Опущенные насмерть жалюзи.
Живи еще хоть сотню лет, приятель,
Слепой двойник с прогнившими зубами,
Грудная клетка в шелковой рубашке,
Ночная мразь, исчадие дождей, —
Всё так же будут полыхать витрины,
Всё так же будут лаяться консьержки,
Всё так же будет пахнуть безысходно
Сожравший кислород слепой бензин.
И только кровь найдет желанный выход,

Растленного последнего цинизма,
Что надави еще —

и всё к чертям!

И это всё явилось не от бога,
Не от слепых определений рока.
Всё это вынес из глубин крошечных
Кипящий человеческий котел.
Со мною встал как бы подлец свирепый,
Прилизанный, в костюмчике игривом,
С платочком-уголком из пиджака.
Гестаповец, осклизлый провокатор,
Продавший род людской за тридцать злотых
В варшавской или мюнхенской пивной,
Он из людской, не марсианской плоти,
Он из людской, не марсианской крови.
Ему всё человеческое чуждо,
И всё же это создал человек.
Тебя умою я своею кровьюю.
Ты съежишься, завертишься, иссохнешь,
И ты истлеешь у меня в горсти.

А вот теперь...

Да это что такое?!

Он вырос, вынес к небу подбородок.
Он римским жестом руку протянул,
Он зашагал.

Куда?

Во тьму Европы.

Он выше крыш.

Он выкатил зрачки.

Он тянет взор, холодный, лягушачий,
Над Эйфелевой башней. Он пошел
Гусиным шагом по дрожащей глади
Асфальта.

Да! На нем мундир зеленый
И свастика на левом рукаве!
Над ним несутся к югу самолеты
Бомбить Мадрид!

Бомбить Мадрид!

Бомбить!

Так это ты? ..

Постой,

постой, приятели!

Тут что-то затуманилось. . .

Какая

Полезла чертовщина! .. Вот платочек
В кармашке пиджака. . . И сигаретка. . .
И ты. . .

Я буду звать тебя Гнилушкой,
Так веселее. Правда?

Ну, пришли!

Вот, Этьенетта,

это — мой ровесник,

Мой собутыльник, худенький гуляка.
Как тяжело мне было добираться
До чертовой площадки Сакре-Кёр!
Мы пьяны оба, оба мы болтливы,
Мы вышли оба из ночного морга
Дождей, колонн, неоновых витрин.
Он не снимает лайковых перчаток.
Ты плюнь на это, он паршивый парень,
Он выпьет рюмку и тотчас уйдет.
Он вместе с нами будет пить с балкона
Копеечной гостиницы монмартрской
Гектары дыма из парижских труб.
Какая плесень на изломах ванны,
Какая сырость под моей кроватью!
Какой проклятый, огненный, невинный!
Под нами расстилается Париж!

Нет, он уйдет, поколоти подушки,
Мы скоро ляжем, я не отрезвею,
Я буду целовать твои сухие,
Все в родинках, худеющие плечи.
Ты пахнешь вся дождем, и жженым кофе,
И грустными нехитрыми духами,
И бедным запахом домашней глажки,
И черным маникюром площадей.
Нет, он уйдет!

С тобою мне не страшно,
Но одиноко, тускло и спокойно.

Рука на грудь, потом всему конец.
Нет, он уйдет.

Он неплохой, Гнилушка.
Наутро мы с тобою выпьем кофе,
И воробьи качнутся у окна.
Нет, он уйдет!

Внизу Париж белесый
Раздвинется, как шторы, на рассвете,
И я увижу твой большой, тревожный,
Карминной кровью опаленный рот.
Из шкафа выну я свой лучший галстук
И завяжу его навстречу солнцу.

Там что-то было или нет, не помню.
Ну, черт с ним,

было или нет...

Плевать!

А впрочем, вот рассвет, а гость устал.
Да, он уйдет!

Не бойся, Этьенетта,
Он очень ловкий и привычный парень,
Перешагнет он прямо за балкон.
Ведь это спутник, мой дублер случайный,
И с ним мы познакомились случайно
В палате для случайностей, которым
Есть маленькое, злое имя —
смерть.

А всё-таки над миром всходит солнце!

1943 (?) — 1956

165. ЛОНДОН ДО УТРА

Обычный день обычно начался.

Шел дождь, стекала копоть по карнизам.
На площади угрюмой, возле банка,
Толпа стояла, молча, ровным кругом,
Под зонтиками, и они чернели,
Как спины вымирающих животных.

По кругу шел высокий господин
В полувоенной форме, при медали,
Протягивая старую фуражку.
В его ботинках чавкала вода.
Небритое, застывшее лицо
Измято было давним алкоголем
И белыми рубцами многих драк.

Сидела женщина на чемодане,
Накрашенная, в розовой жакетке.
Невыносимая легла усталость
На равнодушное ее лицо.
Она играла вяло на гармошке
И, отрывая на мгновенье пальцы,
Подергивалась, вытирая капли
Печального и тусклого дождя.
И перед ней лежал мешок, раздутый,
Брезентовый, огромный, с длинной цепью,
Которая по камням волочилась.
И рядом —

двухаршинная игла.

Мешок молчал, и женщина играла,
Привычно, равнодушно, неумело,
А человек, гнусава, говорил
Однообразные слова по кругу.
Тут кое-кто бросал в фуражку пенни.
Потом опять стояли под зонтами:
Прохожий клерк, священник, врач, торговка,
Спокойно глядя на большой мешок.
Гармоника хрипела и цеплялась
Кривыми нотами за серый камень.

Вдруг длинный человек надел фуражку
С большим гербом, и подошел к мешку,
И крикнул что-то.

Зонтики качнулись.

Мешок поднялся, поклонился, встал.
Цепь наверху тоскливо зазвенела.
Мешок стоял, гармоника несла
Нехитрую мелодию по лужам.
Стоял большой брезентовый мешок —
Быть может, фокусник в нем притаился.

Машины в три ряда перемещались.
Высокий человек схватил иглу
И, лихо засвистев, пронзил навывлет
Качающийся дьявольский мешок.
Мешок согнулся, завизжал, как кошка,
И снова выпрямился и стоял,
Визжа, стеноя, принимая в тело
Пронзающие длинные удары.
Потом уныло лег, и человек
Плясал на нем, а дама всё играла,
А цепь звенела, и мотался дождь.

Потом всё началось опять сначала.
Сменилися прохожие, зонты,
И круг другой стоял, и дождик шарил
За шиворотом, и качалась дама,
Наигрывая, и летели пенни
На дно фуражки, и молчал мешок.
Постыднее я зрелища не видел —
И непонятней, и пустей, и гаже.
Как будто бы над кем-то издевались,
Над кем —

неведомо, и для чего —

не знаю,

Перед гранитными стенами банка.
Там судьбы наций поднимались вяло
И, содрогаясь, падали в подвалы,
Где золото лежит в мешках и в слитках.
А наверху идет, как прежде, дождь.

Великий город.

Десять миллионов
Людских существ. Витрины в три ряда,
Заваленные бешенством богатства.
Как бы на дне людского океана
Живу, хожу и поглощаю сырость.
Зонты текут, текут автомобили,
И золото течет, и непомерно
Движение людей и механизмов.
Разнообразные ползут машины,
Миллионы брюк за стеклами висят,
Миллионы башмаков светло мерцают

За окнами, мильоны вечных ручек,
Мильоны шляп, мильоны апельсинов.
Не нужно мне живых, хочу покоя,
Иду в музей Британский под дождем.

И вот встают великие, как вечность,
Спокойные, как вечность, анфилады
Гранитных зал, где миллион предметов
Напоминает о мильонах лет.
Здесь колоннады храмов внесены
Как будто на ладони великана,
Громады башен крепостных и стен,
И мамонты, и клады Ниневии,
Треть Парфенона, половина Рима,
Сто фараонов вяленых, как рыбы,
В хрустальных ящиках.

Рамзес Второй —

Мертвецкая победная улыбка,
Сокровища Сумера и Элама,
Фигуры майев, инков и ацтеков,
Таинственные идолы Нигера,
Сверкающие боги из Камбоджи,
Десятирукие созданья Инда,
И улыбающийся вечно Будда,
Китайские божки, тотемы Сиу —
Все естества невидимого бога
За сорок тысяч лет земной культуры.
Всё это здесь, и некуда уйти
От страшной точности названий верных
И верных объяснений.

А потом —

Жуки, мечи, удавы и картины,
Пергаменты, папирусы, щиты.
Как будто вся история планеты
Запечатлелась здесь в богатстве диком,
Бессмысленно на части распадаясь,
Не понимая ничего в себе.

— Да был ли смысл? —

так спрашивает

странник. —

Иль это всё рождено, как растенья,
И в яростном разнообразьи жизни

Сверкало неизвестно почему
И неизвестно почему мертвело? —
Какая-то раздвоенность сознания
Мной овладела в этом строгом доме,
Где горечью несло и состраданьем
От этой тьмы украденных вещей.
Казалось иногда, что погибает
Ничтожный разум между пылесосов,
Автоматически берущих пыль
Из этих экспонатов мироздания.
Теперь на волю!

Жадно проглотить
Закопченный, почти шуршащий воздух!
Сумятица громоздких дымных доков,
Где наспех разгружаются суда,
Где над вершиной крыш висят недвижно
Закончившие путь большие мачты.
Войдешь во двор —

и вот стоит корабль
На белобрысой заводи бассейна,
Лебедки разбирают тяжкий груз,
Кладут тюки, и ящики, и кипы,
Снуют индусы, мерно напевая,
Сидят мартышки на цепочках длинных,
Покрытые лохмотьями гнилыми,
Друг с другом непонятно говорят,
Суют друг другу камешки и листья
Неведомо откуда привезенных
Растений увядающих и плачут
Тропическими крупными слезами.
Над улицами полыхают флаги
Морей, проливов, бухт и океанов,
И стекла запыленные контор
Грузовикам проезжим отвечают.
А дождь, перекосясь, всё льет и льет.
Империя, подпертая машиной
Морей подлунных, жадно поглощает
Одежды, снедь, и роскошь, и нужду.

В старинных кабаках висят модели
Забывших кораблей и пароходов,
Летит лавина трубочного дыма,

И чушь какая-то стоит в шкафах:
То самовар из Тулы, то слоновый
Лимонный клык, то чучело лисицы,
То голова засушенная негра,
То гипсовая глупая Венера,
Раскрашенная жалкой акварелью.
Здесь тускло всё от сырости и дыма,
Здесь каждый дюйм пропитан океаном,
И мы сидим на океанском дне.
Дрожит посуда от моряцких песен,
И жизнь плывет — страшна, разнообразна,
Но хороша.

И вновь над головами
Качаются и кружатся суда.

Мы в Саутгемптон шли.

Гулял в Ламанше
Десятибалльный шторм. Кругом темно.
Восторгом бури был пронизан воздух,
Весь состоявший из мельчайших брызг.
Меня волной ударило, и еле
Я поручни схватить успел и сразу
На взмахе увидал по горизонту
Бесчисленные стройные огни —
То Англия была.

И в этот миг
Из мрака, словно кошки, проскочили
Тела бесшумных серых миноносцев.
Ударило глухой волной прибой —
И аванпорт возник. Два маяка
И волнорезы, стены крепостные.
На них валы кидались из пучины,
Гром раздавался, мрачный и холодный,
И пыль вставала до летящих туч.
Всё бешенство природы било ночью
По этим берегам, и мы скользнули
Как будто в щель на черной гриве ветра
Посереди горящих маяков.
Один из них сиял пустынным светом,
В другом, в какой-то комнате стеклянной,
Сидел рыжебородый человек
На кресле старом, протянувши ноги,

Читая строго толстую газету,
Наш пароход не удостоив взглядом.
То Англия была,

и мы вошли

В большую тишину, вперед, к причалам.
И Лондон за сто верст вставал зарей
Над темными долинами Сюррея.

Великий город —

дьявольский мешок,

Набитый до предела всем на свете,
Играющий отчаяньем своим
И гордостью своей, как на ладони,
Столица всех пороков и страстей.
Дно океана, где лежат во мраке
Остатки кораблей, давно погибших,
В традиционной красоте кладбища.
Здесь непонятно, почему живут
И жадно рвутся к многолетью люди.
Здесь даже смерть миллионам не страшна,
Они живут, как рыбы, в океане.
Попробуй доказать, что это смерти!

Давно уже на улицах зажглись
Смертельно зеленеющие лампы.
Людские толпы медленно шуршат
По улицам бесчисленным и скользким.
Иди сюда, где море нищеты,
Или сюда, где окна адвокатов,
Иди в ночные переулки Сити,
В кварталы Сохо, в дикий Уайтчепел,
В сырые, темные углы Лаймхауза.
То лавка бакалейная в тумане,
То песенка еврейская из мрака,
То запах магазинчиков малайских,
То перебор соррентских мандолин.
Из мрака в свет,

из света снова в темень,

То прозвенит какая-то жестянка,
Из окон брошенная, то гремит
Нестройный хор румынских голосов.

Идешь, идешь — и улица пустая,
И никого. Кругом стоят квадраты
Кирпичных корпусов, и ни одно
Окно не светит.

Всё однообразно.

Неведомо, здесь жили или нет.
Лишь издалека огонек мелькает,
Как бабочка, и звякают запоры —
То полисмен идет и проверяет
Заржавленные старые замки.
Вдруг переулок, пестрый от распева
Китайских фонарей. Булыжник мокрый,
И опиумом пахнет и похлебкой,
И фонари на проволоке ноют,
И снова пряный запах трущоб,
И что-то хрипло возится в помойке.
Не знаю я, какой народ принес
Своих богов, жаркое, одеяла
В такой, над Темзой, темный переулок.
Молчит народ (не знаю, он откуда),
Лишь плачет сосунок да ходят кошки,
По мокрым крышам медленно ступая.
. . . Как будто намечается луна.

Другая улица.

Иду, вдыхая

Угрюмый запах Темзы, и канатов,
И смоляных бочонков, сыри, тленья
Бананов мокрых, загнивавших в мраке.
Здесь фонари, и некая собачка
Ворчит неспешно. Сразу отворившись,
Дверь возникает огненным квадратом,
И, голая, в бюстгальтере одном,
Стоит девица, заслонясь ладонью,
Как силуэт из угольной бумаги.
Потом неспешно закрывает дверь.
Сырые облупившиеся стены. . .
Стук тросточки по каменным квадратам —
Идет навстречу господин в цилиндре,
Прямой как палка, в шелковом кашне,
Глаза как пуговицы.

Подбородок

Навстречу мне совсем отдельно вышел,
И ноги сами по себе шагают.
Нет ничего на меловом лице,
Лишь пуговицы в каменных глазницах.
О, боже, боже, он смертельно пьян,
Пьян много месяцев, пьян беспробудно!
Цилиндр отсвечивает черным лаком.
Он тросточкой стучит по тротуару,
И нету глаз, лишь пуговицы стынут,
А в пуговицах смертная тоска.

Всё дальше, дальше. . .

Улица бросает

В меня цветные краски магазинов.
Опять толпа течет за рядом ряд,
За ночью ночь и день за днем, как прежде.
Сам не пойму, откуда столько лиц,
Отчетливо возникших в мокром ветре.
Сегодня ночь субботы, ночь вина,
Веселья ночь.

И толпы припадают

К источникам веселья — мюзик-холлам,
И дансингам, и ласковым кино.
Проходят толпы, туго изгибаясь,
Поблескивая мокрыми зонтами,
На час, на два присаживаясь в залах,
Где до утра все лампы зажжены.
А лучше бы зайти в другое место.
И вертятся без меры турникеты,
И автоматы выстроились в залах,
Где до утра все лампы зажжены.

Входите, господа!

Вас ожидает

Веселье небывалое. В футлярах
Стеклянных коченеют автоматы.
Ну, опустите пенни. И выходят
На двор тюремный десять арестантов
И под стеной становятся кирпичной.
В руках у вас ребячий револьвер,
Вы можете стрелять по ним, и если

Всё разгружают мерно пароходы,
Мартышки желтолапые сидят,
Дрожа от сырости перед продажей.
И будто бы под утро, и светлеют
Края небес, и хочется запеть
Суровый гимн земному беспорядку
За эту мощь, за этот разворот
Бесчисленных судеб, за опьяненье
Ветрами океанов,

за тебя,

Туманный остров, выгнутый волнами,
Стоящий на шести ногах, как муха
На Библии старинной в воскресенье.
Ты — океан, ты — торжище людей.

Светает. . .

Неизвестно отчего

Вдруг прорезаются громады зданий.
И дождик падает на макинтош,
И поднят воротник, и полисмен
Коричневые скашивает брови
На стук твоих галош. Встает заря.

Светает радостно, как в раннем детстве.
Гигантский пароход идет по Темзе,
И молча поднимаются мосты
И падают над палубой, промытой
Полетом бурь и лондонских дождей.
Грузовики, распертые свининой
И репой или рыбой побережий,
Идут на Ковент-гарден, и лежит
Холодный лучик пасмурного солнца
На медленном сверкании реки.

И в этот час рассвета вспомнил я
Год девятнадцатый, когда над Темзой
Застыло всё.

Ни звука, ни гудка.

И шорох шин умолк и гул заводов.
Метро остановилось.

Тишина.

Великий город, днище океана,
Каким ты стал беспомощным, безмолвным,
Когда суровые рабочих руки
Остановили сразу жизнь твою.
То были годы грозных забастовок,
Машины в три ряда остановились,
Гигантский пароход застыл на Темзе,
Погасли яркие твои витрины,
Заваленные бешенством богатства,
И тьма была на океанском дне.

Британия!

Скажи мне, почему
Ты, давшая народам столько света,
В холодной мгле нерадостно мерцаешь,
Стоишь в промозгом сумраке морском?
Я полюбил суровый твой народ,
Ткачей Манчестера и металлистов
Продыmlенного Шеффилда. Люблю
Немногословных мореходов Гулля
В клеенчатых зюйдвестках до бровей,
И речь твою, суровую, как море,
И нежную, как пробужденье ветра,
Как лунный серп в сережках верб озерных.
В твоих библиотечных строгих залах
Недаром Ленин думал и творил.
Пред ним в снегах лежала ширь России,
А Лондон громоздился за окном.
И тихо, тихо было на кладбище
Печального Хайгетского холма,
Где есть одна священная могила,
Покрытая холодною плитой, —
Священная могила Карла Маркса.

Британия, надменная страна,
Столетиями ты покоряла землю
Мечом, и парусом, и золотом своим!
А ныне ты стоишь, как флот в тумане,
В смятении перед двадцатым веком,
Подавленная младшею сестрою,
Поднявшей свой кулак над океаном.

Рассерженная дерзкими детьми —
Австралией, Канадой и Кэптауном,
Ты уж не та.

Ну что же, бог храни
Тебя, и короля, и королеву.
Но знайте, люди! Англия — другая!
Мешок брезентовый, звенящий цепью, —
Лишь оболочка Англии.

Глядите:
Наполнен жизнью дьявольский мешок!

Рабочие идут, как точки, слева
Перед громадами зубастых доков,
И проповедник в порыжелой шляпе,
Интеллигент-пропойца, говорит,
Внеся ступни на ящик из-под мыла:
— Мужайтесь, братья, Киплинг умирает.
Идите к дому нашего поэта,
Молитесь за успение его,
Он был землей и в землю отойдет.
Записывайтесь в «Армию спасенья»! —
Но тысячи людей бесстрастно шли,
И кашлял проповедник и курил
Над Библией сухую сигаретку.
И солнце встало над его челом,
Над рыженьким пальто, над сигареткой
Капустного изделия, над рукой,
Усталой от маханья и призывов.
— Хотите ехать, —

я спросил, —
со мною?

Такси оплачено. —

Он пожевал
Губами мягкими, кивнул, и быстро
Под ним качнулся ящик из-под мыла.
— Поедьте, достопочтенный сэр.
Позвольте взять мой бесприютный ящик.

Он всю дорогу горестно молчал.
Приехали и выключили счетчик.
Был трехэтажный дом спокойно-бел.

Балкон чугунный твердо перерезал
Как будто пополам старинный дом.
Толпа стояла — человек пятьсот —
В потертых котелках и серых шляпах,
Втыкая лица в белые листы
Газет британских. Нищий проповедник
Поставил снова ящик из-под мыла.
— Помолимся, — сказал он, — братья!
Братья,

Неужто вас не посещает совесть?
Подумайте о страннике вселенной,
Который предстает сейчас в мученьях
Пред господом! —

Но оставались лица
Недвижными, и только шелестели
Листы газет, и океан природы
Катился крутогрудыми волнами
Над старою империей земной.
Томительно и горестно вздыхая,
Молчали все, и только проповедник
Кричал надтреснутым, высоким криком.
Большие пятна голубого неба
Обозначались на ветру приморском.
И солнце падало на наши шляпы
Сверкающими зайчиками. Липы
Шумели обнаженными ветвями.
И на четырнадцати окнах пали
Чешуйчатые траурные шторы.
Все обнажили головы и сразу
Ступили тяжко на листы газет.
Тогда открылась на балконе дверь,
И вышла дама с белыми кудрями,
В седом воротничке и черном платье,
С ней господин, такой же черно-белый,
Надменный и прозрачный.

Стало тихо,
Хотя и до сих пор всё было тихо.
И дама оперлась концами пальцев
На балюстраду и легко сказала:
— Скончался Киплинг

Редиард.

Писатель. —

И повернулась и ушла легко.

А проповедник закричал:

— Ребята!

Пожертвуйте хоть шиллинг или пенни

За упокой великого британца! —

Но проходили все, не глядя, мимо.

И солнце вновь позолотило Лондон.

А я, познав тоску противоречий,

Всех яростных противоречий века,

Я вспоминал о Марксовой могиле,

Английскую я слушал тишину.

Двадцатый век пылал передо мною.

Я видел непреложность тех законов,

Которые, открытые для мира,

Повсюду побеждают и живут!

А Киплинг мертв.

И мертв не потому,

Что на четырнадцати окнах пали

Чешуйчатые траурные шторы,

Не потому, что строгая вдова

Собравшимся о смерти объявила.

Замолкнул навсегда жестокий голос,

Воспевший бремя власти, легкость гнета,

Сказавший миру, что Восток и Запад

Недвижны будут до конца веков.

Но Запад полон грозовой тревогой.

Близка, близка всемирная война.

И вихрь зари поднялся над Востоком.

Свои оковы Индия срывает,

Багровым светом пышут Гималаи,

Малайский тигр готовится к прыжку.

Какой-то темный, словно обожженный,

Я уходил оттуда тихим шагом,

Поднявши голову, засунув руки

В широкие карманы, и внезапно

Услышал звук гармоники, и хохот,

И выкрики приказа, и стенанья.

Толпа стояла ровным черным кругом,

Держал иглу небритый господин,

Качалась дама в розовой жакетке,
И перед ними кланялся поспешно
Огромный, переполненный страданьем,
Набитый бедностью, терпеньем, скукой
Тоскливый человеческий мешок.

1943—1956

166. ПЕР-ДАШЕЗ

Стена покрыта сверху черепицей,
Наискосок спускается она,
Искусанная пулями версальцев.
Здесь умирали коммунары. Полдень.
Кровавые венки на старой стенке,
Скрежещущие лавры, низкий гул
Парижа за стеной и трубы фабрик.
Там, за стеной, высокий чистый дом,
Белье сырое плещет на балконах,
И сверточки с провизией висят,
Так кое-где за окнами.

И кошка
Выходит на балкон. Почти весна.
Перекопали гряды у стены,
Едва заметный, как дыханье, пар
Ложится. Небо нежно-голубое.
И палевые облачка бредут
По небу блеклому. Дрозды играют
На дудочках веселых.

Табунком
Танцуют мошки.

Хорошо на свете!
Садовник по земле идет с лопатой,
И отвечает влажная земля
На каждый шаг его клубочком пара.

Свистки далеких грустных паровозов
За этой старою стеною смерти.
Напротив дом стоит, и занавески
Колышутся, и девушка в окне
Прическу делает, играя гребнем,

А зеркала не видно, потому
Особенно странны ее движенья.
И зайчик солнечный лежит в подмышках,
Чуть рыжеватых на молочно-белой
Блестящей коже. Свежая рубашка
Еще не тронута случайной складкой.
И влажная, как дерево весны,
Потягивалась девушка, тянулась,
Закидывала руки и смеялась
Неведомо чему.

В другом окне
Стоял тюльпан кроваво-красный, жирный.

Откуда-то выходит черный дым
И застилает дом, тюльпан, рубашку.
И снова появляются они.
Над крышами, закопченными насмерть.
Раскатистые слышатся удары.
Работает Париж.

Идет старуха
Орехового цвета, в черной шали,
Сложив сердечком губы.

Та старуха
Метелкой чистит звонкие веночки
И памятники вытирает тряпкой.
Здесь всё покато — это склон холма.
Венки как будто кляксы свежей крови.
Фарфоровая, жестяная кровь
Искусственных цветов течет по камню.
Стена вся выбита, — быть может, это дождь,
Иль время, или пули, или свойство
Самой породы камня. Будто буквы
Читаю я, то здесь, то там повсюду:
«Свобода. Смерть. Коммуна!»

И еще:
«Париж».

И прямо за стеною
На подоконнике тюльпан как пламя.

А дым идет, и шум, и стук железа.
Грузовики. Ворчит огромный город.
И это всё за каменной стеной.

Безвестные кровавые венки.
Ведь грозный сон расстрелянных рабочих
Стократ народу Франции дороже,
Чем мирный сон спокойных генералов,
Не раз слыхавших ветровые пули,
Или маститый непреклонный сон
Советников муниципальных.

Почки

Над всеми распускаются равно.
Но гордый гул истории людей
Как бы ножом сверкающим отрезал
От безымянной стенки

имена.

Не то чтоб слава —

знаем эту славу!

Не то чтоб почеть —

знаем эту почеть!

Но дух истории тревожит камни,
Изгрызенные пулями версальцев,
И разделяет надвое весь мир.
Предавшие себя геройской смерти
Отделены от тех, которым смерть
Была как ужас гробового входа.
Тем безымянным жить века веков
По праву юности и жаркой крови,
А этим жить, пока родные платят
Старухе смерти франки за хранение
На мраморе иссеченных имен.

Под митральезами версальцев с криком
Здесь рушились и коченели люди.
Земля над ними жадно осыпалась,
Закушенные забивала рты.
Звезда, взлетевшая над этой стенкой,
Сверкает на шелку знамен багряных,
Ее закон идет, как верный лемех
Невиданного плуга, по Европе,
По четырем другим материкам.

Взлетает дым над стенкой коммунаров,
Качаются на бечеве продукты,
И патефон шныряет, как челнок.

В пустом окне уже не видно больше
Той девочки, что зеркало теснила.
Она ушла и затворила двери.
Тюльпан стоит, краснея, за окном.

1943—1956

167. БЕЛЬКОМБ

Под сенью богоматери белькомбской
Мы жили десять дней.

В ее глазах
Больших, от старой меди зеленевших,
Росла тоска, темнея день за днем.

Там церковка была, и ресторанчик,
И лавочки, где продавали вяло
Парижские открытки и бювары,
А наверху, как слон, стоял Монблан.

В железно-серых пасмурных ущельях
Катились ели черными зубцами,
Летели лыжники в цветных фуфайках
И бегали подснежные ручьи.
Морозом пахло и чуть-чуть вербеной
От пролетающих американок,
Несущихся на первоклассных лыжах
К ущелью горному реки Арно.

Дай руку мне!

Бормочет умывальник,
В шуршащей тьме зажегся ночничок.
Тоскливо скрипнули полы.

— Как поздно! —

И бьют часы.

Двенадцать!

Боже мой!

Россию бы по радио услышать! —
Растут, растут над белыми хребтами
Старинные, как смерть, рисунки звезд.

Ты думаешь, что я ищу покоя? . .
Нет, милая, я очень осторожен,
Я очень осторожен, и за мною
Огромный опыт бедственного счастья,
Разлук, тревог. Покоя нет на свете.
Об этом ты пока еще не знаешь.
Ты, светлячок весны, пушинка света,
Студентка вечно молодой Сорбонны
И парижанка до мозга костей,
Чуть бережливая, как ртуть живая,
Смешливая и дерзкая до черта
И вдруг задумчивая.

И потом

В глазах широких проплывет огонь,
Когда в беседе быстрой невзначай
Тень Франции пройдет и станет тихо.

Ты страстно танцевала каждый год
В день взятия Бастилии, а ночью
На фейерверк смотрела и кричала
Какие-то пустячные слова,
И аплодировала.

Ты любила

Жизнь так легко, что с детским удивленьем
Не верила, что можешь умереть.
Ты целый год копила франк за франком,
Чтобы на десять дней слетать в Савойю
И насладиться в маленьком Белькомбе
Рекламным снегом, лыжами, весельем
Той, для Парижа сказочной зимой.
И жили мы в дешевеньком отеле
С огромным телефонным аппаратом,

Ты верила, что есть на свете счастье,
Ты думала, что в мире есть покой.
А свет покоя льется из Белькомба
На сотни сотен неподвижных лет.
И ты не знала, девочка Парижа,
Что через восемь лет. . .

Но нет, не **стоит**

Так забегать вперед.

Дай руку мне.

Лишь через восемь лет тебе ответит
Вот здесь...

Но нет, не буду забегать
Вперед на восемь лет.

Бледнеют звезды.

Ущелья елями полны доверху.
Река скользит холодным черным змеем.
И ветви злобно сбрасывают снег.

В зеленой шапочке, дрожа ноздрями,
Выхватывая запахи из ночи,
Ты мчишься вниз, и снова поворот,
Рука закинута, и объятья,
И легкий стон, как будто бы прикушен
Был ветер ледников в губах набухших.

Над миром тишина лежит, синяя,
Сверкая от луны, снегов, ручьев.
Амфитеатр звенящего простора
И одиночества.

И нас вдвоем

Внесла случайность на ладонь природы.
Плывет луна в недвижной высоте,
Стоят громады шерстолапых елей,
Петух поет в деревне за хребтом,
И утро подступает по секундам.
Прижмись ко мне, дыхание твое
В мой жадный рот приходит светлым паром.
Ресницы словно изгородь стоят,
Белки мерцают отраженным светом.
Росинки пота стынут над губами.
Стоит над всей вселенной тишина.
И вот, рождаясь возле туч, несущих
Оплавленную белую луну,
Качнулся гул на самой грани неба,
Пронесся шорох мертвый по лесам,
Пахнуло страхом, будто из могилы,
И, грохоча туманным колесом,
Пошла лавина смертными кругами
Всё вниз и вниз!

И дьявол поднимал
Над нею семь свечей седых туманов.

Рванулась ты ко мне, ударил холод
Серебряный. Дыханье пресеклось.
Конец!

Беспомощно мы ждали смерти.
И пронеслось. . .

Блистающий туман
Нас, маленьких, схватил, одел морозом,
Ворвался в ноздри, ребра, бил огнем,
Колол снежинками. Белел восток.
Над голубым хребтом луна стояла.
И, срезанная от небес до ада,
Земля дымилась, как живая рана,
И на ресницах стыл летучий снег.

Спасенные от ярости стихий,
Мы, обнявшись с тобой, стояли молча.
Дорога срезана была как бритвой,
За два шага от нас чернел провал.
Случайность пожалела нас с тобою.
Судьба твою приберегала юность,
И от земли до неба поднимался
Лиловый пар распахнутой земли.
Не упрекну тебя за быстрый отблеск
Зубов насмешливых, не забегу
Вперед на восемь лет.

Они пройдут.
И встанешь ты под дула автоматов
И улыбнешься старым, партизанским
Савойским Альпам. Улыбнешься снегу
Рекламному и давним поцелуям.
И, грохоча туманным колесом,
Пойдет лавина смертными кругами,
И Франция над скалами поднимет
Колпак фригийский утренней зари.

Так что же мне сказать тебе сейчас,
Когда держу тебя в своих объятьях?
Смерть пролетела.

Ели говорят
На языке, понятном только снегу,
Нет, не заря, а белое сиянье
Проходит по хребтам стопами света.

Идет весна в торжественном рассвете,
Ручьи подснежные бормочут сонно,
А наверху, как слон, стоит Монблан,
Владыка богоматери белькомбской.

1943 (?) — 1956

168. БЕРЛИН 1936

Я это видел ночью наяву:
Горячее небо над Берлином.
В пивной «Берлинеркиндль» у стойки мать
И дочка в голубом пристойном платье,
Золотокудрая, и белый воротник,
Передник, налокотнички, застежки;
И проститутка в свитере мохнатом.
Носатая спортивная девчонка.
Зубрит тригонометрию и быстро
Всем говорит бесстыдные слова,
Торгуется, картавый говорок.
Обструганные, чистые столы,
Все черепные, волевые лица.
И лишь один лохматый человек,
Похожий на Бетховена, расплывшись
На шесть пудов, вдруг кулаком по стулу!
Лиловую рукою поднимает
Он глиняную кружку, говоря:
— Нам говорил закон: жалеете слабых.
Жалеете сильных, так я говорю.
Отчаянье, отчаянье какое! —
Качается, и платит, и уходит:

Прямые линии и протестантский холод.
Углы гранита. Пустота. Тоска.
Средина безнадежная Европы.
Треск барабанов, флейты и знамена.
Шаги пехоты, черепа и кости.
Истерика в глазах и подбородках.
Глаза, запавшие от мертвой славы.
Навстречу сапоги с безумным глянцем

На тоненьких подметках.

Ветер, ветер,
И ветровой гнусавый посвист флейт,
Овеянных далекой славой Марны.
Витрины азиатских магазинов.
Бормочут тихо маленькие толпы.
Стоят в галошах. Смотрят, и вздыхают,
И думают о мировом полете,
О мировой Империи.

Конец.

Безвыходность и безысходность.

Сила

Несчастливого народа. Обреченность.
И бабы страшные в очках квадратных,
Костлявые кариатиды века
И кельнерши Империи всемирной.

Пройти по всей земле и вымыть танки
В Индийском океане и тогда,
Откашливаясь, вылезти из люка.
Всё кончено, земля побеждена,
И воцарилась скука. Нет предела
Такой всемирной скуке,

скуке плахи,

Тюрьмы и виселицы.

Как уйти,

Куда уйти в непобедимой скуке
Победным полчищам?

Конец всему,

Всё высчитано, вымерено, снято.
Средина серой, как асфальт, Европы,
И серый дождь, и серые дома.

Гостиница. Название «Русский двор».
Рекламы, номер, тощие перины.
На столике — ландскнехт, держащий лампу.
Повисли шторы белым водопадом.
Просторный таз, фаянсовый кувшин.
Звонок. Ответ. Автобус. Семь ступеней
На самый верх. Летит, течет Берлин,
Идут солдаты, словно привиденья,
Блестя штыками возле фонарей.

Курфюрстендамм. Коричневая ночь.
Профессорский иль генеральский дом.
Швейцар в больших медалях. Темный бобр
По лестнице. Чеканка, бронза, дуб.
Он зажигает свет. Он, пресмыкаясь,
Глубоко кланяется.

— Господину

Какой угодно номер? — Номер девять,
Профессор Кац. —

Меня сопровождает

Солдатская отчетливая ругань.
Он тушит свет, и я, слепой, иду
И спички зажигаю на площадках.
А за стеною мчат автомобили
Посередине пасмурной Европы.
И скучно, скучно, прямо хоть в петлю.
Армейское бетонное унынье.
Мне отворяют двери, но сначала
Шушукаются, ходят по-кошачьи.
Сначала на цепочку, а потом
Почти как должно, но немного уже.

Полуеврейская семья. Громады
Увядших комнат. Странно всё и тускло.
Дубовый прочный гробовой уют.
Всё очень страшно.

И никто не верит

Здесь ничему.

Все медленно устали.

Чудовищная рыжая кухарка
На стол бросает лакомые блюда.
Привязана и молча ненавидит
Привычную за двадцать лет семью.
Какой-то жалкий беглый разговор.
Я перехватываю пиво и хмелею,
Машу руками и дышу свободно.
Сын твердо верит, что его зарежут,
Что Гитлер завоюет мир подлунный,
Что нужно умирать, когда позволят,
И вообще кругом — одна дыра.
Болезненный и нежный, он качает
Фарфоровыми круглыми глазами,

Готовый, как барашек, лечь во тьму.
Свист за окном и песенка.

Отец

Вдруг надевает войлочные туфли,
Сын надевает войлочные туфли.
Отец стоит на страже у дверей.
Сын, наклонясь, спускается беззвучно
И где-то тихо отворяет двери.
Он бледный возвращается и страшный.
Отец приходит тоже бледный, страшный,
С ним — бледная красавица в очках,
Невеста сына, ей грозит опасность,
Ей угрожает банка с кислотой.
Назавтра обольют иль послезавтра —
С полувевреем ей уже не быть.
И мрачный юноша за ней ступает,
Товарищ сына, он пришел проститься.
Что ж, дружба дружбой, а закон законом.
Садитесь, гости, выпейте вина!

Ужасный ужин. Все сидят, уставясь
В неведомые ночи Освенцима,
В неведомые ночи Ленинграда,
В берлинскую неведомую ночь.
Глава трагедии.

В стекле гигантских
Церковных окон льется ночь Берлина,
Лиловые и желтые огни.
Идет такое варварство глухое,
Какого человечество не знало.
Законная, бесстыдная тоска.
От этой скуки можно совершить
Необычайное, залить всю землю кровью
Иль изнаsilовать пречистую Марию,
Сжечь все музеи, может быть, придумать
Седьмое измеренье, может быть. . .
Но больше невозможно! И от страха,
От зверства можете прикончить жизнь
Самоубийством, но не очень просто,
Особенно, чтоб не было тоскливо.
Ну, по частям, не так ли, иль по нотам,
По преЙскуранту, что ли, иль по списку. . .

Придавленные белым страхом лица.
Марш за стеной и посвист флейт холодных,
Тот ветровой неудержимый посвист,
И барабаны.

Слава, слава, слава!

Та слава непомерная побед,
Которые приводят к пораженью,
И горечь поражений, чьи гробницы
Важней побед и лучше для германцев.
Нет, не безумство храбрых, а безумство
Бычачьих победителей Европы.
Веселый Лютер и его слова:
«Тот, кто не пьет вина, не любит девок
И песен не поет, — дурак отменный».
Но всё забыли опытные немцы.
Беспамятство, свист ветра, посвист флейт.
Безумный Гитлер вылез из подвала,
И заболели немцы, и возникли
Скелетные, проваленные морды,
Булыжные, тугие кадыки,
И слава, и безмерность, и удушье,
Тоска под ложечкой, поход всемирный,
И танки за Индийским океаном,
И бритвою холодною — под горло,
И тощие сосиски, и аллея
Побед, не интересных никому,
И варварство пещерное из мрака,
И мужество с белесыми глазами,
Отчаянье и мерзость.

Ночь Берлина.

Дурацкие седые лампионы,
Висюльки фонарей, собачья старость
И сон о девятнадцатом столетье,
Могучем, толстом, радостном уюте,
Достойно бородатом. «Stille Nacht» —

Святая ночь. Раскормленные елки,
Раскормленные пасторы; мальчишки
Толстенные и злые — Макс и Мориц,
И свиньи толстые, и толстые усы,
И бороды, и толстые кокотки,
Огромный Бисмарк с толстыми усами,

И теоремы толстые, и банки,
И формулы округлые, как гири,
Железный шаг тяжелобрюхой мысли
И победительная колбаса,
Которая постольку побеждала,
Поскольку жирной, как свинья, была
И вкусной, как свинья.

Горели щеки,
Кружились вальсы. Маленькие руки
Бродили по горшочкам с резедой,
Кипела вся германская кастрюля,
И шейки там гусиные носились
В безумном кипятке, и Вагнер пил
Стаканами спокойное столетье.

Лавина флейт качнула шаг гусиный,
И вот они пошли, свистя, вперед!
Бессмысленная сила, сила взрыва,
Забвенье, забытье, унылый росчерк
Зенитного снаряда в небесах.

И рядом Тельман за стеной бетонной.
Тут время исподволь открыло глазки
И щелкнуло курком. И, черт возьми,
Какие шторы в этом пышном доме,
Задвинутые, бархатно-седые!
Какое униженье неживое!
Покойник, что ли, занял кабинет,
Из-за портьер выглядывая лживо?
И марши, марши!

Мальчишки идут
За черный Рейн, закинув злые ноздри,
И всё займут, и снова, как всегда,
Откатятся и будут есть ошметки
Овсяные и, может быть, опять
Бессмертный стих поднимут в униженье.

Идите, смертники!

Кивайте черепами
Еще в кудрях, проборах и бровях.
Вы развернули середину века
И черта вызвали, и он сидит

На Бранденбургских аспидных воротах,
Смеясь в кулак, а вы идите, крошки,
Подрагивая ляжками тугими,
Всё молодежь — отменный матерьял!
Идите, мальчики, направо — слава,
Налево — слава, слава — впереди!
Куда уйти от этой смертной славы?
Исполнились назначенные сроки,
Приводятся в движение рычаги,
И падает на шлемы дождь косматый.
Могилы уготовлены! Над миром
Встает тлетворный, темный запах смерти.
На три аршина, мальчики,

во тьму!

Лучи прожекторов. Несутся блики.
Воздушная тревога?

Нет, конец!

Товарищ сына спрашивает строго:
— Вы были в Сталинграде? —

Я беспечно,

Но с раздраженьем отвечаю:

— Нет. —

Он говорит:

— Хотел бы я побыть

В таком громоздком городе над Волгой.
Там что-то новое. Земля Востока.
А впрочем, так же скучно, как везде. —
Переглянулись. Выпятил студентик
Красивую губу. . . .

И он возник,

Мокеич, сторож, возле отопленья:
Он вяло уголь засыпает в топку,
Ругает всё на свете и кота,
Внимательно глядящего на пламя.
В подвале грязно и тепло, и бродят
Рябые отсветы по стенам. Ровно
Позванивают трубы отопленья.
А наверху — огромный снежный город.
Морозный сквер, и девушки бегут,
Веселые, пушистые, и фильмы —
Изделие московских режиссеров —
Провернуты в кино, и ходит ветер

Заволжский, бесприютный.

Вот и ты,
Кормилица моя, седая Волга!

Всю нашу кровь, и пот, и наши слезы
Ты подо льдом несешь, не уставая;
Курганы, Жигули, леса немые
Твоей воде холодной поклонились.
Из дальних родников ты, мать, родилась,
Из ковшиков берестяных пролилась
Под елями, березами, грибами,
Да песнями, гармошками кормилась,
Трехрядкой небогатой ярославской.
По камушкам по маленьким бежала,
Беседовала ночью с огоньками,
И приняла Оку, Суру и Каму,
И поспешила к морю через степи.
Меж городов идет она привольно,
Перед кремлями русского народа,
Большими заводскими корпусами
И улицами, милыми, как детство.
Я сорок раз старухе поклонюся,
Земным поклоном над январской ширью,
Покуда в ледяных ветвях деревьев
Летают вальсы из картины «Цирк».

Мокеич блудного кота ругает,
А наверху работники горкома,
Наш небогатый, временный уют —
Фанерные шкафы и патефоны,
Всё собственное, наше до конца.
Там, наверху, ребенка мать качает
И холостяк звонит по телефону,
А кто-то на подержанной машинке
Стучит международную статью.
И воля грозная несет домину
За реки, и леса, и гор отроги,
На запад ли, восток, на юг, на север,
С открытыми глазами на ветру.
В цехах, как должно, выстояли вахту,
Поземка катится по переулкам,

И сторож, лживого кота срамявший,
В подвале самокрутку закурил.
Вот здесь, в подвале, и умрет собакой
Товарищ сына, немец осторожный,
Прильнув, как подобает, к автомату.

Но время позднее.

Прощанье, вздохи
И суета как бы под крышкой гроба,
И непонятно, почему дружили.
И девушка в очках идет со мной.
— Зайдите! —

говорит она спокойно,
И через однорядые переулков
Приходим к ней. Всё очень конструктивно.
И скрытый свет. И тоненькое кресло.
— Хотите позабавиться?

— Не стоит. . .

— Мне двадцать лет, и я совсем здорова! —
Тут, как в больнице, всё обнажено,
Как бы звучанье скальпелей, и очень
Чего-то не хватает. Звон часов,
И простыни холодные, и ночью
Здесь глухо и удобно, как в гробу.
И елочка с огнями неживыми,
Вся электрическая. И тоска.
И «Stille Nacht», то есть святая ночь,
Святая ночь.

Бегущие рекламы.

И морозящее слепое небо.
И улица.

— Ну что же, не хотите?

— Прощайте. —

Всё идут полки за Рейн.
О родина! Ты можешь быть спокойна.
Поют валторны. Трубы продолжают.
«На Рейне стража верная стоит».
Свист флейт и барабаны. Ночь Берлина.
И педерасты-патриоты бродят.
— Когда-нибудь увидимся? Прощайте!

А может быть, и нет! . . . —

Блестят пивные.

Столетье глазки раскрывает шире,
Голубенькие, твердые глаза.

Ну что ж, идите в ночь, ребята злые,
Всё обернется как-нибудь иначе.
Но мертвым — гроб, и нужно жить живым.
И страшно, страшно бьется в потолок
Орел германский, и ему досталась
Плохая старость.

А бессмертья нет.

Однообразно всё, как жизнь растений.
Средина века. Никогда на свете
Такой середины не было, друзья.
История идет железным шагом.
Идут, идут, идут полки за Рейн.

О, карта мира, ветер, посвист флейт,
Железные кресты и громы маршей,
И безнадежность, может быть, расплата,
Кровавое победное гнилье,
Кресты железные, березовые, даже
Бетонные кресты, кресты кривые.
Так до утра. О боже мой, проклятье
Такому городу!

Идут полки за Рейн,
И флейты стонут. И спешит всё та же
Носатая худая проститутка
В мохнатом свитере и шепчет строго:
— Пойдем, я покажу тебе такое,
Что ты еще не видел, я ручаюсь,
И не испытывал! —

Кругом темно. . .

Германия к безумию готова!

1943—1956

169. МОГИЛА АБУ-МУСЛИМА

Во имя Бога, милостиваго, милосердаго,
Скажи: ищу убежища у Господа рассвета
От злотворности того, что сотворил Он.

Коран 113

Случилось это двадцать лет назад.
Три итальянца были в черных бурках
И белых шлемах. Старший хохотал,
Седой как лунь, с пушистыми усами, —
Гидролог знаменитый, консультант,
Приехавший сюда, чтоб поглядеть
Подножья скал на пенистом Сулаке
И подсчитать для нас упор плотины.
Он толстенький был, добрый господин,
С брюшком, коротконогий, черноглазый,
Через плечо висела фляжка с ромом.
Он знал себя и уважал себя,
Построившего двести две плотины
За тридцать лет по всем материкам.
Другой был черен, третий очень рыж,
Подобострастен, гибок. Все втроем
Они заехали в Хунзах нагорный
Заночевать, узнать, что бог послал
В порядке шашлыка, вина и водки,
И завтра поутру скорей вперед,
В туманах зоревых легко ныряя,
Пока шофер сигналит ишакам.

Аварцы, скаля голубые зубы,
Выносят чемоданы и портпледы.
Уже постели пышные накрыты,
Уже вино пылает в четвертях.
И юноша — пижон из «Интуриста», —
Жужжа, как бормашина, переводит.
Стоят огромные, крутые горы,
От белых шлемов в полном изумленье,
И хлопает себя по толстым бедрам
Веселый, седоусый инженер.

А ночь, сказать по правде, так себе,
Неладная какая-то, глухая,

То кинет снегом, то качнет дождем,
То шевельнет минутною луною.
Сидит Хунзах в горах, точка клинок
Луны, летящей в налетевших тучах.
Здесь холодно, и мрачно, и темно.
На плоскогорье он шуршит, как бурка
На дикой высоте, среди ветров.
И ветровая бесприютность эта
Лежит на всем.

И говорит Хунзах
Военным голосом ночной тревоги
И языком сражений и дорог.
Какое-то бегучее величье
Стальной луны летит по темным саклям,
По русской крепости, где в амбразурах
Еще стоят забытые орудья
Оставленных систем, где в батареях
Воняет черным калом человеческим
И голуби живут.

Сидит Хунзах,
Поглаживая бороду седую.
Он видел всё, он перешел века.
Здесь, по преданью, пал последний вал
Великого нашествия арабов.
От Мекки и Медины до Ламанша,
От Мекки и Медины до Хунзаха —
Так шел поток и вдруг окаменел.
Там — остановленный мечом Мартелла,
Здесь — неизвестно даже почему.
Река времен нашла глухую заводь
В Хунзахе горном.

И горят огни
В пяти-шести домах, и горько пахнет
Хвостатым черным дымом очагов.

Побрившись, засмеялся инженер,
Погладил быстро розовые щеки
И жестом полководца пригласил
Стоящих, как вершины, дагестанцев
Присесть за стол, и, черные, они,
Папах не сдвинув, вежливо присели.
Был выдан знаменитый горный пир.

Несли шашлык, жужжащий словно осы,
Люля-кябаб, набитый страшным перцем,
Хинкал, где подчиняется чеснок
Лишь молоку прокисшему и клецкам
С кулак величиной.

Несли форели,
Осыпанные крупной серой солью,
На шампурах горячих. И вино,
Играя цветом, падало в стаканы.
Как описать ту комнату?

Никак.

Лишь окна голубые, крепостные
Да пламенные, грубые ковры,
Что принесли сюда сегодня наспех
По случаю прибытия гостей.
Всё прочее — обычная известка
И лампы керосиновые; впрочем,
Не мне описывать густые тени,
Кивающие мрачно на стене.
Пузатый инженер вознес стакан:
— Я счастлив, господа, что мне пришлось
Быть в этом городе. . . —

Он усмехнулся. —

Весьма достойном! —

Он прищурил глаз

На жалкий фитилек. —

Плотина будет,

Я изучил вопрос. О, я построил
На свете ровно двести две плотины!
Я понимаю толк в таких вещах! —
И переводчик, мясо пожирая,
Слова проглатывая, перевел
Несложный текст. И покачнулись тени.
Как водится, рекой лилось вино.
Со мною рядом пил большой старик
В черкеске черной. Были непомерны
Его ладони, он глотал вино,
Как воздух. И железными зубами
Срывал с костей пылающее мясо.

Качался, веселился инженер.
Благожелательное пламенело

В нем итальянское желанье дружбы.

— Я лично, —

он сказал и осторожно

Скосил глаза на спутников своих, —

Желаю выпить за того, который

Привел мою страну к большим победам,

За полубога и творца людей,

За Муссолини! —

Двое итальянцев

Вскочили, отчеканив каблуками

Высокий тост. Но медлил переводчик.

И дагестанцы, глядя добродушно

На толстяка, как белый снег седого,

Не понимали лживой прямоты

Слов политических.

Повсюду тени

Квадратных бурок и папах аварских.

И ветер чуть подвизгивал в окне.

А инженер потерял усы

И, кровь стакана поднимая строго,

Сказал:

— За реки и за гордый труд

Людей в седых горах великолепных! —

И благородное крыло легло

На этот лоб, тяжелый и усталый.

Был сделан перевод, и встал старик.

— За реки, —

он сказал, —

так подобает!

Творец земных вещей единый бог,

Всевластный, он низводит с неба воду,

И по ложбинам, бурная, она

Течет в долины к пользе человека,

Течением своим вздымая пену.

И вот на том, что люди ставят в пламя

Для расплавления, для высокой цели.

Бывает та же пена — как подобье,

Указанное богом. Ложь и правда

Кипят совместно, но уходит пена,

И остается то, что нужно людям.

Так говорит Коран. —

Он поклонился

И, сумрачный, большую выпил чашу.
Но встрепенулся рыжий человек
И что-то толстому шепнул поспешно.
Толстяк спросил меня, раздув усы:
— Вы, сударь, видели, быть может, дуче?
— Да, —
я сказал.

И вспомнил светлый день,
Неаполь и ноябрь в железных лаврах.
Толпа кричала, выла, задыхаясь,
Объятая восторгом исступленья.
Казалось, что-то грозное свершится
И важное для всех людей живущих.
Казалось, открываются скрижали
И бог придет старинный, одинокий.
Но двигалась в окне автомобиля
Плешина итальянского вождя.

— Я пью за Рим! —

воскликнул инженер. —
За государство наше пью по-римски! —
Действительно, он выглотал вино,
Кровавые в усах висели капли.
И стало мне так жалко инженера,
Пузатого, веселого, седого,
Построившего двести две плотины
И пресмыкавшегося этой ночью
Перед каким-то «римским государством»,
Которое в сравненье не годится
Огромному такому человеку
С таким брюшком и жестами такими.

Фашистская, слепая канитель,
Несчастливая страна, помойный ров,
Куда отбросы падают людские
И поднимаются перед людьми,
Принявши гордый поворот героя.
О, жалкая судьба простых людей!
Чины и ордена, послы и флаги,
Игрушки мерзкие плохого детства.
Но будет ведь еще на свете юность?

И страшно движется телега эта,
Ломая на своем пути великих
И лучших из людей. Ползет, ползет,
А люди все вопят от восхищенья.

Да, я видал его и ничего
Не увидал, не испытал, поскольку
Был человек другого государства,
Основанного Лениным для блага
Всего народа, но не для вождя.
Полет белья на джутовых веревках
И медный профиль в медленной машине
Меня не восхищали. А теперь,
Смотря, как подхалимствует веселый
Пузатый человек, высокий мастер,
Я вспомнил этот день. Но страшно думать,
Иное знание порождает горе,
А горе не приводит ни к чему.

Ну, в общем, все привычно веселились
И поднимали тосты.

Итальянец,

Тот, рыжий, опьяневший, танцевал.
Глядели дружелюбно дагестанцы
На этого мерзавца в желтой куртке.
В часы такие людям мало нужно.
Танцует — значит, милый человек.
Он танцевал один, то разгибая
Коленку в бриджах, то опять сгибая,
Помахивал, как водится, руками,
Подергивал, как водится, плечом.
Ну, значит, пир на славу был. Горели
Две лампы, содрогаюсь язычками,
И дуло в окна ветром плоскогорий.
Тост поднимал пузатый инженер,
Квадратные сидели в бурках горцы.
Теплом манили пышные постели.

— Пойдем, —

сказал старик, и мы пошли
Навстречу ветру, пронося упрямо

Обернутые в шерсть свои тела.

Он мне сказал:

— Ты гордый человек,

Идем с тобой к источнику гордыни,

К завоевателю, к его могиле. . .

Абу-Муслим! —

Он жадно продохнул,

Кинжал заправив в золотые ножны.

Был черен свет. Лишь иногда луна

Выпрыгивала, словно конь арабский,

И сумрак нежный на земле лежал,

Пока вдвоем мы выходили молча

Из крепостных ворот полуоткрытых.

В тяжелый лабиринт седых домов

Мы погрузились. Две жестоких тени

Сопровождали нас. Несло крупую,

И чавкала земля под сапогами.

— Здесь, — он сказал, — когда-то жил

мюрид

Хаджи-Мурат, продавший землю нашу. —

Он плюнул смачно, и луна возникла,

Как будто от плевка, в тяжелых тучах.

Собаки лаяли, воняло скверно,

Ни одного огня. А впереди

Широкий ветер на толстенных лапах.

Поддерживая под локоть, ныряя

В полночных переулках, он провел

Меня в зеленые квадраты света.

Там сакля одинокая стояла,

И огонек мерцал в окне одном.

И ночь стояла, словно серый ангел,

По скалам кинув трепетные крылья.

И было видно лестницу на небе

И духов, ждущих очереди к ней.

Великая сияла ночь кольчугой

Мединской, золотой, как на Пророке.

Мы подошли к могиле полководца

Абу-Муслима.

Глухо и темно,

Ни одного как будто человека.

В передней комнате шуршал камыш,
И во второй шуршал камыш увядший,
А в третьей на окне стояла лампа,
Семилинейная, в подтеках желтых,
И освещала острое надгробье.
И две скамьи направо и налево,
А посреди заваленный платками
И ситцами цветастый, длинный гроб.
И никого. И строго пламенеет
Одеколон, подвешенный на нитках
Вокруг гробницы. Пудра золотая,
И темень лоскутов. Сюда несли
Горянки век за веком, год за годом
Нелепые и скромные дары
Во имя мудрости и бедных песен,
Слагаемых проезжими певцами.

Духи копеечные, желтый блик
Одеколона под названьем «Лето»,
Платок, расшитый крупными цветами,
Мануфактура жалкая скопилась
Над изголовьем этим. И сверчок,
Чуть-чуть подрагивая быстрой ножкой,
Свою пустую песенку заводит.
Что ж, будем жить! Опять стоит стена
Холодная над логовом героя.
И мыши ходят в желтых камышах,
Шуршат. Остановись, немое сердце,
Ты все-таки, как прежде, существуешь?
Ты понимаешь?

«Нет, не понимаю. . .» —

Ответствует беспамятное сердце.

Ты хочешь правды?

Я взыскую правды.

Сижу, смирясь, у гроба полководца.
Ты, вождь племен, в раскинутом бурнусе,
В тюрбане белом, на коне горячем,
Презревший страны, реки, государства,
Водитель мертвый, лег в седом Хунзахе,
А может быть, и не было тебя —

Всё тлен или легенда, как обычно.
Старик сказал:

— Смотри и удивляйся.

Мне говорили, что таких надгробий
Абу-Муслима, древнего владыки,
На свете двадцать, тридцать или сорок.
Повсюду, где учение Корана
Распространяет свет, стоит могила
Абу-Муслима.

Так и быть должно:

Не месту честь, а имени ученья.
Не подчиняйся жалкому подобью,
Ни слову, ни царю, ни государству.
Будь человеком и самим собой.

На небе ходит белая луна.
Стоят над саклями и над Хунзахом
Крутые волны голубого света.
Я поклонился гробу полководца,
Переносящего громаду смерти
Дорогою стальных, чеканных лет.
Проходит мышь по камышам засохшим,
И печка отвечает твердым жаром
На тихий твой призыв, Абу-Муслим.
Здесь остаешься только ты и печка —
Живые существа. А месяц светит,
Выламывая стеклышки в окне.
Ты, человек, устал и распротерся
Перед лицом седых веков.

Теперь

Всё оказалось словно в раннем детстве:
Успи, забудь себя, Абу-Муслим,
Вся память о тебе — в истлевшем ситце.
Смотри, как здесь тепло и ходят мыши,
Шурша в соломе, в камышах, в Коране,
Положенном на белом изголовьи.
Ты человек, и ты таким остался.
Лежи в земле, полузабытый вождь,

То мыши ходят над тобой в соломе,
То огонек мелькнет, дрожащий в лампе,
То тень пройдет, качаясь на стене.

Большая лампа. Спали итальянцы.
Но старый инженер в пижаме красной
По комнате ходил, как часовой,
И сразу останавливался грозно
Перед листом исчерченной бумаги,
Лежащей на столе среди бутылок.
О нет, не добродушен был он,

нет!

Обличье благородной хищной птицы
Сквозило в плавных, тающих движениях,
Когда он подходил к листу и трогал
Карандашом невидимую точку.
И не было брюшка у инженера,
И был он длинноног и остроглаз.
Да, он творил, он горы раздвигал,
Сужал ущелья, сдерживал потоки
И посылал их после в глубь долин.
На лбу огромном прыгали морщины,
Он левый ус закусывал зубами
И вновь ходил, ходил, как бы танцуя,
Притрагиваясь злым карандашом
К безвольно распростершейся бумаге.
Огнем горела красная пижама.
Он брови хмурил, старый красный демон,
И сила творчества стирала в нем
Всё жалкое, наносное, чужое.
Он был владыкой всех земных вещей,
Пронзительно-отчетливым и мудрым
И не заброшенным в седой Хунзах
От миртов и олив своей отчизны.
Не итальянцем был он и не русским.
Он двести третью увидел плотину,
Он был один сейчас на целом свете,
Не подчиняясь лести и корысти,
Не убивая, не тираня толпы,
Забывший о себе, о краткой жизни, —
Он просто был

творящий человек.

1943—1956

170. ДВЕНАДЦАТЬ НОЧИ

В двенадцать ночи тяжек темный Лувр.
Едва подсвеченные фонарями,
Громады камня медленно уходят
По всем ночным законам перспективы.
Холодная колеблется луна
Так далеко от родины. Февраль. . .
Что ж, докурить полупустую трубку?
Дождинки в желобах ведут игру:
Тук-тук. . . Ответствуют дождинкам крыши
И серые, как мыши, тротуары.
И канареечных цветов обои
С большими точками и васильками
Мне тоже говорят:

«Тук-тук, засни!»

Заснуть? Не стоит. . . Вспоминать? О чем же?
Ведь знаешь, старина, что отдохнешь
Когда-нибудь в неведомой могиле.
А всё ж не верится. . .

А всё же дождик,

Уныло падающий на панели,
Как часики тоскующий, тик-тук.
И сырость лезет, ежась, словно нищий.
Куда идти?

Иду, пальто накинув,
Так, через улицу, совсем пустую,
В шумящий сад, холодный Тюильрийский.
Там лавры жестяные шелестят
И памятники влажные взирают.
Сидят, склонясь, угрюмые фигуры,
То женщина в отчаяньи глубоко,
То шантажист иль капитан разведки —
Многозначительный спокойный рот.
Куда же, люди, вам еще тащиться?
Вы, преданные, проданные братья,
Потомки первозданных обезьян.
— Во что вы верите, мадам?

— Не знаю.

При чем тут вера? Я ищу покоя.
— Вы, господин, крутящийся в пальто,

Вы ищите чего?

— Ищу расплаты
За жизнь мою, но некому платить.
— Расплата будет, сударь, не печальтесь,
Кассир найдется, приготовьте деньги!

А через мост, гудя, летят машины,
И Сена плещет мелкими волнами.
Идет галдеж в Палате депутатов.
Осыпан воплями режим колоний.
— В них должен править белый человек,
Отечески умно и беспощадно.
Кем править?

Править дикими детьми,
Цветными, грубо чувственными, злыми,
Без нашего всезнающего бога,
Без воли, без поэзии, без смысла,
Без признаков истории всемирной.
Для них безумцы требуют свободы.
Кто он — тот получеловек на рифах?
Дикарь, развратный, пьяница-язычник,
Живущий гнусно в пальмовом раю.
Таити — к черту! Паумоту — к черту!
Болтающий Мадагаскар — давить!
.. Незыблемо должно быть всё на свете,
Всё неизменно в твердости немой! —
То хлынут, то отхлынут коммунисты,
Кидаясь, протестуя разъяренно,
Стуча пюпитрами. Крича до хрипа,
Министр взлетает, поправляя галстук:
— Доверие правительству! Доверье!

— А вы, простите, там, на той скамейке
В сыром, бессонном Тюильрийском парке,
Вы ищите чего?

— Ищу доверья
К любым, слепым законам естества.
— Я, к сожаленью, должен сообщить,
Что это устарело и бесплодно!
А вы? ..

Но нет, у вас я не спрошу
.. Ни слова, ни ответа, ни желанья! .. —

Согнулся на скамейке, глядя вдаль
Невидящими, темными глазами.
Миры, крутясь, проносятся в мозгу,
Вселенные, клубясь, на части рвутся.
Чуть седоватый.

Уши зажимает
Ладонями холодных, длинных рук.
И слышит он в глухих ушах зажатых
Как бы щелчки влетевших электронов
В стеклянной трубке Гейгера. И видит
Движенье стрелки счетчика.

Лавина
Мятущихся частиц незримо мчится
В одну стомиллионную секунды.
Владеет им то самое —

оно,
Великое предчувствие открытия!
Деленье атома. Распад ядра.
Взрыв нестерпимый, беспримерной силы —
Жизнь человечества иль смерть его?
И всё в его мозгу.

Вот здесь.
За стенкой
Чуть теплой кости.

— Прав был Резерфорд!
Мы овладели дьяволом распада,
Как силой творчества иль разрушенья.
Он думал — полстолетья отделяет
Нас от мгновенья этого.

Неправ
Был Резерфорд!
Прошло всего два года,
Как умер он. И вот я у порога!
Еще единый миг — я всё пойму.
Со мною Бор и Планк, со мною вместе
Ферми и оба Жолио-Кюри.
И те же силы, силы адских недр,
Спешат в лабораториях Берлина
Неумолимой поступью науки
Весь микрокосм доверить палачам?!
О боже мой, какая боль в мозгу!
Мадрид расстрелян. Мюнхен торжествует.

На венских площадях горят костры.
Но я стою у самого порога.
Еще единый миг — я всё пойму.
Я тех опережу.

Со мною правда.

Меня ты слышишь, памятник Пастера,
Биолога, спасителя людей?
Я всё пойму сейчас!..

Со мною все,

Кто верит в человечество. Громады
Людских умов. Нахмуренные брови.
Седые головы. Эйнштейн, ты слышишь?
Растут, растут в ушах щелчки ночные
Из Гейгерова счетчика.

Теперь

Что в этих импульсах?

Биенье мира

Или далекий взрыв атомных бомб?

Я у порога!

Прав был Резерфорд!

Он поднимает жесткие глаза.

В них свет фонарный пламенеет дико... .

В двенадцать ночи тяжек темный Лувр.

Шумят бесстрастно жестяные лавры.

Мадонна — чистый абрис в лунном свете,
Огромные свинцовые ресницы.

— Вы просите?..

— Мне хочется весны... .

— Весна придет, мадам, как подобает,

Но не для вас, а вам рекомендую

Глотать февральскую гнилую сырость,

Поскольку это, к сожаленью, жизнь!

Какой уют сейчас в подлунном мире,

Хотя луна ныряет и темнеет!

Мадам, мадам, я смог бы вместе с вами

Прожить большую жизнь, качая деток,

Да всё на свете мчится мимо, мимо.

Неважно, где найдешь, где потеряешь.

Случайность и закон — одна расплата

Перед железными зрачками смерти.

Прощайте, господа.

Я понимаю,
Что это только середина века,
Что впереди и позади меня
Такое же количество столетий,
Что люди в общем правильно играют,
На смерть надеясь, смерти опасаясь.

Всю ночь сидит Палата депутатов
И обсуждает распорядок зла.
Виляют краснобаи, поднимают
Порывисто бессовестные руки.
И, черт возьми, тут восстает белесый
Поджарый адвокат — ругатель негров.
Дантончик молодой кидает пальцы
На бешеные рожи депутатов.
И через Сену, жадно полыхая,
На этот берег светлоглазый рвутся
Свирепые, как смерть, плакаты партий.
И никому в Палате не известно,
Кому придет расплата в эту ночь.
Все жить хотят —

и это, в общем, верно,

За счет других —

и это не новинка,

Все бьются, словно мухи о стекло.
Подлец или пророк равно мелькают
За стеклами Палаты, понимая,
Что это всё же жизнь и потому
Необходимо взмахивать руками.
Проклятье вам!

Мне подлинно известно,

Что будет принят всеми голосами,
Но вопреки охрипшим коммунистам:
— Колониям, колониям свободу! —
Большой бюджет колониальных войск,
Что все равно обманут счетовода
Иль дедушку в Бургундии обильной.
Что ж, двойке, как всегда, двойной платеж!

Беспечный дождик, голову склонивший,
Ведет свои беспамятные речи,

Как гробовщик, опять стуча: тук-тук.
И холодок ныряет под фуфайку.
И два часа:

Ну что ж, настало время.
Пора идти на бал цветных людей.
И двери отворяются, и сразу
Встает стеной горчичный запах пота.
Ломая руки, падает джаз-банд.
И очень пыльно всё. Как будто пылью
Благословили стулья, и подмостки,
И самый воздух, будто эта пыль
На черных лицах пудрой посветлела.
В гигантских залах крутится толпа.
Яванки в полыхающих ресницах,
Кубинцы — чернохромовые парни,
Курчавые, как пена, самоанцы,
Гавайцы, золотые от разлуки,
И полосатые штаны мулатов,
Которых подчиняет саксофон.

Идет, идет стрекочущая румба,
То будто бы умрет, то оживает,
То засинеет пламенем прибоя.
А дождик в желобах твердит: тук-тук!
Ты, румба, словно рыба, бьешься в полночь.
Проносятся коричневые пары,
Откинутые плечи таитянок,
Тоскливый пот протертых пиджаков.
Как бабочки, летят и выются пары,
Лишь на мгновенье твердо прикасаясь
На перепутьях ночи в поздний час.

Какое зрелище! Какие губы!
Какой смертельный поворот надбровий!
Другой народ, другое исступленье.
Все выделенья влажной темной кожи,
Осмысленная сила сухожилий.
Великолепный бал цветных людей.
И словно ветром золотой Гвинеи
Несет по залу.

Лампы стекленеют
И падают, кусками раздробляясь,

На полнолуние влажных темных щек.
Здесь рушится сверкающий оркестр
И барабаном бьет. И еле-еле
Горит в раструбах золотое пламя.
Какая румба!

Тысячи сердец
Сверкают, ознобясь и упадая.
Всё тот же непонятный нам напев,
Мяукающий, островов Молукских.
И нужно жить, и некогда желать
Какого-то немислимого счастья,
Лишь румба, румба и тугой полет
Летающих лодыжек, черных туфель.
Земля, земля! Ей нечего скрывать,
Она равно рождает цветнокожих
И белых нас, и снова говорит
На языках дикарских барабанов.

Левица в желтом окруженьи шелка,
Откидываясь, обещает правду.
Но разве это правда?

Мимо, мимо!

Ее сухие ноги дьяволицы
Железным ритмом бешено одеты,
Высокий негр чернеет рядом с ней.
И всё, светясь, уносится случайно,
Как вихрь, мятущий землю плавным кругом.
Раздвинутые зубы, волны пыли,
И дудочка какая-то пищит,
Круженье, запрокинутые брови,
Едва заметные на темной коже,
Дешевые стекляшки ожерелий
И удивленье на ребячьих лицах
Перед вершиной танца, перед громом,
Извечно означающим конец.

Всё сумасшествие беспечных красок
Цветных людей, цветного опьяненья
Летает исполинской каруселью,
Тоскуя на минуту, припадая
На грудь чужую, и опять гитары
Гавайские берут танцоров ноги

И поднимают каблуки над полом,
И, оторвавшись, каблуки сверкают,
Спиралью возносясь всё вверх и вверх.
Угрюмым жаром дунуло в ночи.
Здесь страсть, и ритм, и черный отсвет жизни
Слились навек в такой суровой мере,
Что образуют ясные фигуры
Древнейшей геометрии людской.
Зеленые штаны, штаны в полоску...
Разметанные галстуки на шеях,
То низенькие люди, то большие,
То девушки с прекрасными руками,
То скачущий червонногубый негр,
Отчетливый жестокий запах тела
И посвист спирта из тяжелых ртов.

На маленьких гитарах приплывает
Прибой стотонный, молотящий берег.
И парень голубой сидит на рифах
Под голубой расплавленной луной.
Вокруг него потряхивают волны
Свирепыми, веселыми кудрями.
Он говорит на струнах укалеле,
И только эта ночь ему дана.
Качают пальмы мудрыми листьями,
Выходят сны из раковин жемчужных,
И девушка, как облако ночное,
К нему приходит тихо в этот час.
Вращается скрипучий круг вселенной,
И маленькие пальмовые боги
Сидят повсюду, жмурясь, на песке.
Тяжелый рыбий запах океана
Чешуйчатым огнем вскипает снизу.
И вот внимают юноша и дева
Слоновому движению валов.
И маленькие боги наших предков
Благословляют золотое ложе,
Где в черной муке, в мерном содроганье
Затеплится привычный сын земли.
И только голосочек укалеле
И рокот жаб полупудовых веют
Над этой новой формой бытия.

Остановилось всё в середине румбы.
И только каблуки стучат, как дети,
На перепутье, на кресте событий.
Цветные люди пляшут, как поденки
Над фонарем, раскидывая крылья.
Здесь ни печали нет, ни отвращенья,
Беспамятство.

Саргассовы моря...
Ни памяти, ни злобы, ни расплаты.
Другая жизнь, другое море света,
Истории здесь не было и нет.
Надменная, она не достигала
До этих берегов, до этих рифов,
До их детей змеиными зубами.
Историю им заменяли сказки,
Легенды океанских берегов.
Они копили зло и превращали
Бессмысленное зло в большую правду,
Они копили правду, и вставала
Над океаном Дева берегов,
Дарящая любовь и поцелуи,
Сидящая на известковых скалах,
Единственная на земле Венера
Прибоев, рифов, аспидных акул...
Из бедности и огненного горя
Они творили жизнь рукою страстной
И, вырванные горем из забвенья,
Пришли, чтоб нашу участь разделить
В истории всего земного шара.
Своею волей и своим умом,
Своим душевным, необычным ритмом
В наш мир они войдут, чтоб управлять
Своей судьбой по собственному праву,
Собою украшая шар земной.

Так где же ты, полдневная Венера?
Она служила в темном магазине,
Где продавал купец табак и трубки.
Большая, золотая, как тростинка,
Танцорка, таитянка, легкий лик.
— Давайте с вами погорюем вместе
Не в первый раз, но, может быть, в последний.

Вы уезжаете?

— Я уезжаю,

И навсегда! —

Коричневые руки

Ложатся возле щек. Цветок прощанья,
Кого хотела ты, кого искала?

Зубастый парень восстает из мрака.

— За Дорио! — кричит он. — Люди, люди! —

И подымает на помост его

Какая-то оскаленная морда.

— За Даладье! —

И льется легкий вальс,

Слетают агитаторы со сцены.

И никому вы, собственно, не нужны!

А девочки, как бабочки, летают

Крутой волной, просвечивая крылья,

Эфемериды, легкие созданья!

Летят по залу быстрые шары,

Оранжевые, синие, седые,

И вдруг рука, объятье, поцелуй. . .

Уходит бал как будто в медный сумрак

И вновь плывет, как рыба изгибаясь.

О, Этьенетта, девочка, идем!

Здесь столько раз плясали мы с тобою.

Мне душно здесь, мне не хватает воли.

Я растворюсь на грани этой румбы.

Но делать так нельзя!

Постой, ты слышишь

Размеренное смертное гуденье?

То барабаны или самолеты.

Наш год — тридцать восьмой.

Она близка. . .

Она сожмет материки земные

В одной, тугой горсти.

Она пройдет

По всем приборам, островам и рифам,

Людей раздавит, пальмы пережжет

И пальмовых богов утопит в море.

Она моторы завела, война!

Так вот когда к немym прибрежьям рая
История всемирная придет!
И может быть, на маленьком атолле,
Где проживали пальмовые боги,
Она мигнет таким безумным глазом,
Что рядом с ним, скривясь, померкнет солнце.
Об этом взрыве думал человек
Там, в Тюильрийском полуночном парке.

Быть может, это только наважденье,
Одна печаль, одно исчадьe танца —
Подмостки, лампы и потом из мрака
На рынках пасмурных, на грудях мяса
Жестокая бедняцкая забота —
Та середина века, та тревога,
Которая понятна в грозных снах.
Идем, идем,

как пыльно всё и тускло.

Все эти краски и куски джаз-банда,
Квадраты, треугольники косые,
Фигуры, приносящие покой.
Ты, таитянка, светлячок из мрака,
Идем на рынки, ты должна покушать.
Там фейерверком плещут груды мяса,
Колонны раков возникают строго,
В пучках тоскует, как свирели, спаржа
И в клетках куры лапками стучат.
Идем с тобой среди дыханий моря,
Среди дыханий мяса и среди
Дыханья овощей, как ночь холодных.
— Ты уезжаешь, милый?

— Уезжаю...

— Ты призван, милый?

— Да, как будто призван!

Я призван временем грядущих войн
И нашим огненным двадцатым веком.
Но это всё бессмысленные шутки.
Я призван, призван!

— Ну, тогда прощай!

Дарю тебе, любимый, два браслета,
Стеклянные и тонкие. Смотри,

Обычные браслеты таитянки,
Кто их наденет, будет вечно твой.
Дарю тебе стеклянные браслеты
Прощанья, верный дар моей разлуки.
Не мне тебя сдержать — отдай браслеты
Той, кто тебя на счастье позовет.
Заколдовала я старинным словом
Браслеты эти, легкие стекляшки. —
Любимые коричневые губы
К браслетам светлым ночью прикоснулась.
И подала она браслеты эти —
Один лиловый, цвета аметистов,
Другой топазовый, ценой копейка,
Изделие кантонских мастеров.

Уехал я, забыл.

Закрыв разлуку.
В моей руке лежали два браслета,
Два солнца, две орбиты мироздания.
Одну из них моя жена сломала,
Другая, как всегда, досталась дряни.
А третьей нет.

Тут началась война.

1943—1956

171. СКАЗКА О СНЕ

Вот будто бы большие марши лестниц,
Площадки, двери золотого дуба,
Тяжелые стеклянные плафоны
И медные дощечки с именами.
А лифт идет, идет всё вверх и вверх.
Так мягко, так неслышно он восходит,
Как бы во сне.

Да, это правда сон.
На сколько этажей я поднимался,
Не знаю точно. Огненная шахта
Внизу всё опускалась.

Было поздно.
Да, очень поздно. Может быть, под утро.

И никого.

А впрочем, на площадке,
Которая во сне прплыла мимо,
За круглым полированным столом
Сидели двое, очень молодые,
Держа друг друга за руки. Бесстрастно
Они во сне упали в пустоту.
Я лишь заметил алый переплет
Знакомой, нужной, непонятной книги,
Которая лежала на столе.
И всюду были алые дорожки,
И кот сидел, спокойно понимая
Причины сна.

Он медленно уплыл
И заменился стариком высоким
В распахнутой косматой безрукавке.
Он закурил, как прежде, папиросу.
Я знал его когда-то. Я спросил:
— Где здесь живет... —

но не окончил фразу:
Ведь я забыл, как звали ту, которой
Я говорил о гибели вселенной.
Ведь это было из другого сна,
А этот сон был главный.

Очень мало
Осталось времени. Старик усатый
Уставил молча на меня глаза,
Светящиеся бессловесной болью,
Нечеловеческим простором.

Строго
Он указал наверх и вмиг упал
Всё в ту же полную огнями пропасть.

А время билось, словно птица в клетке,
Золотоперая, раскрывши клюв,
Торжественно и жадно умирая
В легчайшем воздухе, нагретом и сухом
От мерного тепла калориферов.
Конец, конец! Как передать томленье,
Необходимость, единичность жизни,
Всю силу, что во мне, крутясь, шумела
И требовала только двери, двери.

Быть может, сорок этажей упало,
Быть может, началось бы всё сначала,
Как вдруг я увидел ее. Она
Не отличалась от других.

Далёко

Ударили часы. Пронесся ветер.
Я крикнул что-то. Лифт остановился.
И я узнал, как прежде, эту ручку
Лилового фарфора, половик
И кнопку от записки, что когда-то
Я приколол. Она, она, она!
Я оглянулся. Снизу шел, мурлыча,
Спокойный кот в сверкающих манжетах.
Ну что ж, звонить?

Неужто есть на свете

Двойник моей души?

Неужто я

Сквозь сорок лет прошел, чтобы под утро,
В тот час, когда кончается планета,
Увидеть эту женщину и вещи
И, может быть, тот голубой стакан,
Который мне так полюбился с детства?
Решайся! Ты здесь был! Однажды ночью,
Качаясь после шумной вечеринки,
Ты пел за этой дверью о форелях,
Святую песню Шуберта ночного.
Кот подошел и сел, водя глазами.
Я позвонил.

Вдруг сразу всё потухло —

То выключили свет. С конца земли,
Откуда-то из самых главных сказок,
Из коридора возле синей ванны,
Послышались шаги.

Упало что-то

Похожее на трость. И дверь открылась.

— Вы здесь? —

спросил меня забытый голос. —

Давайте руку, не споткнитесь, тише,
Я уронила палку, здесь темно. —
Мне не хватало воздуха и горя.
Я обнял плечи и легко заплакал.

— Не надо, милый мой, я знаю всё! —
И две руки упали мне навстречу.

Она была, как прежде, высока,
Шутлива, беспощадна и пушиста.
Но я во сне не видел ничего,
Лишь тьму и тьму и тоненькую стрелку
Пронзительного света в коридоре.
Но всё: и грудь ее, и лоб, и локти,
Прохладные ликующие зубы,
И древний запах тела в темноте —
Всё было словно при начале мира.
Вдруг зазвонил во мраке телефон
Уверенно и громко.

Я смутился.

Но очень звонко, очень равнодушно
Она сказала в темноте:

— Алло. —

Далекий голос зашуршал в мембране.
Она ответила, чуть-чуть помедля:
— Я знаю всё. Со мною мой двойник.
Я не боюсь. Прощайте, и навеки. —
И положила трубку,

и тотчас

Взяла меня за палец, как бывало,
И повела на тоненькую стрелку
Пронзительного света. Очень сладко,
Чуть-чуть печально пахло в коридоре,
Как будто детством или даже елкой,
А может быть, свечами восковыми
И платьем маминым, а может быть,
Уютом мира, булкой. . . Нет, не то!
А телефон опять звенел в передней.

И сразу отворилась дверь,

и сразу

Увидел я тот голубой стакан,
Играющий, как пламя, в легких гранях,
Увидел всё, что нужно было видеть:
Остывшие подушки на диване,
Спокойные рисунки по стенам,

Исполненные сепией суровой,
Отброшенное платье, тени, маску
Петра Великого с непобедимым
Квадратным, плотоядным царским ртом.
Горел на стуле белый ночничок,
Будильник замолчал, остановившись
На четырех часах. Чернели окна —
Мертвы, затемнены, как полагалось
В сороковых годах.

Совсем беспечно

Взглянули на меня глаза сухие,
Как бы подернутые темной пылью.
Она была в одной рубашке.

Тело

Так золотилось, будто бог зажег
В нем на прощанье золотую лампу.
Была рубашка в тех тугих морщинках,
Которые, как жилки желтых листьев,
Обозначают осень и усталость.

Из бездны времени, от первой шуки,
Что я поймал в реке Протве холодной,
Во мне возникло злое нетерпенье
Последней ловли. Поднималось тело
И плавало в пространстве. Поднималась
Во мне рыбацкая мужская сила.
А женщина, качаясь, уплывала.
И я схватил ее, и только боком
Почувствовал удар стола. Потом
Пришло молчанье, темное, как завязь
Плодов на диких яблонях. Потом
Всё осветилось триединым светом
Последней судороги. А потом
Вошло в нее немое семя жизни.

Она поджалась, плача иступленно,
Как маленькая птаха. Сжав колени,
Она застыла, каменя дико,
Как бы обломок погребенных рас.
Третью жизни я провел во сне.

Не знаю,

В каких долготах мира я скитался
Во время этой трети беспощадной —
Правдивой или полной темной лжи.
Но только ты, моя ночная рыба,
Но только ты, моя ночная встреча,
Прорезали ножом неторопливым
Глухую толщу всех земных вещей.
. . . В пещеру сна вползали волчьи морды,
Горел костер из черных головешек,
Снаружи дуло предрассветной мглой,
Медведица Большая полыхала,
В первоначальных небесах играя,
И падал в безымянные озера
Падучих звезд искробегущий дождь.
Дышали топи арумом и гнилью,
Кричали квакши, падала роса. . .

Кто справится, скажи, со скоростями,
Которые мы вызвали?

Кто сможет
Незыблемый наш охранить уют —
Уют любви, уют простого платья,
На кресло кинутого? Кто поймет
Ту силу, что мы вырвали из мрака
Во имя жизни иль во имя смерти?
Мы пробудили тайники вселенной.
Грозит ли нам погибель или нет,
Погибнем мы иль нет, но мы владыки
И золотую ветвь передадим
Другим мирам во имя вечной жизни.

Младенец закипал в ее утробе.

Она промолвила:

— Детей не будет,

Не бойся, милый! —

И открыла шкафчик

И вынула бутылки и до края
Мой голубой наполнила стакан.
Мы чокнулись. Сползла ее рубашка
Косым углом по выгнутому телу.
Какие-то куски холодной пищи

Лежали на тарелке. Ели жадно.
Дотрагивались, гладили поспешно
Друг друга, и опять вино в стакан,
И теплота, дрожа, катилась в жилы,
И маленькая ниточка казалась
Залогом жизни, и летучий звон
Ночных стаканов раздавался сразу,
Заканчивая начатую мысль.
Кругом теплело, зашумели листья
На пепельных обоях. Шел старинный
Двойной необъяснимый разговор,
Когда вот-вот колено, вот ресница
Вдруг колыхались плавным наваждением
И призывали говорить о детстве
Или упасть в постель.

— Его не будет! —

Она сказала, засмеявшись. —

Надо

Забыть о будущем, оно исчезнет,
Исчезнут и могилы, и преданья,
И самый смысл поступков на земле.
Пришла пора неведомой разлуки.
Исполним гимн, налей стаканы, встань! —
Прошла секунда.

Шелохнулись тени,
И темная шкатулка заиграла
Серебряную Шуберта «Форель».

То карлики всем легким горным скопом,
Вытягиваясь в колпачках пунцовых,
Слезам обливаясь, запевали
Святую песню о веселой рыбке,
Летающей, ныряющей, звенящей
Под молоточком на прозрачных струнах,
В дубах и соснах, в мхах неторопливых
И ясенях и буках черноствольных,
В зеленых струях белогривых речек,
По камешкам, по камешкам шуршащим,
По маленьким стальным ребячьим арфам.
Летает рыбка, вьется рыбка, пляшет.
Ремесленники с черными руками,

Услышав легкий звон, бросают пилы,
Долота, молотки.

Всё выше, выше
Летит форель по склону водопада,
Как подбаёт мужеству людскому, —
В паденье подниматься до предела,
Поднявшись, падать на седое дно.

Стояли мы, как верные солдаты.
Стальными неживыми голосками
Шкатулка плакала.

Четыре раза
Ударили часы. Будильник ожил
И прозвенел четыре раза.

Дальше
Часы забили медленно и твердо,
И в страшном отдалении, разгибаясь,
Рванулись, взвыли, загремели трубы,
Гигантскими толчками поднимая
Летающие к зениту голоса.
Посыпались шаги сухим горохом
По переходам, по изломам лестниц,
Стучали в дверь, кричали, как бывало:
— Воздушная тревога. —

Нажимали
Фарфоровую ручку на парадном,
Дубасили, орали вновь:
— Тревога. —

И убегали, словно крысы, вниз,
Всё вниз и вниз, до самой преисподней.
Волна катилась за волной.

Мигнула
На стуле лампочка. Не торопясь
Позванивали трубы отопленья.
Тут я спросил:

— Воздушная тревога?
— Нет, — молвила она, — уже конец. —
И подошла к окну и вдруг кошачьим
Жестоким, хищным жестом сорвала
Весь коленкор, натянутый на раме,
И отворила створки. Дунул ветер

Игольчатый, морозный, полетели
Крупинки сажки.

Отворилась дверь,
И кот вошел в манжетах белоснежных,
Уставя очи прямо на окно.

Я грудью лег на пыльный подоконник:
Вверху, внизу и посреди была
Лишь серо-синяя пустая бездна —
Ни улиц, ни домов, ни мостовой,
Ни облаков, ни дна, ни горизонта.
Мне не хватало воздуха, и сердце
Уже несло огромными прыжками.
Тогда возникла медная луна,
И поперек нее прошли поспешно
Три шарика — какие-то планеты
Иль спутники — и, добежав до края,
Исчезли, чтобы снова появиться
Через мгновенье в левой части диска.
Так продолжалось быстрое круженье
В беззвучии таком непостижимом,
Что даже звона не было в ушах.
Давно я это знал, и всё же страшно
Мне стало в ту минуту, и не очень
Хотел я смерти.

— Вот и всё, мой милый.
Простимся, время кончилось.

Гляди!

Там, в глубине иль вышине, не знаю,
Проплыли тени птиц, иль самолетов,
Иль демонов на сероватых крыльях,
Безмолвно, тускло, будто возвращаясь
С бомбардировки отдаленных звезд.
Передний взмыл и начал подниматься.
Она метнулась быстро к ночнику
И выключила свет.

— Я опоздала,
Они нас увидели! Мы одни
Еще остались, остальные люди
Уже ушли. Теперь налей вина! —
Все десять самолетов шли к зениту.

Вся комната была в далеких вспышках
Неведомо откуда долетевших
Зенитных выстрелов, совсем неслышных,
Стаканы звякнули, вино вскипело кровью.
Мы сразу оглянулись. На тарелках
Еда лежала. Кот, слегка ощерясь,
Глядел в окно. Зеленые глаза,
Как блюдечки, катались возле носа.
Лежало платье в мягких очертаньях
Уюта и бессилья. Но подушки
И скомканные простыни хранили
Следы тепла, любви, разлуки. Жадно
Я выглотал вино и задохнулся.

— За эту землю, —

так она сказала

И выпила до капли, —

за тебя,

За этот дом, последний во вселенной!

Нужны мы были или нет?

Нужны!

Но даже если ничего не будет

От нас, и в прах рассыплется планета

Через секунду, и померкнет свет,

Пусть миллиарды будущих веков

Услышат на других кругах вселенной,

Что жили мы, любили мы, владели

Всем мирозданьем в горестном мозгу,

Что всё прощала я, но не прощала

Предательства и горечи его,

Что это грех последний и бесплодный!

Ударили раскаты труб. Луна

Подернулась седым летучим пеплом.

Над нами шел косяк машин.

— Пора! —

Она стояла рядом, не дрожа

От холода иголок межпланетных.

— Бросай стакан! —

она сказала,

я

Далёко бросил голубой стакан,

И он поплыл, сверкая в легких гранях,
К трем спутникам мертвеей луны.
Прижался кот к ее босым лодыжкам.
Лицо ее так дивно изменилось,
Как будто в нем запела вся земля,
Уже летящая холодной сажей
Бог знает где.

Но грубо на стене
Смеялся Петр победным складом губ,
Тяжелой государственной улыбкой,
Не верящий на свете ничему.
Он приоткрыл глаза. Всё почернело.
Продолговатая густая тень
Мелькнула сверху вниз, сирена взвыла,
Переместилась плоскость потолка.

— Любимый, вот последняя минута!
Жизнь беспредельна. Я не верю в смерть.
Мы, люди, в мире не напрасно жили.
Грешно мы жили, вдохновенно жили.
Во имя человечества будь твердым.
И если будет память, не забудь!
Но память будет, будет, будет, будет! —
Снаряд прошел безмолвно, словно рыба,
Сквозь потолок и пол и преисподню.
И всё обрушилось.

И вспыхнул свет.
И трубы, трубы, трубы заиграли
Серебряную Шуберта «Форель».

1942—1956

172. МОСКВА. БОМБАРДИРОВОЧНЫЕ НОЧИ

Всё это рассказал мне подполковник,
На Одере убитый в сорок пятом.
Он, вспоминаю, был большой мечтатель,
Задумчивый, красивый человек.
— Я, — говорил он ровным баритоном, —
В Москву приехал с фронта, с порученьем.

Вломился грязный прямо в главный штаб.
Успел я за день сделать всё что надо.
Машина шла обратно завтра утром,
Остался вечер. Пустота квартиры,
Бумажки в коридоре, телефон.
Тогда и началось всё наваждение.
Три раза я снимал и вешал трубку
И позвонил.

Ответила она...

По набережной с низким парапетом
Мы только двое шли. На всем пространстве,
Прибрежном, серовато-голубом,
Мы были одиноки в тихом свете
Московских сумерек.

И только искры

Очерчивали крест на колокольне
Великого Ивана в белых ризах
Да командир прошел, отдавши честь.

И было двое нас на целом свете,
Мы за руки холодные держались,
И чайки стайей мчались по реке.
Все окна в затемненье. Поставные
С противогазами.

Хвостом павлиньим

Немая раскрывается заря,
Заря вечерняя, цыгански-золотая,
И раздавалась над Москвой-рекою
Размеренная поступь часовых.
Рука в руке. Велюровая шляпа.
Приподнятые плечи. Полутени
Над загорелым и широким лбом.
И девочка, зеленая стрекозка,
Ко мне так прижималась и сверкала
Раскосыми, зверьковыми глазами.

А немцы, грохоча, неслись к Москве.
Чего они хотели? Сжечь ее!
Взорвать закат над белой рекою.
Шуршит и плещется Москва-река.
Мы поднялись наверх.

Звонок и дверь.

Балкон, горошек, хмель и повилика.
Огромная бетонная площадка
На третьем этаже. И журавли
Над затемненной Москвой несутся.
А в комнате рояль и по порядку
Развешанные красные ковры.
Всё правильное, прочное, густое,
Без всякого особенного смысла.
Не я ли целовал ее весной
В Сокольниках, среди берез сквозистых,
Лихим вином запенивал стакан
За честь ее, за молодость и гордость.
Тогда ты танцевала, как стрекозка,
Стуча по грубым доскам каблуками.
Ты — молодость моя, ты — повилика!
И это всё тогда пришло ко мне,
Как русская весна и первый зяблик.
Огромное пространство над Москвой —
Пустынный вечер, серые предметы
И затемнение мертвое на всем.
Ты как бы прилетала издалека —
Из-за озер, из-за лесов весенних —
И опускалась звонкою стрекозкой
На голубой балкон, балкон бетонный,
Чуть трепеща и прямо в руки мне.
Хотел я вновь понять твои черты,
Россия затаилась в темной дымке
Монгольских глаз, в той статности породы,
Которую от Волги не отнимешь,
И тихий Дон скользил в твоих губах.
В тебе так много от моей России,
Ты слышала на сумрачном балконе
Лавину отходящих корпусов.
Взошли большие звезды над Москвою.
Рука в руке.

Как много маргариток,
Душистого горошка, листьев хмеля
В дощатых ящиках — балконных грядках.
Стоим мы на балконе. Ночь идет.
Просил я девушку, просил беззвучно:
«Дай мне слепое нетерпенье жизни,
Оно всегда живет в твоей душе,

Победное, старинное желанье
Всё превозмочь».

Молчанье над Москвой.

Великий город лег перед бомбежкой.

Она стояла, зорко глядя вдаль,
И медленно так говорила, будто
Раскладывала сводки отступленья:
— Ползут, ползут полки Гудериана,
И возле Ярцева идут бои.
Отец приходит злой, тяжелолобый —
Такая среднерусская громада —
И строго говорит:

«Мы отступаем!

Москва, Москва! Невесело тебе!» —
Москва лежит, вздыхая белой грудью,
Прожектор дальний бьет лучом на юг,
Одевши серебром лебяжьи крылья
Пролетных облаков.

И слышно осень.

Пришла подруга — барышня из Риги.
И вдруг раздался черный вой сирены,
Рев паровозов, фабрик и заводов —
Воздушная тревога. Мчатся вниз
По лестницам неизвестные люди.
Подвал кирпичный. Уханье зениток,
И сыплется известка.

Мерно, глухо

Фугаски падают в Замоскворечье,
А девушки уселись возле двери
И быстро говорят.

О чем?

О том же,

О чем болтали сто и двести лет.
Таинственный, неизвестный язык,
Таинственные женские беседы.
Ударит бомба — стены шелестят.

Зовут скорей на крышу командира.
Я лезу по каким-то чердакам.
Стоят, раздвинув ночь, прожектора,
Текут ручьи трассирующих пуль,
Ракеты повисают в красном небе —

То вспыхнет, то опять замрет Москва.
И зажигалки подлые, расплавясь,
Шипят, сверкая на железных крышах.
Кругом растет угрюмый, острый ад,
Пронзающие ночь бегут ракеты.
Слепое пламя ближнего разрыва
Подкидывает тьму. И язычки
Поганые снуют по сизым крышам.
Отсюда видно всё.

Лежит Москва,
Зенитками, как иглами, одета,
Колышутся и потухают зданья,
Неведомые отсветы играют
На полуночных крышах в чехарду.
Вдруг нестерпимый свист тяжелогрудой
Фугасной бомбы.

Холод, и затменье,
И грохот, и удушье, и провалы
Мгновенной, твердой, ощутимой тьмы.
И видны лица всех, кто был на крыше.
И мальчик, тот, что зажигалку сбросил,
Стоит нахмурясь и поджавши рот.

Рассвет над городом, и повторенье
Рассветов над Москвой. Ее печаль.
Москвы-реки сиреневая лента.
И клокотанье города, как будто
В котлах огромных дышит кипяток.
На чердаке попался старый ящик,
Я задремал.

Увидел сон старинный,
Как будто счастлив был в краю отцовском,
И кто-то дал мне руку, и внезапно
Громады звезд надвинулись на землю,
Чтоб раздавить ее объятьем мертвым,
Но первый кочет утром над Ордынкой
Извечным голосом запел зарю.

Отбой и догорающие зданья.
И ощутил я детское волнение:
Мой город, старый мой, какая радость,
Что ты еще, усталый, существуешь!

А сон прошел.

Я медленно спустился
В глухой подвал. Подруги крепко спали.
По лестнице наверх потокомплыли
Измятые, соломенные лица,
Баулы, чемоданы и подушки,
И трудно так и даже неохотно
Замлевшие переступали ноги.
Повсюду бьют, как барабаны, двери,
Ушла подруга, вереща, как векша.
И вышла девушка угрюмо на балкон,
Монголовидами кося глазами.
Уже видны мосты. Течет рассвет,
Пожары поднимаются повсюду —
Солдаты быстро разбирают крышу.
И над балконным хмелем сразу видны
Седые тучи утренней Москвы.

Ты, город мой, осмысленные зданья,
Большие, умные, прохладой налитые,
Измученные за ночь!

Ты, Москва,
Душа народа, совесть государства!
Балкон, вьюнки, садовая скамейка.
А немцы всё ползут, переминаясь
На гусеницах сизых, и лежат
Над русской далью каменные тучи,
А девочка стоит насторожась:
Она услышала гуденье танков.
Рассветный ветер юбку раздувает.
Куда глядят глаза твои косые?
Куда?

Туда, за тридевять земель.
А разве ты — зеленая стрекозка,
Едва-едва, как будто в полусне,
Познавшая свое существованье?
Нет, жажда подвига и недовольство
Впечатаны в твоих лепных губах,
И пальцы ухватили балюстраду.
Она стоит над утренней Москвой,
Вдыхая древний ветерок пожаров.
Вся подалась вперед, всё изменилось

В балованном людьми большом ребенке.
Над сизолапым хмелем и выюнками
Летит лицо, темнее темной тучи,
Угрюмо-волевое, и не знаю,
Какая мысль течет в таком лице.
От корпусов Иванова и Пресни,
От яростных ткачих, от забастовок,
Упрямства смертного, кержацкой воли
Раскольничьих, неведомых скитов
Пришло лицо.

А рожки завитые
И маникюр чертовский, красно-рыжий,
Шифон и туфли — всё дождем сползло,
И только злость, водившая Россию
В години бед, застыла, словно слепок,
На смуглом и нерадостном лице.
Врагу не по душе лицо такое,
Не стоит на него глядеть бесстыдно —
От этих баб курганных смерть идет.

И что в тебе особенного было:
Десятилетку кончила, ломала
Танго на вечеринках мастеров,
Врала отцу и матери грубила,
Американские глотала фильмы,
А поглядишь — и потеплеет сердце.
Порода наша —

нечего сказать!

Напрасно ты, раскосая, зубрила
Журналы мод варшавского издания
И ловкая подружка-чистоплюйка
Тебя склоняла к хитростям своим.
Не ей тебя учить искусству гнева —
Мы в этом деле больше понимаем,
Ребенок, над рассветною Москвой.
А всё же ситцевый проходит ветер,
Он обнимает ситцевые плечи.
Посереди Москвы лежал широкий
Балкон бетонный, полный, словно ситец,
Разнообразных пестреньких цветов.
И девушка стоит, как на кургане,

А немцы надвигались темным валом,
Ревя, неслась в грузовиках пехота,
Мотоциклисты дико стекленели
Лягушечьими, круглыми глазами
У наших русских рек.

И понесло
Оттуда гнусным запахом гниенья.
И, слава богу, ветер пролетел!
Я не сказал тогда тебе ни слова,
Я лишь смотрел, но слышал я глазами
Побольше, чем людская скажет речь.
И было что-то злое и ночное
В твоём обличьи, полное тревоги,
Незавершенное и ждущее ответа.

Ты спать легла за белым коридором.
И рухнул я, к лицу прижав ладони,
На жесткую тахту в ковре узорном
И долго спал, а может быть, недолго,
Проснулся, как дитя.

Рябая роскошь:
Ковры, рояль, диваны и цветочки.
И, словно волк, душа моя завыла
От пониманья, от любви и горя,
От ненависти к тем, кто напоззли
На землю нашу.

Три богатыря
Внимательно глядели на дешевой,
Аляповатой копии.

Куда?
За тридевять земель, за семь морей,
Туда, куда никто не добирался,
Где ключ от родины моей положен
В зарытом, златокованом ларце.
И мне хотелось жить.

И мне хотелось
Одну тебя.

Да что там говорить.
Я должен был тебя хоть раз увидеть,
Понять глазами, всю в душе сберечь

На жизнь, на смерть, на долгую разлуку,
На медленную горечь отступленья.

И вышел я, таясь, на праздник света
В беленый коридор.

И мне казалось,
Что должен я уйти, не беспокоя
Родителей, насколько можно тише.
Такое скромное, простите мне, желанье,
Ну, трусость, что ли, или благородство.
И я был непонятен в этом доме,
Укладистом, ответственном, пристойном.
Я шел по коридору.

Спал отец,
Храпя сурово, по-хозяйски строго.
Все спали, даже кошка у двери.
Я дверь открыл.

Неужто ты проснулась?

Она стояла розовым туманом.
Летело в спину бешеное солнце,
Просвечивая жадно всё насквозь —
Пушинки кожи, голубые жилки,
Кипящую огнем волну волос.
Сверкало солнце возле тонких рук,
Столбом стояло у янтарных бедер,
Охватывало крепкие колени,
Округлое на тонком зное шеи,
Горячее на розовых ушах.
Закинув руки, девушка тянулась,
Потягивалась, будто вырастая,
И скручивала узел на затылке,
Спокойная в своем великолепии,
Лебяжьим холодом светло горя.
Победа наша, наше многолетье,
Бессмертная в начальной простоте
Природы женской,

девочка России.

Вся трепетная, мрачно-золотая,
Пылающая, влажная от счастья.
Ты — наша жизнь, сомненье и любовь,
Природа, чистая, как сновиденье,

Ты — медленные облака рассвета,
Бомбардировочные ночи над Москвой.

Ушел навек я, девочка России,
Уехал я.

Был вечером под Вязьмой,
И поздней осенью узнал случайно
Про девочку — зеленую стрекозу, —
Она на фронт дружинницей ушла,
В огонь и стужу на передовую,
В смертельный жар сраженья под Москвой.
Нет, не пришлось мне с нею повстречаться.
Три года верил я в большую встречу.
Три года дрался и счастливым был.
Я встречи жду! —

сказал мне подполковник. —

Я встречи жду! .. —

он повторил

и встал.

Он был убит за месяц до победы.

1943—1956

173. ПЕРВАЯ СВЕЧА

В то утро он, как нужно, уезжал
В далекий путь, в жестокую дорогу.
Больной и страшный, в мертвой синеве
Подглазников, споткнувшись на пороге
Жилища своего, он отдал тело
Зеленому вагону на дороге,
Набитой выше горла поездами,
Железной, семафорной, столбовой.

За ним вопили вещи — пожалейте,
Не оставляйте нас, мы одиноки,
Возьмите хоть портрет или письмо —
Нам страшно в этом опустевшем доме!
Но хлопал лифт, и люди опускались
С растерянными, грустными глазами
В подъезды, на площадки расставанья.

Лифтерши стыли — хмурые старухи,
Стоящие как будто на курганах
Старинной славы, и желали грустно
Всем уезжавшим доброго пути.

Раскиданные красные матрасы,
Веровочки и трубка телефона,
Наполненная бывшими друзьями,
Остывшей страстью, старым разговором,
Остались позади, и мчался Кремль
К машинам в окна. Был он разрисован
По рыжим стенам как-то очень грозно —
Квадратами и кляксами косыми.
А мокрый снег летел перекрутясь.
Ударили часы на Спасской башне.
Газеты пронесли. Взлетели галки
В суровом Александровском саду.
Прощался человек в машине стылой
Не с юностью ушедшей, не с любовью —
Со всем плохим, что было в прошлой жизни,
Перед лицом всей горечи народа,
Перед лицом своей лихой судьбы.

Вокзал и крутоверть людского горя,
Отчаяньем отмеченные лица,
Удары чемоданов трехпудовых.
Сумятица. И женщину выносят
Парализованную на носилках
И медленно везут по коридору,
Пока она, счастливо улыбаясь,
Как голубь, гукает и говорит
Несвязные слова великосветски.
Он вышел. По случайности была
С ним, полумертвым, в том же эшелоне
Знакомая одна, в большой, широкой,
Богатой куньей шубке. Провожал
Ее хороший, непреклонный друг,
Седеющий, смущенный от притворства.
И что-то слишком медлили они,
Друг с друга глаз дремучих не спуская.
Он мужественным был, седым, красивым.

И коготочком стучала она
В холодное окно и улыбалась.
Всё медлили они, передавая
Друг другу знаки горя и разлуки:
Три пальца, и потом четыре пальца,
И накрест пальцы, может быть квадраты
Из пальцев, и кивок, и поцелуй
Через стекло. И важно он ходил,
Сердечный, славный друг, червонный козырь.
Рвануло будто ветром, и поплыли
Все фонари Казанского вокзала,
И путь пошел, а позади зенитки.
А друг широким шагом шел и шел,
Стуча в окно, показывая знаки,
Пока не зачастили семафоры.
А снег, московский снег, всё шел и шел.
Вагоны грустные легко бежали
В далекие края, стуча по плану
Колесами на стыках рельс холодных.
Все окна были в полном затемненье.
Темно, темно, и только патефон
В одном купе кощунственно и жалко
Наигрывал в ночах глухую румбу.
Актрисы в золотом свеченье пудры,
Строители, и кинорежиссеры,
И академики в костюмах строгих
Ползут неспешно в невеселом снеге
На юг, на юг, в забвенные края.
И, вырвавшись на волю, ржет пластинка,
В платочках ходят молча балерины,
Холодные тоскуют голоса.
И темень, темень ночью под Рязанью.
Открыта штора — и бредет собака,
И отсветы зенитные играют
На низких тучах — раз, и два, и три.
Идет собака около вагона —
Ищейка, и фонарик поспеваает
За ней, винтовка, шуба в серой дымке —
Всё тяжкий труд сторожевых людей,
Кто отстоял Россию в дни несчастья.
И холод за окном —
летучий снег.

В ночном вагоне длится без оглядки
Суровая и верная беседа
О том, как жить России, как работать
В тылу.

По суткам.

Не жалея рук.

Что ставить. Что писать. Как лучше строить.

Где делать опыты. Что открывать.

Ведь этот поезд был куском страны,

Живущим по уставу государства.

Всё тьма и тьма, и крики на платформах,

Заплаканные бабы, зов утробный,

Танцующий пожар на горизонте,

Охваченный руками темноты.

И ветер рвет, раскачивает сучья

Огромных сосен возле водокачки.

И ползают мешки иль, может, люди

Под окнами внизу, и свищет снег.

По коридору тихо ходят ноги

И останавливаются, и опять

Белесые чуть-чуть заметны лица,

Как блинчики, прижавшиеся к стеклам.

И дальняя сумятица разрывов

Кладет секундный ответ канонады

На дикий глаз, на нос или на орден.

Так многие стояли, прижимаясь

К холодным стеклам горестными лбами,

И долго бил зенитный пулемет.

То уронивши руки, то поднявши

К вискам ладони, то держа окурков,

Стояло множество мужчин у стекол.

А женщины готовили постели

И что-то прибирали в тьме кромешной,

И лишь в одном купе играл во мраке

Назойливый, проклятый патефон.

Кружилась долго черная пластинка

И голоском мяукающим пела

О том, что ночью расцветают розы

И уплывает голубой перрон.

Так мерзостно она и нежно пела

Одно и то же с дьявольским упорством,

Что счастье теребило теплой лапкой
Затылки стриженные.

Это было

Нечистое и злое искушенье.
Да, в том купе лежал как бы уют.
Все сто вещей приладились, как должно,
В пространстве маленьком и говорили
Домашними своими язычками,
Но грозный снег метался за окном.

А человек?

Он впился лбом в стекло.

А жизнь его?

Она свечой горела

Там где-то, между ребер, в затемненье
Под серым пиджаком и желтой кожей.
И полосатый снег всё шел и шел.
Так было ночи три или четыре.
Стояли люди цепью возле окон
И лбы втирали в стекла. И качались
Всё те же сосны, ели и осины,
И тот же задыхался патефон.
Невыносимым это оказалось —
Сорваться, унесться, в пути расплыться.
Трагически суров был темный путь,
Груженный доверху глухим страданьем
В железный час истории страны.
И всё мрачнее становились сводки,
Летающие из черных рупоров
На затемненных станциях.

Дышала

Вся русская земля в затылок тем,
Кто возле окон неподвижно тыли,
Всё с детства вспоминая на земле
Родительской, могилами покрытой.
Стремилась люди на восток, как должно,
Чтобы работать, жить, изобретать,
И темнота летела вслед за ними
На мягких крыльях бархатно-совиных.
Так откровенно люди говорили,
Так сильно, так значительно и строго,
Что многое потом отозвалось

Не только в их судьбе —
в судьбе России.

В столетьях мрака расплывались лица,
Бежали на перронах новобранцы,
Зеленое отчаянье зениток
Сопровождало поезд ночь за ночью.
И затерялась вдалеке Москва. . .
Из мрака в темень поезда входили,
Смотря в бездонное немое дуло.
Седые мужички, большие бабы
Подкатывали на санях скрипучих.
Всё земляки, всё трудная Россия,
Глядевшая с тяжелым удивленьем
На балерин в юбчонках белостокских,
На старого ученого с кошелкой,
На неумело хитрую торговлю,
На мудрые, в больших залысьях лбы.
А мрак сгущался возле них всё туже.
Позванивало ночью отопленье.
Темно, темно.

Ах, до чего ж темно!

Проводники с пропащими глазами
Каких-то пришлых спихивали вниз.
Четыре ночи в тамбуре качаясь,
Стоял бродяга в бабьей кацавейке.
Вытягиваясь, словно дым табачный,
Он каждой ночью рос всё вверх и вверх.
А поезд полз в неведомое пекло,
Оторванный от крошечной секунды
Прощанья и отхода своего.

И мимо, мимо мчались эшелоны,
Вперегонки с восходом и закатом,
Навстречу предназначенной судьбе.
На полустанках с грохотом и воем
Их обгоняли светлые составы,
Где за квадратами хрустальных окон
Стояли люди в тех же мертвых позах,
Известные по снимкам всей стране.

И пролетали мощные заводы,
Погруженные наспех на платформы
Станины, жадно вырванные с мясом
Бетонным, или кран подъемный, легкий,
Или станки, покрытые рогожей.
И мастер там стоял из Запорожья,
К железным косякам прильнув спиною,
Железными глазами глядя вдаль.
Там девушки озябшие сидели
На топчанах, на харьковских кроватях.
И фикусы, побитые морозом,
Стояли на платформах возле них.
Обветренные первой стужей лица
Вперед глядели с дьявольским упрямством.
И человек качался на столе,
Немало суток, видимо, не спавши;
Бумаги вылезали из стола.
И были те бумаги утверждением
Того, что этот стол идет по плану,
Намеченному свыше, — на Восток.
Стальные глыбы краматорских прессов,
Шафы и книги заводских читален —
Всё проплывало маревом морозным,
Непобедимо, как душа России.
Непрочный, южный снег всё шел и шел.

Навстречу выносились эшелоны
С гармониками в огненных теплушках,
Орудья под зелеными чехлами,
Спокойные скуластые ребята
Соскальзывали кошками на рельсы,
Бежали, наклонясь, за кипятком.

И

«За Москву!» — написано на стенках
Теплушек этих, красных, как знамена.

— То Енисей идет. —

Попался кто-то

На шуточку, и весь вагон хохочет,
И зубы блещут — тридцать два по счету,
И песенку ведут сибиряки.
Запомнил он одну, как ночь седую,

Сестру с крестом на рукаве, в надбровьях
Угрюмых или, может быть, печальных.
Широкогрудая, она глядела
На этих юношей в зеленых касках,
В дубленых, рыжебоких полушубках,
Каленых, как уральское железо,
Идущих ряд за рядом, ночь за ночью,
Чтоб накрепко закрыть собой Москву.

И вечер наступил, и дипломаты
Их обогнали в золотых вагонах.
Беспечно по-ребячьи хохоча,
Нес капитан британский блюдо сыра
На голове, и все его снимали,
Фотографировали шаг за шагом.
Спортивным жестом он поднес фаянс
Двум дамочкам, и ловко похватали
Они, смеясь, сухие бутерброды.
А в это время шел намокший снег.
Бродяга, выраставший в коридоре,
Всё рос и рос до самой бывшей лампы.
И наступила ночь уже шестая.
Поставленные перед грозным ликом
Судьбы страны, перед великим гневом,
Стояли люди, до рассвета склеясь
С немymi стеклами широких окон.
Он выжал сердце горстью на ладонь
И что же увидал? Потоки горя,
Какого-то ненужного стыда
За тех людей, что, словно цепь, стояли,
Прижавшись лбами к стеклам коридора,
И за себя, несущегося ночью
По стыкам рельс усталых на Восток,
И за проклятую —

в купе —

пластинку.

Пластинка черная в ночи кружилась
Всё в том же слишком обжитом купе,
Где был уют и где неслась игла
По затемненью ноющего круга.
Взыскующие

в этот горький час

Степей увядших, тающего снега
Обменивались быстрыми словами.
У каждого была большая жизнь.
Но тот был бесприютен в этом мире.
И женщина, которую недавно
Он горестно любил и видел с другом,
Из теплого купе внезапно вышла
Всё в тот же коридор. Он протянул
Приличное кольцо — ее подарок —
И молвил:

— Будьте другом до конца! —

Она сказала:

— Я люблю другого! —

И всё руками двигала, как будто
Отталкивала смерть.

И он ушел
Потупившись, небритый и спокойный.

Составы пролетали по мостам.
Дрожало всё от бешеного рева
Попутных и навстречных поездов.
Всё кончилось в его лукавой жизни,
Остались только воля, и обличье,
И нетерпенье, чтобы в море мрака
В нем победил прозревший человек.
Стояли люди сумрачно и строго
Цепочкой возле затемненных окон,
Обдумывая будущее с прошлым.
Ревела ночь, бесснежная, сырая.
Махали вязы мокрыми руками,
Крутилась нестерпимая пластинка
На патефоне, и вели не быстро
Мужской мужчины твердый разговор.
Конец прошедшему!

И на пластинке
Всё тот же кружится мотив зовущий,
Всё счастье обещает, всё хлопочет
О том, что даже богу непонятно,
Ну, вроде как бы разворот весны —
В Чаирском парке розы зацветают
И парочки танцуют: раз, два, три!

Всё тьма и тьма.

И только быстрый росчерк
Летящих поездов кромсает темень.
И в этот мир, почти неуловимый,
Над этими людьми, что, как цепочка,
Стоят сутулясь возле черных окон,
Над маленьким купе, где воет румба,
Кондукторша проносит, словно знамя,
Первичный свет, взлетевший в коридоре,
И ставит, не сдвигая занавесок,
Кондукторскую первую свечу.
И он стремительно шагнул к свече.
Решительная тень за ним шагнула,
Огромная, на целый коридор.
Он заслонил пергаментной ладонью
Свечу от сквозняка, от моря мрака,
И тень ладонь гиганта протянула
К вагонной, теплой, маленькой свече.
Тогда все люди кинулись за ним
Одним рывком на это море света,
На этот огонек, на счастье жизни, —
Ведь это отделяло свет от тьмы.
Трагедия уже обозначалась
В своем пути, всемирном и кровавом.
Отковывалась середина века,
И поезд был молекулой ее.
Над ложью, что должна была погибнуть,
Над правдой, что уже в крови вставала,
Над ненавистью, горем и любовью
Сияла победительница ночи,
Неукротимая в своем горенье,
Прямая белоснежная свеча
И требовала жизни, дела, веры.
Ты про себя забудь —
и победишь.

1943 (?) — 1956

174. ГОРОД СНОВ

Всеволоду Иванову

Сеанс окончился.

Была картина
С участием Гарри Купера, из жизни
Миллионеров. Было всё как нужно:
Отчетливо, умело и уютно.
В конце концов герой достиг всего.
Когда толпа, ликуя, выходила
Из кинофабрики, когда великий мастер
Легко отшучивался и когда
Все вышли на хрустальный синий холод, —
В тот самый миг подъехала машина.
Но все уже ушли, и очень долго
Вокзальная машина простояла.
Шофер, ворча, бродил по этажам,
Пока в столовой не добился правды
И вызвал коменданта: —

Принимайте! —
Освобожденные от фронта по болезни
Вносили ящики различного размера,
И между ними был забитый в доски
Тот перевернутый в дороге гроб.

Поставили Немного постеснялись
Такой ошибки. Принесли букеты,
Повесили некролог и портрет.
Покойник был хорошим человеком.
Такая юность в нем еще кипела,
И ум, и тонкий жар, и все любили
Отчетливый и чистый русский профиль,
И гордый нрав, и сдержанную силу.
Надежду легкую. Он был надеждой
Для мастера великого. Так просто
Ему всё удавалось. Так ничтожно
Сопротивлялась форма. Просто рядом
Кричали вещи:

«На, возьми любую!»
Он был как песня русская. Он был
Пленительно талантлив. Больше всех

Идет ночная съемка. Вместо жизни
Подкладывают быстрые подобья.
Повсюду чистый холод, снег летучий.
Спи, город снов — Алма-Ата.

Далёко

Спит девушка, которую недавно
Он полюбил. Всё очертанье рта
Минутной женщины, тоска, и хитрость,
И твердость, и характер, и уловки,
Прощанье, слезы, мятые открытки,
Тщеславие. . .

А он хотел гореть
Вдвоем с любимой на высоком небе.
Он так и не узнал всей силы века,
Не понял смысл трагических времен
И сам не заплатил за это кровью,
Как сверстники его там, под Орлом.

Лежит, закинув ноздри, непонятный,
Лицом своим сказать о чем-то хочет,
Но слова нет. Гудит один юпитер,
Да пустота и клочья декораций,
Да мышь казахская неспешно бродит,
Шуршит венками. Происходит съемка,
И партизаны мчатся под откос,
Как под Орлом сейчас они промчались
В глухую полночь гибели своей.
Голодные, мучительно живые,
Россию закрывающие грудью,
Бессмертные в порыве и судьбе.
Что ж, хорошо ему в ночном гробу?
Все позабыли. Только голубые
Просветы коридорные дружат
С ним, как бывало. Он еще живет
В каких-то днях, бумагах и отчетах.
Как утомилась под венками грудь!
Снега закрыли крыши под луною,
И Ала-Тау, словно белый слон,
Глядит, клыки поднявши, из Китая.
И золотая тучка зацепилась
За легкие хребты. И поворот
Вселенной на оси. И над горами

Светило круглобокое лежит.
Чего хотел он? Может быть, покоя
Иль счастья, или, может быть, простора?
В морозной мгле плывет Алма-Ата.
Там телеграф. Он посылает вести.
В нем инвалид, согнувшись над конторкой,
Плечо сухое поднял костылем.

Пора домой!

И только рупор черный
Взвывается, гремя о Сталинграде.
И все, кто отстоял ночную смену,
К нему подходят молча и поспешно.
И над заборами горит, как спирт,
Огонь железной автогенной сварки.
Что ж, это ты, бестрепетная жизнь!
Тебе ничто не страшно. Ты взираешь
На дикий голубой костяк Тянь-Шаня,
На голубую мертвую луну.
Вокруг нее стоит зеленый обод
От мертвенного холода, и площадь
Перед ЦК так грозно залита
Квадратами пылающего света.
И ветер из ущелий. Тут поспешно
Юпитера включают. Пустота,
И толстая охранница у двери
Глокает стоя черную лапшу.

Спи, ученик, не нужно больше думать,
Всё кончено! Уже не нужно слушать
Дурацких разговоров об искусстве.
Не нужно слушать женские слова,
Бесмысленные, словно песня печки.
И печку не приходится топить...
Сидит его душа на Ала-Тау
В морозной ризе, в чернолапых елях
И смотрит непомерными глазами
На город вещей снов — Алма-Ата.
Полночные срываются лавины,
На скалах, прикорнув, ночуют звезды,
Холодный месяц рвет атлас небесный.
А я иду, как прежде, в Дом искусства,

Простым, как смерть, и пожалеть людей
Высоким хриплым голосом пророка.
Не можешь?

Нет?

Тогда тихонько спи!

А я иду по голубой стране,
Где смертные березы наклонили
Свои седые бабушкины косы.
И все-таки мне очень хорошо:
Я мыслю. Вот луна. Летают тучи,
Дорога серебрится чистым снегом,
Собака лает, зеленеют пики
Беспамятных хребтов, почти подлунных.

Мое жильё. О боже! Дом искусства.
Без электричества, без лампочек, без печек,
Набитый бесприютными людьми.
Войдешь —

ударит духом общежитья.

Актеры спят, покрывшись чем попало,
Мигают одноглазые коптилки.
А все-таки, как прежде, жив курилка,
Жив человек, его не одолеешь
Ни холодом, ни голодом, ни смертью,
Ни разговорами! Живет курилка,
На спичке согревает затируху,
Ложится спать с накрашенной женой
И страстно зажигает папиросы
Кремнем, иль треньем, или я не знаю,
Каким извечным способом. И ходят
Вокруг него всё те же сны ночные,
Как при начале мира. Спите, братья!
То город вещей снов — Алма-Ата!

Скажите, кто не слышал о курилке —
Лучинке тлеющей? Об огоньке
Бессмертном, маленьком, который люди,
Играючи, передают друг другу?

Ну, кажется, пора бы умереть,
Нет света и тепла, гуляет ветер

По черным коридорам, но упорно
Все продолжают жить и каждой ночью
Беседуют о людях Возрождения,
О Микеланджело и дилетантски
Зовут искусство к новым очагам.
Художница в сиреновом халате
При свете светлячка читает книгу.
Довольно строг ее курносый нос.
В каморке даже двинуться не стоит.
Одна звезда печатает окно.
А муж заснул. Снует по коридорам
Тоскливый запах мелких папирос.

Ячейки маленькие, мелкий росчерк
Случайных жизней, темнота, усталость,
Ну, кажется, конец, но бестолково
Опять идут ночные разговоры
О Возрождении, и опять грохочет
Какой-то бесприютный патефон.
Ты жив, курилка! Ты еще хлопочешь,
Гудишь, как пчелы, в этом улье ночи...

Лежит зеленый холод Ала-Тау,
Окутанный блистающей луной.
А низ всё тот же. Там моя сестра
Готовит на мангалке суп унылый,
Черт знает из чего, и говорят
Простуженные гости об искусстве.
Искусство — это власть, и потому
Хоть на мгновенье я владею правдой.
— Не бойся, человек! —

я говорю. —

Живи, покуда сил предвечных хватит,
В стремленье, воплощенье и движенье.

Застыли люди в очереди хлебной,
Укрыты грубошерстными платками
От холода полночного, и стынет
Над ними голубая сетка звезд.

Спи, сумрачный!

Лавины поднимают

Свои седые, ветровые лапы,
Хребты нависли мертвым полукругом.
В каморке грязной спит моя сестра.
Ты — женщина, ты — бабочка большая,
Ты — будто детство, будто упование
Веков усталых, это ты, сестра?
Всё женственное, сонное, слепое
От жалости утробной, ты — весна,
Как бы летящая по перелескам,
И ландышам, и медуницам.

Ты

Апрельским ветерком сквозишь по свету,
Моя сестра, моя весна в Загорске.
И никогда не повернуть тебя
На путь иной. И снова, колыхаясь,
Встают хребты Тянь-Шаня, и, круглы,
Железные стоят ограды света.

Спит мастер. Позади него растет
Чужое и стоярусное небо.
Спят книги мастера. Коротконогий,
Он спит под мексиканским одеялом,
Вокруг него оскаленные маски,
Портреты Чаплина и небоскребы,
Луна, Нью-Йорк, ликующие крыши
На триста этажей и кутерьма
Оранжевых, неуволимых окон.
Спи, мастер!

Поутру темным-темно,
Могучая заплыла мысль усмешкой.
Зови ее, зови, кромсай столетья,
Формуй, по слову своему, добытчик,
Мни, словно глину, даже умирая,
Будь господином времени. Не стоит
Над ним смеяться — это всё же время.
Не утрашись и только удивляйся
Многообразью времени и властно
Лепи его в немолодой руке.

Ты — власть, ты — нетерпенье, ты —

раздумье,

С тобой никто на свете не сравнится.

Молчи, живое время, —
я живу!

Всё теплится коптилка, всё мигает,
Сырым и влажным холодом одета.
И всё же можно закурить сигарку
Об этот огонек, и всё же можно
Прочсть написанное, и тогда
Опять приходит в диком вдохновенье
Победа разума. Победа сил.
Тогда по всем набитым номерам
Спят люди в непонятных мертвых позах.
Шныряют мыши серыми клубками,
Как в зале том, где спит в гробу дощатом
Непокоренный, жадный, молодой,
Не сотворивший до конца, но сердцем
Стремившийся творить.

И в этот час
Спит мастер. Мексиканские узоры
На одеяле мертвенно краснеют.
И лунный заяц спит у толстых ног.
Беспомощные, чистые, как детство,
Лежат рисунки нестерпимой силы,
Квадраты, треугольники косые,
Индейцами расшитые по слову
Беспрекословной воли божества.
Да, божества, и все-таки иного,
Чем этот старый бог переяславский,
Стоящий в партизанском полушубке,
Весь в ледяных, сметанных буераках,
На голубом святилище берез.

Усни, усни! Ты выше всех и лучше,
Высокий мастер самой мудрой школы.
И осторожней и неукротимей!
Простые поднимаются деревья
Рябыми сучьями и достигают
Истерзанного, горестного неба.
На них висят, поникнув головами,
Повешенные ночью партизаны
Там, под Орлом, за тридевять земель.

Они молчат, но властно просят слова,
А слово это — бог.

Но жив курилка! Он еще поводит
Широкими глазами в удивленье,
Завертывая одеялом сны.
Он будет жить, куда хватит силы,
А силы в нем — как горя на земле.
Какой художник вдохновенный создал
Всю сложность этой жизни, и усталость,
И юность вечную? И посреди веков
Случайный поцелуй у подворотни,
И славу, и бомбежки, и раздумья,
И желтый коготок ночной коптилки
Над рукописью этой, и крушенье
Великих государств?

Но это ты,
Ты, жизнь моя, ты, середина века,
Ты, темный гул грядущего столетья,
Из мрака в свет летящая звезда.
Спит мастер.

Обращаются фигуры
Созвездий в геометрию природы,
Зеленый замирает огонек.
Ты жив, курилка?

Ты еще топчешь
Подметанными за ночь башмаками,
Тебя никто на свете не замучит,
По-прежнему владеешь ты землей.

Бушуют скалы снежного Тянь-Шапя.
Раскованные мчатся снегопады,
Лиловый фирн горит в немых ущельях.
На телеграфе принимают сводки.
Стоит, как привиденье, Дом искусства.
То город вещей снов — Алма-Ата!
То сила жизни в дивном напряженье,
Возьми ее, не оставляй мгновенный,
Жестокий росчерк, поднимайся мрачный
В морозе над хребтами! Покоряйся
Велению времени и будь самим собой.

Ты — измеренье всех земных вещей,
Победа разума, победа света,
Сорви с себя всю кожу, словно в пытке,
И, обнаженный для всего земного,
Впивай земное красными плечами.
Будь человеком.

Спи, покуда спится.
И, главное, не унижай себя
Перед железными зрачками смерти.
Тогда придет победа и твоя,
Художник, воля будет неизменна.
Над ней склонятся вечные законы.
Спит человек в гробу. Он непонятен.
Спи, мастер, непреклонный и лукавый.
Вокруг тебя висят в простенках лица,
И маски, и обличья золотые
Неведомых веков, и божество
Языческое шествует по книгам.
Повсюду в мире торжествует слово,
А слово — это воля! И не стоит
Корить ее, и, светлая, она
Лежит, как нож посереде природы.
И люди мыслят, трудятся, живут,
И погибают на снегу кровавом,
Чтобы погиб фашизм и силы мрака.

Стоит густая очередь за хлебом.
Вплоть до утра не спит Алма-Ата.

И время черным падает обвалом.
Имеющие уши да услышат,
Имеющие очи да увидят,
Имеющие губы — говорят!
Событья, не кончаясь, происходят,
Не мне остановить поход событий.
Но я, как прежде, населяю землю,
Но я, как прежде, запеваю песню,
Я это создал. Я за все в ответе,
Я все-таки, как прежде, человек.

1943—1956

175. ПОЭМА О ВЕЩАХ

Я оптик — понимаете, друзья,
Я занимаюсь хрупкими вещами,
Как требует профессия моя.
Учился у Вавилова.

Наука

Чудесная. Законы отраженья.
Законы преломленья. Величины
Углов различных световых пучков,
Люминесценция, дифракция. Расчеты
Сложнейших объективов и конструкций.
Тончайшая, хрустальная работа.
Она второе зренье для людей.
Работа эта мне всегда по сердцу —
Артиллеристом стал я на войне
И под Варшавой получил майора.

Вот из КП мне виден Кенигсберг.
Рассвет. И мы готовы начинать.
Мои тяжелые молчат до срока,
Минуты движутся, спешат секунды.
Мгновенье — и стволы начнут, гремя,
Уничтожать людей, дома и вещи.
Вы скажете, что вещи — чепуха.
Я уважаю вещи. Их творят
Все люди, даже самые плохие,
И много человеческого есть
В любой рожденной человеком вещи.
И если вам, товарищи, не скучно —
Пока не дан приказ открыть огонь,
Я изложу вам кой-какие мысли
И домыслы о том, что значат вещи,
О том, как можно их хвалить и славить,
О том, как нужно вещи понимать.

Давно я славил вещи человека.
Я славил вещи честные, простые,
Потертые, зазубренные, в пятнах,
В царапинах, в заплатках, в старой штопке,
На них лежали руки человека,
Они служили молча человеку,

И человек служил для них объемом,
Поверхностью и целью.

Все они

Входили в грозный разворот событий,
Хранили, грели, ласково блестели,
Томили невозможностью, вставляли,
Как символ счастья, радости и горя,
И убивали, харкая огнем,
Десятки миллионов тех людей,
Кто создал их и стал их первой жертвой.
Я славлю сапоги и башмаки,
Волшебный запах гляцевых подметок,
Я славлю реки ситцев, что горят
Или тускнеют от распева красок,
Они приносят маленькую радость
И утверждают жизнь.

Я славлю брюки,
Костюмы, что на вешалках висят
В заманчиво шумящих магазинах.
Я славлю платья женские.

Я славлю

Обыденные, маленькие вещи.
В них что-то может быть отрадой жизни,
Соломинкой над смертью и намеком
На юность и бессмертье. Я хочу
Хвалить и славить холст, шелка и сукна,
Всё полотно прохладного белья,
Мальчишеские теплые фуфайки,
Печальные осенние пальто
И шубы на подложенном ватине —
Они достойно служат нашей жизни
И сохраняют наш домашний запах.
Они передаются по наследству,
Перешиваются и вновь рождаются,
Стираются и гладятся. Они
Сравниться могут лишь с немою песнью
Ковров, дорожек и половичков,
Украшенных таинственным узором,
Которого в пределах равнодушья
Ни дед твой, ни отец, ни ты, беспечный,
За сотни месяцев понять не захотели.
А был рисунок выткан очень тонко

И очень целомудренно. И краски,
И линии о многом говорили —
Опять о том же счастье, о разлуках,
Рожденьях, свадьбах и смертях.

Храните

Благоговейно смысл немых ковров!

Я буду славить книжные шкафы,
Покрашенные, пыльные, сухие,
Пугающие треском по ночам,
Хранящие тоску десятилетий
И потому особенно большие,
Когда ты болен, жалок и несчастен.
И кресла — даже фабрики Мосдрева, —
Которым тело доверяли люди,
Задумчиво и строго отдыхая
На неудобных спинках этих кресел.
Я буду славить светлые кровати
С тяжелой грудой ласковых подушек
И материнским одеялом. Я хочу
Всю утварь, всю посуду, все кастрюли,
Все вещи человечества прославить
И вознести до огненных высот
Судьбы вселенной, ибо даже спичка,
Что человек зажег на повороте
Прокишей лестницы, — всё тот же пламень,
Что согревал у стареньких костров
Коричневые ребра троглодитов.
Ведь этот пламень —

пламень Прометея!

Итак, я славлю вещи человека
Над бедами и смертью.

Я хочу

Уют земли превознести по праву.
Я был беспечен, молод и усат.
Однажды ночью, весело скитаясь
По переулкам ласковой Москвы,
Увидел я в окне кота. За ним
Стояла девушка, в ночной сорочке,
Расчесывая волосы тяжелым
Широким гребнем. И вокруг нее

На плоскости лежало столько странных
И удивительных, простых предметов,
Что замер я.

То были занавески,
Кофейник, книги, абажур, портреты
Неведомых людей, и зеркала,
И кактусы в коричневых горшочках,
И, кажется, тот голубой стакан,
Который я увидел в раннем детстве.
Ее ночные завитки волос,
Как песенка о мировом уюте,
Над юностью моей легко проплыли,
И через годы вновь зовут меня
К московской осени и фонарям
Бездомным, и к ночному возвращенью,
К заглядыванью в маленькие окна,
И к жажде жизни, и круговороту
Беспечных, существующих вещей.

А что касается моей квартиры,
Которую оставил я в Москве, —
То я о ней и думать не хочу.
Она ушла и мне неинтересна.
Все вещи, все предметы, все движенья,
Которые я вижу здесь на фронте,
Мне заменяют тонкий, нестерпимый,
Холодный запах необжитых комнат,
Где страсть, и смерть, и горечь, и любовь
Сошлись поспешно в бытовом единстве.
Я вижу всё — оставленные книги,
Оставленные рукописи, двери
Незамкнутые, белые, буфет,
Картины в бедных, потемневших рамках,
Что до сих пор висят в моей столовой.
Всем этим жил, всё видел и всё трогал
Теперешний артиллерист-майор,
А до войны — ученый.

Мне давали
Яичницу с копченой ветчиной,
А также водку в стограммовых стопках
И очень много радости и грусти,
Положенных, как следует, по штату

Судьбой для поколенья моего.
Что там теперь, в тех комнатах?
Какой

За окнами кипит весенний воздух?
Какие зданья и какие крыши,
Какие окна и какие стекла —
Всё это для меня загадка.

Мы

Переступили все противоречья
И вышли прямо к морю простоты,
К простым трагедиям, простому долгу,
Как раз в средину нашего столетья,
А проще ли оно других — не знаю,
Об этом, верно, знает мой отец.
Он спит на Алексеевском кладбище,
Что за Сокольниками.

Всё же воздух

В оставленной квартире сохраняет
Сухие линии движений, жестов,
Голов и профилей, и тени разговоров,
И тени клятв, и тень моей судьбы.

Вот поднимусь на лифте.

Позвоно,

Войду в зеленый коридор, услышу
Широкий, чистый воробьевский ветер,
Жестокий, мертвый отзвук телефона,
Сигнал тревоги, голосок из мрака:
«Вы возвратились?..»

Нет, не эти вещи,

Не это сочетанье стен привычных,
И кресел, и столов меня зовут
К сухому восхвалению предметов
Со складов человечества. По мне,
Хоть задавись своими потрохами,
Когда вокруг стоят прожектора —
Как десять пальцев нашего столетья.

Я славлю вещи, коими всегда
Владели скромно все простые люди,
Великие и малые, — мундштук,
Упрямо стиснутый на фронте человеком,

И почки набухают. И трава
Встает зеленая на всех дувалах.
Какие-то деревья замирают,
Охваченные легким блеклым шелком
Цветов на зацветающих ветвях.
И лужи за окном. Капель по крыше.
Как серенькие чертенята, дождь
Бежит напротив через двор к воротам.
А мама спит в цветах, и на окне
Стоят цветы весенние, сырые.
Окно открыто, не смолкает дождь.

Так победительно глядит лицо
За тридцать земель. Глаза закрыты.
И гордая улыбка прочертила
Глубокий след, растягивая губы.
Был тверд и непокорен желтый лоб.
Весна восточная, как дождь, летела
По переулкам мокрым и счастливым.
В соседней комнате стоял сосновый
Огромный гроб, пустая домовина.
Два раза я в него, примерясь, лег,
Под стать тебе, большой и неумный.
Ну, значит, доски слажены на славу,
И ляжет мать размеренно в гробу.

И затворился я с тобой, как прежде.
Букетики фиалок на косынке.
Последний раз с тобою, мама, мама!
Кончается лукавый сизый вечер.
Лежат во тьме очерченные губы.
Вот сумерки, фиалки, быстрый тлен.
И вспомнил я тебя,

увидел детство,
Рождественские елки и собак
В садах фруктовых, ночи дифтерита
И юность глупую мою и зрелость.
Летели вихри разноцветных нитей
И полосы кружащегося света.
О русская земля! Извечно ты
Полна горячим жаром материнства,
И голоса тоскуют за рекой,

И лопухи холодные склонились,
И сумерки спускались.

Осень, осень!

Вдруг начинает падать русский дождь.
Кочуют сказки изразцовой печки
По выюшкам и заслонкам, темным дверцам.
Мне нужно на мгновенье посидеть,
Склонивши плечи перед этой печкой,
И на щеке услышать, как бывало,
Жар этих медных трепетных углей.

Вот комната прощанья и страданий.
Что ж, кончились они.

И вот ушла

Твоя душа в далекие края,
Холодные края, края рассвета,
В раскидистые русские места,
Во всё, что позади, шумя, осталось,
В мир прежних образов, движений прежних.
Раскинутые в мировом пространстве
И времени, они живут спокойно,
У мертвых застывая на зрачках.
А мама всё вязала и вязала,
Большими пальцами перед кончиной
Сучила в желтом сумраке она,
Скользя руками по своей постели.

Повсюду было расцветанье звезд.
Она была моим рождением мира,
Я из нее возник, и год за годом
Несли меня так трепетно и зорко
Ее глаза, покрытые тревогой.
Вдруг расцветанье мира — желтый гроб,
Летающая победная улыбка.
Ты — плоть моя. Ты мне передала
Твою глухую свадебную полночь
С моим отцом. Зерно твоей любви,
Упал я в ночь.

И вот перед тобой,

Победа мертвая, сидит на жалком стуле
Твое создание, грустный человек,
В дверях открытых материнской смерти.

В том ящике, что я сейчас задвинул,
Лежат тобой прочитанные письма.
Спи, мать людей, за окнами темнеет,
И дождик азиатский бьет беспечно
Ладошками в жужжащее окно.

Мы подняли тебя на плечи в полдень,
В последний раз склоняясь земным поклоном,
Я покорился этой жизни мудрой,
Той, полной человеческих страстей,
Душевым жаром полной.

Что ж, фиалки

Обозначали силу этой жизни,
Лиловые, прохладные, как детство.
Молчит улыбка, знающая всё
И видевшая всё — мое рожденье
И вот меня сейчас, в седирах тусклых,
Всё строгое во мне и всё пустое.
Идут верблюды, кланяясь весне.

За эту ночь раскинули деревья
Крутые фиолетовые кудри.
И желто-розовые полетели
Тугие ветки в сторону Памира.
Блистал по всей стране цветочный дождь.
И мимо винных крашенных киосков
Везли тебя, о мать моя, о совесть.
Всё сразу расцвело в одно лишь утро.
И та же радость, чистая земля!
Да будет всё на ней опять чудесно,
Как совершилось в этот день апреля.

Вот жадная могила.

Опустили,

Пошли лопаты, полетели маки.
Дай мне закрыть тебя навек землею,
Могильщику и сыну твоему.
Наивный мир старинного покоя,
Земля побеждена. В нее вошла
Ты, светлая, спиной своей усталой.
А мы с тобой увидимся иль нет,
Разъединимся или нет навеки,

И только изредка посмеем говорить
Друг с другом — языком мимоидущих
Людей, зверей, деревьев, тихих трав.
Но только изредка и только скрытно,
А до тех пор прощай, о мать, прощай.

Всё падает на гроб шуршащий дождь.
Ты, Азии земля, ты, прах сыпучий
Отживших беспощадных поколений,
Храни мою измученную мать.
Сокровище мое, лежи, лежи
В косынке чистой, с твердыми губами,
Такой, как я видал в последний раз.
Всё падает земля на гроб дощатый,
Стучит, как бубен, косо покрывает
Твои глаза закрытые.

И зорко

Они оттуда на меня глядят.
Могильная лопата прозвенела.
В последний раз,

о мать моя,

рванулись

Шуршащие полотна лепестков,
Теплом несло от выпуклой могилы.
Кузнечик первый сел на изголовье.
И я, сверкая голубой лопатой,
Уставший, сел и вспоминал тебя.

Шел гимн земле, зеленым превращениям
И телу твоему — системе звездной.
Всё правильно! Пришел конец страданиям.
Прощай, и всё. И ты прости в могиле
Мои метанья, муки и тревоги.
Огромный, осыпающийся утром
Цветочный хор, — всё правильно!

Идем

С тобой, о мать моя, по двум дорогам, —
Ты — понизу, покуда смерть хоронит,
Я — поверху, пока бушует жизнь.

Белеют лунки огненного света
На тоненьких кладбищенских тропинках.

Всё пройдено!

 Так ты и есть земля,
Откуда вышел я, земля сырая.
Я погрузил тебя в нее зерном,
Расти оттуда снова: сновиденьем,
Или стихом моим, иль добрым внуком.
Нет, мама, смерти! Нет!

 Нельзя расстаться
С твоей походкой поутру за дверью,
С тобой, которой имя было — Ольга.
Высокая, раскидывая брови,
Лежи в узбекской глиняной земле.
Пылает свет. Поют дрозды на ветках,
Лиловый расцветает мир весны.
Ты землю полюбила, и взяла
Она тебя, и,
 гордая,
 она
С тобою, гордой, тихо потолкует.

Какую истину тебе сказать, о мать,
Какие мудрости еще тебе поведать?
Не стоит.

 Ты сама кругом права,
На свете столько умерло людей,
Что истины для них едва ли хватит.
Той всеобъемлющей сейчас. Дрозды
Посвистывают в тополях сквозящих.
Я через тысячи летящих поколений
Всё от тебя схватил — движенье, брови,
И голос мой, и поступь, и усталость.
Теперь навеки, мать моя, прощай!
Что ж, кончено. Дыханье пресеклось,
Остановилось сердце и умолкло.

1943—1956

177. СНЕГ

Спиральный конус мчащихся снежинок
Под фонарем. Блистающая пляска.
Колпак над фонарем для затемнения.

Лилово-черная от напряжения ночь.
Сухие звездочки, седые нити
На небе, на земле, а под землею
Мы вновь в метро встречаемся с тобой.
Там, наверху, дворы, дворы, дворы,
Бомбоубежища, шаги, ворота,
И вдруг салют в неистовом полете
Шипящих, страстных, радужных огней.

Выходим мы на этот грозный свет,
Весь полный разноцветными шарами.
Невероятные стоят дома,
То вылетев из мрака, то вбегая
В крошечный мрак. И в этот мир глядят,
Закинув головы и улыбаясь, люди.
Над тысячей людей взлетел салют,
Как птица жизни в перьях исполинских.
И всё потухло.

Только снег идет,
Под фонарем кружась крутой спиралью.
Московский, звездный, беленький снежок.

Грохочут марши, и летит поэмка,
По переулкам тоненько шурша.
Есть детская игра:

в метельный вечер
Под фонарем смотреть на те снежинки,
Что мчат на свет из ошалелой тьмы.
Глядишь, глядишь, и вдруг ты ощущаешь,
Что те снежинки не летят на землю,
А конусом, спиралью выются вверх,
И сам ты поднимаешься над всем
К завьюженному радостному небу.

Ну что ж, летим с тобой сквозь конус снега.
Я расскажу тебе:

давным-давно
Был черный день — любовь, разрыв и горе.
Суровый час!

А в комнате теплынь,
Ковер вишневый, смятая подушка
И три пятна на стареньком паркете,
Там, где стоял увезенный рояль.

Из шкафа всё еще дышали медом
Исчезнувшие так недавно платья,
И парусные корабли на шторах
Легко неслись неведомо куда.
Пошел на Патриаршие пруды,
Усталость, вечер.

Полная расплата.

И серый свет, ужасный, словно совесть,
Ни черного, ни белого. Лишь холод,
Усталость, ледяная пустота,
Противная и медленная мука.
Скамейка, липы — вот и всё.

Фонарь.

Как долго я стоял, не помню точно,
И серое никак не разделялось
На черное и белое.

Конец.

Ни времени, ни малого движенья,
Ни горечи.

И вдруг издалека,
С конца земли, из самых главных сказок,
Раздался легкий звон холодной стали,
Звон снега, звон поземки, звон полета,
То девочки, как стайка, пронеслись
На Патриаршие пруды, звеня копытами.
Быть может, ты была одной из них.
И сразу я увидел конус снега,
Следы людей, следы саней —

мороз.

Великий праздничный полет снежинок.
Была ль ты мне обещана иль нет
В тот самый час, когда я в жизнь вернулся
И мир кружился возле фонаря,
Но знаю — ты видала конус снега.

Гляди же в будущее ты, душа!
Там пепельная нить ее волос,
Перерезая взгляд, спокойно вьется,
Ты женщина или большой ребенок,
Ты вся полна ошибок и страстей,
Ты к ней летишь, душа, сквозь дуги света,
К опущенным глазам ее лети.

Вперед, сливаются две воли вместе,
Вперед и вверх, в седой полет снежинок.
Чего же ты теперь сама захочешь?
Возьми меня таким, каким я стал,
Хозяйкой будь во всем моем богатстве.
Путь кораблей —

вот твой извечный путь,
Дорога неустроенности трудной.
Прими его навек, как принял я.
Неважненький корабль тебе достался,
Но это всё ж корабль.

А ветер дует.
Вздымая к небу снеговые волны.

Ты смотришь исподлобья, бережешь
Свое иное, ласковое счастье.
Что ж, береги.

Тебя несет ко мне!
Под фонарем своим ты вверх летишь.
Сольются ль наши линии иль нет,
Не знаю — слишком много было горя
И опыта в обеих наших жизнях,
Чужих прикосновений и чужой
Любви неистребимой. Но гордись
Полетом радостным, путем комет
С чудесными павлиньими хвостами.
Смогу ли удержать тебя, не знаю.
Быть может, ты найдешь потом во мне
Лишь бедное тщеславье, грусть и робость
И беганье глазами перед каждым.
Не бойся —

это все-таки не я.
Быть может, я тебя увижу мрачной
И хриплой от застенчивости детской,
В делах тяжелой, в разговорах легкой
И двойственной.

Но это ведь не ты.
Ты — разная.

Но ты была в полете.

Итак, всё вверх и вверх, путями снега
В наш белый конус, в сказку эту нашу.

Ты упадешь потом в мои ладони
Московским, чистым, беленьким снежком.
Год повернул листок календаря,
И в ясной неизбежности мы мчимся
Навстречу, как небесные тела.
Всё свершено, не нужно больше думать.
Несутся разноцветные огни
Торжественного зимнего салюта.
И мы уже с тобой горюем вместе,
И радуемся вместе, и судьба
Обоих нас сейчас соединила,
И ночь, и переулочный фонарь.

Чего ты хочешь, знающая много?
Другой судьбы? Ее уже не будет,
И только бледность милых щек твоих,
Когда тебя встречаю, говорит
О всем значенье этой нашей встречи.
И снег всё падает, родной, московский,
В фуфаечках пуховых белый снег.
Увидишь ты меня с тобой сварливым
По целым дням, увидишь горьким, тусклым
По вечерам —

не верь, не это я.

Меня увидишь ты глядящим вбок,
Усталым от дурацких разговоров,
От никому не нужных смутных дум —
Не верь, не это я.

И, наконец,

Увидишь ты, как весел я с другими,
Неразговорчив, пасмурен с тобой —
Не верь, не это я.

Моя душа

Еще ясна. Она летит с тобой
В седом потоке рвущегося снега.

На запад мчат ночные поезда,
Неся с собой дыхание России,
Ее лесов, полей и городов.
И много там дремучих полустанков,
Где сразу ударяет одинокий,
Бессонный колокол, и в дверь выходит

Не спавший много суток человек
И машет фонарем — вперед, вперед.
Всё в темноте летящих черных елей,
И волчьих буераков, и гудящих
От бешеного дробота мостов.
Солдаты вскакивают, торопясь,
В нетопленные, темные теплушки
По эшелонам. Женщины стоят
У рупоров, покрытых чистым снегом.
Решается судьба земного шара,
Читает диктор медленно приказ,
И вновь гремят московские салюты. . .

Моя душа еще чиста. Она
Поет, как телеграфные столбы.
Ты ухо приложи к столбу и сразу
Услышишь шум морей и гул событий.
Широкий, постепенный, величавый
Гул времени, такой же неуклонный,
Как поступь эскалатора в метро.
Мороз.

И мы блуждаем под Москвою.
Гранитные и мраморные залы,
И эскалаторы — всё вверх и вниз.
Потоки лиц внимательных, усталых,
Воинственных, задумчивых, веселых.
Здесь был наш Китеж низко под Москвою.
Кутузов и Суворов в медальонах,
И Невский, и Донской на нас глядели.
Садись мы на твердые скамейки
И в одиноком громе подземелий
Решали под землей свою судьбу.

Ты самая обычная из многих,
Но есть в тебе особенная сила —
Вот эта гордость, до которой мне
Не дорасти в моем пути тяжелом,
Вот это сердце, узнанное мною,
Не узнанное многими другими,
В нем столько силы, твердости правдивой,
И ходишь ты в подземных галереях
Со станции на станцию, ты ищешь

Меня среди людей.

И снова поезд,
И на губах твоих, больших и пухлых,
Лежит неясная и скорбная улыбка,
Улыбка человека, под которым
Качается земля. Но только он
Свое достоинство как будто сохраняет.
О добрый друг мой, я тебя нашел
Среди огромных мировых событий!
И наверху идет опять последний
Февральский снег, сыпучий, словно сахар.

Живешь, живешь и вдруг нигде не сыщешь
Ни этих пепельных волос, ни глаз
Внимательных и серых, ни ресниц
Коротеньких и темных.

Только ты
Неясной и задумчивой улыбкой
Мне утверждаешь будущее.

Слушай!

Решается судьба земного шара,
Зеленые встают материки,
Друг друга оглушая грозным гулом,
А ты всё та же. В шапочке пушистой
Идешь, стучишь большими каблуками
И дышишь ветром вечера.

Летим.

Я очень бесприютный человек,
Я знаю все противоречья века,
Несущего в конце концов победу,
Победу человеческих стремлений
К единственно достойной мудрой жизни.
Я знаю песни, древние как память,
О пене, о свободе, о морях.
Передо мною письменный мой стол,
И он плывет во времени, как в море.
Вот это мой корабль, выдавший всё.
О чем ты думаешь, моя родная,
А может быть, не думаешь, а ждешь?
Зачем тревоге ты идешь навстречу?
Ведь жизнь твоя ясна, полна покоя,
Домашних сказок, чистых сказок. Что ж,

Останься с ними, вместе с ними будь.
Ты лучше скройся со своим лицом,
Растерянным и милым.

Я-то знаю,
Что будет много горя впереди
И труден путь, ну что ж, я не боюсь —
Так хорошо с тобою быть в полете.

Встречались мы с тобою под землей,
В метро на станциях.
Выходишь ночью —
Снег застигает всё, сухой, хороший,
Беспамятный, последний, слабый снег,
И ледяная сеть трамвайных рельсов,
Ночные комендантские патрули,
Москва военная полна победой.
Услышал наш неукротимый город,
Что скоро он по-новому вздохнет,
И это счастье обжигает сердце.

Над нами кружит, радостный и легкий,
Пуховый наш великорусский снег
Под затемненными седыми фонарями.
И наши там следы занесены,
А под землей следов ты не увидишь.
Да, там светло, скамейки, там тепло,
Там механизмы, мрамор и бетон,
Движенье эскалаторов, платформы,
Там всё рассчитано на сотни лет.
И всё же я зову тебя в полет
По белым исполинским трубам снега.
Летим, а там посмотрим, там видней,
Ведь это называют вдохновеньем!

Нужна ли ты мне в жизни или в смерти,
Не знаю. Но в такой тревожный вечер
Не уходи далёко:

я боюсь,
Что перервем мы путь ночного снега, —
Не в первый раз я встретился с тобой.
Остался нам великий путь тревоги,
Любовь, разлука, песни и труды.

Выходим мы туда, где кружит снег,
И вновь салют в неистовом полете
Шипящих, страстных, радужных огней.
Победа света!

И на свет глядят,
Закинув головы и улыбаясь, люди.
Ну что же, улетай путем ракет
Всё вверх и вверх, всё выше, всё смелее!
Достоин каждый человек полета
В любви, работе, творчестве и жизни,
В решающий для двух, особый час!
Ведь это чистота и вдохновенье,
Ведь это чувство близости и правды,
И горя, и достоинства людского,
И торжество над неизбежной смертью!
Такой бессмертный, человеческий путь.
Иных путей для жизни
я не знаю!

1945—1956

178. БАКУ! БАКУ!

Железная, резная дверь. Луна.
Луна резьбу пронизывает жадно
И стелется на каменном полу.
Лежат недвижно голубые крыши.
Ночной томящий душу барабан
И разрывающий пространство бубен...
Дутары. И встают, качаясь, тени
И медленно танцуют, как во сне.
Выходит нефть, сочась и задыхаясь,
Из ноздреватой почвы Апшерона.
Огромный полукруг живых огней.
И гавань пахнет морем и мазутом.
И если зорко устремить глаза,
Увидишь остров Нарген белостворный —
И маячок на створе и пролив,
Чуть-чуть мерцающий на горизонте.

Опять всё тот же грустный переулочек
Скобяников, лудильщиков, паяльных,

Замочных дел старинных мастеров.
Все эти лавки темные —

остаток
Твоей случайной жизни, и странна
Оставшаяся сила этой жизни.
И ответ из окна на тротуаре,
И лапы черные немых растений
Там, наверху, на третьем этаже,
Где льются полосатые обои.
Гудит и говорит полночный бубен.
Как бы возникшая из серой глины,
В однообразьи серого пространства —
Из огненно-горячих плоскогорий,
Из плоскодонья города, над морем
Встает, колеблясь, маленькая песня,
Такая тоненькая на ветру,
Что бубны держат песенку плечами.
Они встают в ладонях медно-смуглых
И медным бубенцом звенят в ушах.
Как хорошо гулять на свете бубну
На свадьбах и на проводах в дорогу,
Серьгами бубенцов легко звеня!

И ниже, ниже, ниже белой шалью,
Туманом белым, чистой пеленою
Летает девочка на плоской крыше,
Как девушки танцуют на Востоке,
Земли своей ногами не касаясь
И головой не прикасаясь к небу,
Жемчужная, как белое волненье
Каспийских волн за шумною кормой.
Дай руки мне, или глаза, иль плечи,
Чтобы идти с тобою в ту страну,
Где в полночь пляшет девочка на крыше,
Плывет и вьется, как волна тумана.
Гигантский мрачный разворот залива.
Не буду спать,
нет, я не буду спать!

Кровавым золотом встают во тьме
Огни далеких сажевых заводов,
А там, внизу, заезжий сценарист

Заказывает в сотый раз спокойный :
Ночной мотив «Дымок от папиросы»
И барышню выводит на балкон.
А впереди темно, и только Нарген
Горит огнем на створах,

и опять
Резная дверь, пробитая луною,
Старинная, железная, слепая,
И лестница за нею в никуда.
Не лучше ли мне сердце уронить
На каменных ее пустых ступенях!
И старая любовь гремит железом,
Вся заключенная в одном замке,
В том, что не раз мне ночью отпирали.

По лестничному сходу жизни этой
Хотел бы я пройти,
да не пришлось
Мне повторить, что столько раз бывало.
Я рухнул бы, качнувшись, на колени
В парадном, задохнувшемся от пыли,
Чтобы на битых стеклах стекленели
Большие колкие куски луны.
Чтобы простор лежал на плоских крышах,
И барабан гремел, и нестерпимо
Звенели бы над ночью два дутара —
И сердце милое твое, дрожа
От неустроенности, здесь бродило
Над полукругом черного залива.
Лежит в тревожном море остров Нарген,
Огонь печальный, путевой, далекий,
Нахмуренное, пасмурное небо,
Зурна полночная.

Каспийский ветер.
Каспийское волнение, мерный мрак.
И вдруг опять «Дымок от папиросы».
Всё жадное, летящее от счастья,
Как бы серебряные трубы ночи,
И я, седой, и мне немало лет.

Резные двери, песенка из мрака,
Железо на дверях, и близорукой

Беспечной девушки ребячий профиль.
Огни залива.

Я имею право
Стоять над телефоном до утра,
Звонить тебе в Москву. Ты улетила
Отсюда много лет тому назад. . .
Остывшие восточные базары,
Великолепье осени бакинской
В железных, голубых полурассветах —
На заревых, пустынных площадях,
На плоских крышах — глиняных ступенях.

А Нарген-остров брызжет синим светом.
И пароход, сверкая бортовыми
Огнями, входит в чистый полукруг.
Бьет, говорит полночный барабан,
О чем?

О том, что этот старый город
Превыше славы и сильнее горя,
Что, как ларец волшебный, он закрыт
Для каждого незнающего глаза.
Что в нем скопилось столько воли людских —
Дотронься, и они тебя раздавят.
Не смей входить сюда с неверным словом,
Не смей вводить сюда штыки беды!
Могучий город, сторбленный желонщик,
Сидящий на седом от зноя камне,
Владыка промыслов, отец богатства,
Земля святых огней. Порог Востока,
Залитый черной и багряной кровью,
Трагический и неусыпный страж
Подземных, заповеданных сокровищ,
Ворота Волчи бешеного ветра,
Источник страсти, силы и труда.
Рабочий город, черный от мазута,
От злого солнца, от былых лишений,
Приманка гордая для жадных взоров,
Для рук протянутых, для белых пальцев,
Не город — музыка на нотах ветра,
Не город — марево путей Востока,
Не город, а загадка стран полдневных.
Баку?! Баку! Разгадка снов моих.

Ты никогда не жил в таком накале,
Так не был страшен, героичен, беден,
Так сказочен, бредов и непонятен,
Как в дни, когда убили комиссаров
Твоих, Баку, в песках Ахча-Куймы.

Мечь, мечь и мечь!

Кричите, промысла!

Норд-ост на море. Ровный, нестерпимый
Каблучный стук британских часовых.
Год восемнадцатый.

Оркестр играет.

Проходят моряки, качаясь ровно,
Победные, в тяжелоскулом смехе,
Вразвалочку, как в Дублине, проходят.
Фанерные кантинки¹ возле складов.
Играет зло, отрывисто рояль.
Год восемнадцатый.

Постойте, было

Иль не было такое наважденье:
Ахча-Куйма, проклятый Мусават,
И вновь и вновь шагающие ночью
Британские ступни по парапету,
Шаги, шаги британских часовых.
Британский лев и тень единорога,
Пустынный вопль ночного муэдзина
Над городом и медная прохлада
Луны, застывшей около дворца.

Британцы дарят шоколад девчонкам,
Танцуют, жадные, и говорят
Бог знает что и тянутся руками,
Чтоб крепче тощих девочек обнять.
А ты идешь всё вверх, и вверх, и вверх.
А сзади всё шаги, шаги, шаги
Британских часовых по переулкам.
Вся известковая и страшная, как в детстве,
Тоска простенков.

Катится луна

И разбивается на тысячи осколков

¹ Солдатские кафе с музыкой.

В холодных лужах и ручных часах.
Все двери заперты.

Беги, луна,
Лети, дробясь на тысячи осколков,
На тысячи простых девичьих глаз.
Всё так же ты блистаешь в подростничьи
У девушек, когда они устали
И поднимают чистые глаза
В большое небо. Душное Баку.
Баку?! Баку!

Не стоит говорить,
Но стоит сердцу замирать от этих
Заветных слов. Баку, Баку, Баку!
Гудит, гудит и бьет полночный бубен,
Над крышами гуляет толстым звуком.
Остыли мертвые, остыли груди
Армянских жен и жен азербайджанских,
И девушек, веселых и невинных,
Безжалостно убитых этой ночью,
В часы шакальей, бешеной резни.
И кровь, рябя, бежит по переулку.
И вот он бьет то глуше, то прозрачней,
Полночный барабан, кровавый бубен,
Над изумрудным пологом залива.
Рассвет. Сураханы, Балаханы.

А возле штаба, где войска британцев,
Стоят купцы в каракулевых шапках,
Стоят предатели в визитках черных,
Стоят букетом разноцветным дамы...
Для всех ворота Индии раскрылись.
А Шаумян зарыт в Ахча-Куйме.
И возле штаба вдруг ревет машина:
Садится генерал с потухшей трубкой
И за Ворота Волчьи улетает.
О, эти Волчьи мертвые Ворота!
Ветра ущелий, чинные могилы
На кладбище английском, возле гребня,
Там, где теперь стоит гигантский Киров.
А может быть, всё это только бубен,
Пустой удар ночного барабана,
Несущего свой грохот через крыши,

И через жизнь мою, и через песню
О кованных дверях, резных и мрачных?

Колониальный лев приполз в Баку.
Израненный, но всё еще свирепый.
Приплыли транспорты из Энзелі.
Слешит по сходим статная пехота.
На пристани гремит в кафе солдатских
Регтайм — веселый танец, дед фокстрота.
И снова ночь.

Опять резная дверь,
Перед которой столько мы встречались.
И тень моя маячит изумленно
Перед виденьем этой темной двери.
И снова бьет полночный барабан.
По городу стучат, как ход часов,
Шаги британских часовых полночных.
Они тебя хотели повернуть,
Тебя, тебя, веселый, грозный город,
На путь иной, но не хватило силы,
А сила клокотала вся в Москве.

Огромный чан, наполненный людьми,
Коврами, дынями, лучами лета.
Но не придут уже к твоим стенам
Завоеватели, и будет мертв для них
И недоступен блеклый полог неба.
И аспидные тени за балконом,
Белье на умирающем ветру,
Норд-осты, пыль на улицах и посвист
Ночного ветра в черных переулках.
А Шаумян зарыт в Ахча-Куйме.

Баку?! Баку! Протягиваю руки
К тебе, железная резная дверь.
Полночный барабан гудит и бредит,
На плоских крышах молча ходят тени,
И виден черный разворот залива
И белые растворы маяка.
Регтайм гремит, идут ребята эти,
Те англичане, легкие владыки,
Теперь они давно уже лежат

На Верхнем кладбище в истлевших френчах.
Там говорит теперь с ветрами парк.
Стоит там Киров и глядит на Каспий.

Мусаватисты делят меж собою
Придуманные за ночь министерства,
И Нобель шлет ночные телеграммы
В британский штаб.

И Черчилль говорит
На языке империи всемирной.
Империя, подпертая махиной
Морей подлунных, жадно поглощает
Товары, снедь, и роскошь, и нужду.
Оскаленные рты, тяжелый шорох
Волны мазутной.

Дым от папиросы,
Взмах музыки и нетерпенье света.
Какой мне черт в душе тревожить вас,
О жадность человечья, и богатство,
И бычья страсть и похоть, волчья злоба,
И воля человечья, и обмылок
Тоскливой, бедной радости людской!
И слава мерзкая и глупость злая —
Венозная раздувшаяся кровь!

Империи протянутые руки
Через Моссул, Урфу, Багдад, Алеппо
Сюда, к заливу, в сердцевину нефти,
Коснулись пальцы черных, мертвых вышек
И судорожно сжали их в горсти.
Опийные притоны, бурый сумрак
И веки синие пустых девчонок.
Базары. Рев небритых спекулянтов.
Валюта. Пьяной крови торжество.
Резня идет в горбатых переулках,
И выстрелы пощелкивают сухо.
Морзянки отстучали:

«Пал Баку!»

Так пусть же ночью катится норд-ост,
И запах шашлыков, и грохот бубна!
Шатаясь, выбираютя девчонки
Из ножевых подвальчиков приморских.

В черкеске с газырями, с белой грудью
Выходит офицер, и замирает,
И вскрикивает, и хватает губы
Распухшими и мокрыми губами.

Все — будто крохи жизни человечесьей,
И только синева бакинской ночи
Огромными пространствами пустыми
Их раздвигает до пределов мира.
А Шаумян зарыт в Ахча-Куйме.

Ты, черный разворот Биби-Эйбата!
О город мой!

Ты для меня казался
Священным облаком.

Казалось мне,
Что если женщина одна исчезнет —
Исчезнет этот город, но неверно
Я думал так.

Чудес не существует!
Я разлюбил ее, но не исчез
Баку — великий город.

Ночь залива.
На крышах теги и тревожный бой
Ночного барабана.

Дай мне руку!..
Но я боюсь твоей руки.

Пожалуй,
Утянешь ты меня и заневолитишь.
Тебя, наверное, осталось горстка,
А может быть, и не было совсем?
А может быть, всё это темный грохот
Ночного барабана, темный ход
Через всю жизнь мою и через песню
О тех резных заржавленных дверях.

На пристани, как боги, говорят
Грудастые британские матросы.
Баку! Баку!

Резная дверь луны.
На плоских крышах бьется барабан,

На плоских крышах возникают тени,
Те облики людей, которых видит
Гигантская, седая тень залива,
Залив и створы белых маяков.

А англичане всё идут, идут
По белым мертвым ступеням предгорий
На Верхнее английское кладбище,
Где многие из них найдут покой.
Как веселы они!

Ворота ветра.

Балаханы, Сураханы.

Звериный
Колониальный город за окном,
Остуженное небо за балконом,
Норд-ост по переулкам, посвист ветра,
Белье, играющее на ветру.
Страсть человечья! Облако мазута,
Мазутные глаза, людская жадность,
Бесстыдство славы, глупость человечья,
И золото, и кровь земли сырая.
А Шаумян зарыт в Ахча-Куйме.

И мальчики английские, качаясь,
Идут небрежно, сдвинувши фуражки,
В карманах руки. Красный срез загара
На тонких шеях.

Посвист «Типперери».

Победные британские движенья.
Шагают мальчики навстречу смерти,
И Ленин поглядел на них в Кремле,
Где голуби от голода исчезли,
И молвил он:

— Мы скоро возвратимся —

А Шаумян зарыт в Ахча-Куйме!

Так вот куда вы нынче залетели,
Бродяги-мальчики в защитных френчах,
Идущие завоевать Восток.
Шашлычный запах, сбоку вылетают
Волненье музыки и грохот бубна.

Шатаясь, девочка выходит в кепке,
И держится за грудь, и отрывает
От сердца кашель.

И в тугой черкеске
С тугими усиками офицер
Над ней летит бесшумными плечами.
Летят на юг сиротки-журавли,
Рассвет стоит, как белый переулоч,
И вдруг за горло рвущий, беспредельный
Холодный голос черного рояля —
Рахманинов, и снова барабаны,
Опять шаги британских часовых.
Кидаю я куски своей души
В литую гладь, в каспийское волнение,
И круто поднимаются они,
Из самой глубины опять, родное
Каспийское обветренное море.
Блестя холодной рыбьей чешуею,
Стоит луна на капитанской вахте,
На пристани играет патефон.

Ярываю время.

Возникает
Раскидистое розовое пламя.
Над этим пламенем я восстаю,
С домов снимаю крыши и вникаю
В квадратики квартир.
Смотрю, смотрю!
О, сколько лет я, жадный, добиваюсь,
Чтоб сделался обычный мир волшебным.
Я жизнь свою, как ветку, положил
На красном ослепительном пороге
Необычайности. Грохочет буйно
Полночный барабан, всё бьет и бьет
На плоской крыше.

И бормочет старый
По переулкам, пыльным и кривым.
И каждый шаг тяжел, как наважденье.
Пойти туда! Беспечно разбудить
Коричневые тени на простенках.
О нет!

Из непонятной глубины

Каспийского сверкающего моря —
Взрыв музыки.

И глупая девчонка
С полуоткрытым от волненья ртом
Идет всю ночь Почтовым переулком,
Как розовое облако ночное.
Я перешел через ее судьбу,
Каспийское мое седое море.
Мне очень тяжело, ты не сердись
В огне тяжелых брызг, в ночном полете.
Люблю тебя, как женщину, как счастье,
Каспийское обветренное море,
Широкое от горя и свободы.
В подполье всё печатают листовки.
Оружие ложится в глубь подвалов.
Звучат шаги британских часовых.

Каспийское мое седое море,
О, серое, бросающее ночью
Волну прибоя лапами седыми!
О, полное блистающего шума
И разбивающее рыб о берег!
Опять шаги британских часовых.
И бубен говорит, прильнувший к уху:
— Ты, может быть, постиг меня?

Послушай! —

Бакинские над морем рвутся вышки,
Лиловая стена на горизонте.

А где-то Лианозовы бушуют,
Манташевы встают, как монументы,
И Нобель ходит — очень строгий старец.
И рядом с ним блестит телохранитель,
Играет маузерами черноусый.
И барабан, и бубен, и простор.
В Баилове всю ночь идет резня.
Расстреливают утром комиссаров,
И кровь дрожит на каменных ступенях.
Замшелые, сухие старики
В бараньих шапках поднимают пальцы,
Гортанно прославляют меч Ислама,
Зовут из дальних стран Энвер-пашу.

Британия, надменная страна,
Столетиями ты покоряла землю
Мечом, и парусом, и золотом твоим.
Британия! На миг ты победила,
На малый миг.

А что он стоит в жизни?
Лишь красный, лишней кровяной поток.
Но Кремль глядит на нищий этот праздник,
И Ленин видит балки мертвых вышек.
А Шаумян зарыт в Ахча-Куйме.
Разлеты музыки.

Концерт из окон —
Рахманинов, и темень кабаков,
Оттуда поутру, грустя, бредут
Девчонки русские, хвативши рому
И одиночества. Идет рассвет.
И ты идешь с тяжелой нотной папкой
Через свою судьбу. Ребенок нежный.
Так шла ты, близорукая, склоняясь
Над каждой лужей подсыхавшей крови
И озираясь возле переулков.
И выстрелы под утро раздавались,
И бубен разговаривал всё утро —
Тяжелый бубен в золотом кафтане.
Идет волна каспийского простора.
Звучат шаги британских часовых.
А Шаумян поднялся из могилы,
Пожаром крови встал над морем утра.
И лица комиссаров облаками
Багряными над Каспием клубятся.
— Жив, Азизбеков? — Жив!

— Жив, Джапаридзе?
— Я жив! — Ты, Фиолетов?

— Жив, товарищ! —
Восток в огне.

Заря над промыслами.
Смотри, горит Восток! Восток горит.
Мы в три шага перешагнули Каспий.
Мы у дверей твоих, Баку, Баку!
Всё бьет, всё говорит кровавый бубен.

Осенний день был золотист и рыж.
 Пылали в небе купола соборов.
 Наш Малый Николаевский дворец,
 Где я служил в Кремле, был полон света.
 А Кремль — корабль из камня — плыл над
 миром,

Курантным боем говоря с Москвой.
 Вдруг позвонили мне.

— Иди скорее!

Приехал Ленин. Выздоровел он.
 Он в кабинет вошел. . . Он в Совнарком! —
 Какая сила вынесла меня,
 Не знаю. Я бежал и задыхался.
 В молчаньи перед аркой Совнаркома
 Толпа стояла, очень небольшая,
 Смятенно как-то и сурово глядя
 На черный ленинский автомобиль.
 Шофер ходил, как звери ходят в клетке, —
 Вперед-назад. Опять вперед-назад.
 Москва была еще тогда тиха.
 Часы на Спасской медленно пробили.
 Весь золотой, по старой мостовой
 Скользнул шуршащий лист.

И вышел Ленин.

Он вышел медленно, но как бы быстро,
 Ссутулясь и немного припадая,
 Зажав в руке потрепанную кепку.
 Он вежливо ответил нам. Желтел
 Огромный лоб болезненно и влажно.
 Он всех коснулся взглядом, но глядел
 Прищуренными, жгучими глазами
 В такую даль, что и сказать нельзя.
 На небо посмотрел, на Совнарком,
 На стены — вековечный труд народа,
 На золотых орлов, тускневших в небе,
 На бронзу пушек — след Наполеона,
 На самый верх Никольской блеклой башни,
 Что сбили мы снарядом в Октябре,
 На всё, что мы зовем Кремлем, Москвой.
 Россией. Государством. Нашим миром.

Он на секунду обернулся к нам,
Чуть поднял руку, сделал два движенья
Ладонью — вверх и вниз. Да! Вверх и вниз.
Но он глядел на окна Совнаркома,
Те самые,

откуда виден мир.

Шофер, блестящий в ярко-черной коже,
Как смерть осунувшись за полчаса,
Рванул наотмашь дверцу. Взвыл мотор.
В последний раз прошла в окне машины
Отцовская, крутая голова.

Он понимал:

последний раз, прощай!
Последний раз, Москва, последний раз
Вы, окна Совнаркома, и последний
Раз

караул курсантов у ворот!
И молча в странной тишине осенней
Мы разошлись, ни слова не сказав
Друг другу.

Так простился Ленин
С тобой, Москва!

Он больше не вернулся?
Нет, он вернулся!

Слушай, это ты,
Ты, город мой, ты, свет и сердце мира,
Ты, жизнь. Бессонный говор миллионов.
Ты, пламя негасимое народа,
Отлив, прилив истории людской,
Источник вечной юности планеты,
Глашатай трудной правды на земле.
Ты, город мой, великий, несуразный,
Кривоарбатский и замоскворецкий,
С официальным холодом порталов,
С нелепыми фигурами на крышах —
Не то людей, не то эмблем бетонных,
С немymi высями высотных зданий
Среди лачуг, изъеденных коростой,
С однообразьем высаженных лип.
Ты, город без начала и конца,
Где вдруг воздвигнется гряда из камня

Над избяной бревенчатой трухой,
Или сомнут небритые домишки
Квадратный бред француза Корбюзье,
Или пройдет такая ширина,
И высота, и свет, и четкость линий,
Что сразу успокоится душа.

Что делать мне, плохому сыну века?
Я был с тобой, мой город, я хотел
Преображенных, умудренных лиц
И юности безоблачной и статной,
Прохладных улиц, холода музеев
И мраморных людей в тени колонн,
И книг, и справедливости.

Но это
Не так всё было просто. Из глубин
Природы человеческой я сам
Приподнял силы горя и преграды.
Но сам я твердо верил. И над миром
Я нес одну звезду, шуршащий сноп,
Победу света, листья лип московских,
Пречистенских, остоженских, шумящих
От пламени людей, чьи голоса,
Горячие и жадные, встречались
Порою с ледниками красноречья,
Постановлений, смет, неверных цифр,
С чиновничьим, свинцовым равнодушьем,
С предательством и горечью его.

Здесь под вечер я видел старичка,
Бровастого, колючего, сухого,
В пальто потертом и помятой шляпе,
С какой-то странной палкою в руке.
Я снизу вверх косился на него.
Он что-то мне сказал — я застеснялся.
И кто-то рядом охнул:

— Лев Толстой!

Да было ли всё это наяву?
Ходил ли я с Дзержинским в «Метрополь»,
Остробородым, остроглазым, остро-
Угольным, проверяя бронь билетов

Командировочных, храпящих на полу?
Быть может, это сны, и сны, и сны?
Нет, это всё двадцатый век!

Громада
Событий, лиц, движений беспримерных
В душе народа.

Это сам народ,
Всё создающий, судящий, берущий
От каждого по крохотной черте,
Формующий из всех обличье века.
Я сам в него вложил крупицу жизни —
Я что-то пел, я что-то говорил,
Кого-то убивал, в кого-то верил.
И через жизнь мою прошла, как совесть,
Отцовская, крутая голова
В стекле кремлевской, латаной машины.
Он разве не вернется?

Нет, вернется!
Что движет человечеством?

Любовь,
Иль темный голод, или страсть творенья,
Борьба за жизнь, инстинкт или простор,
Что впереди проложен каждым шагом?
Пойми, познай!

Но мы,
мы шли за ним,
Не бронзовым, не мраморным, не книжным —
Живым, пока в груди у нас дыханье.

Взрыв бурной музыки. Шаг миллионов
На демонстрациях, парадах майских,
В октябрьских, ветром двинутых колоннах.
И вдруг Москва Димитрова встречает.
В громовом, жарком, перекатном гуле
Плывет болгарин, победивший смерть.
Челюскинцы. Идет Валерий Чкалов,
Уверенно-восторженный. Идут
Папанинцы.

Хоронят стратонавтов.
На Красной площади салют победы,
Объятия, теплые ладони мая,
Бушующий прибой спешащих толп.

Скажи, мой город, разве ты не видел,
Что в каждом облике народной славы,
Что в каждом подвиге являлся Ленин,
Тот, с рыжеватой жесткою бородкой,
Невиданный на свете человек,
Сам никогда не думавший о славе?

С тобой я говорю, мой вечный город —
Оплот труда, работ, творящей мысли.
Ты слышал клятву Сталина? Его
Пронзительную речь в Большом театре?
Он медленно произносил:

«Клянемся

Тебе, товарищ Ленин!»

Мы клялись.

Но все ли клятвы мы потом сдержали?
Да, клятвы все сдержал потом народ,
И в том была его большая правда.

Ты, город мой, надежда всех народов,
Ты, город мой, наивный, как ребенок,
И мудрый в грозной красоте событий.
Ты ошибался тысячью ошибок.
Ты верил мишуре и грому маршей.
Но, как бы ни свершались все ошибки,
Во всех твоих деяньях и заботах,
Во всех народных радостях и бедах,
Едва на миг задумаешься, город,
Проступят ясно Ленина черты.

О город молодой, восьмисотлетний,
Бурли, бурли, шагай шагами вузов,
Гляди глазами девушек бессонных,
Тех, что, окончив школы, собрались
На Красной площади и до рассвета
Прощаются, мечтают и поют.
Гляди глазами юношей, сидящих
На Ленинских горах, в заре летучей
Решающих, что делать в новой жизни,
Какой прямой избрать по жизни путь.
А липы молодые чуть трепещут.
Ново-Девичий монастырь в тумане.

Лежат гигантской чашей Лужники.
Во имя этих юных будем жить,
О город мой, ни разу не солгавший
Ни времени, ни юности, ни миру.

Ты видел, как догматиков скрипучих
В мертвящий плен цитаты загоняли.
И всё же, вопреки железной скуке,
Рвались под солнце зло, неудержимо
Десятки тысяч подлинных людей,
Талантливых, умелых, непреклонных.
Кто выводил их к свету?

Вел Октябрь,
Ни с чем на целом свете не сравнимый,
Та ленинская теплая ладонь,
Что на плече своем услышит каждый,
Кто хочет шагом твердым жизнь пройти.
Шаги, шаги, шаги, шаги, шаги.
Шаги тяжелые, шаги прямые,
Веселые шаги, шаги надежды,
И молодости, и решенья. Шаг
Батальонов. Шаг полночной смены.
Лукавые и легкие шаги
Девичества. Усталый шаг ученых.
Шаг физкультурников, широкий, четкий.
Мечтательный и звонкий шаг весны.
Но чьи я слышу длинные шаги
И трости стук на выбитом асфальте?
То Маяковский ночью по Тверской
Идет домой, огромный, одинокий.
Апрель. Капели. Вогнутая ночь
От ветра, одиночества и силы,
Которая уже уперлась в стену
Еще ему неведомых времен.
Идите, Маяковский. Правда с вами,
Колючая и тяжкая.

Идите!

Идите через смерть. Не становитесь
Опорой для начетчиков.

Спешите

Туда, куда вас звал в поэме Ленин, —
В бессмертье, в чистый ветер Октября.

О город мой, ты знаешь силу века,
Ты знаешь тяжесть государства.

Знаешь,
Как в Петербурге грозный Медный Всадник
Мятущуюся душу раздавил?

Скажи, чем будет кончен вечный спор
Между одной на свете единицей
И государством.

Между личным счастьем
И государством.

Между личной волей
И государством.

Между личной правдой
И государством?

Совершится чудо.
Никто не будет вслед за мной скакать,
Звеня топчущей столетней бронзой!
Я сам пойду по золотой стезе
Той государственности, что ведет
Меня к родному ленинскому свету,
И, если от него я уклонюсь,
Мне будет плохо, не кому другому,
Как человеку, что пошел на холод
Из теплого родительского дома.

Пойми меня, мой непреклонный город!
Всё, что я вижу впереди себя,
Вокруг себя и позади, ты слышишь,
Я сделал сам: обычаи, законы,
Опору государства и устои —
Всё это создал я по зову сердца,
По воле собственной,

по чувству долга.
За это всё, ты слышишь,

я в ответе...

Фадеев, старый друг, сверкни опять
Глазами голубыми, с легкой злинкой,
С невероятной преданностью жизни.
Опять живи, как песня, среди нас,
Но только б одиночество не жало
Большую грудь так холодно и дико.

Веселый комиссар, гуляка мудрый,
Иди Москвою!

Я не верю в смерть!
Москва моя, есть на твоих знаменах
Кровь юности и дерзости моей.
Поистине погибну я в тот миг,
Когда предам себя во власть сомненья.
Но дух трагедии тревожит камни
Священных стен твоих, моя Москва.
И дух трагедии есть очищенье,
Упорство, гордость, непреклонный взлет.

Я верил в бога, я любил его,
Я видел бога.

Он сидел во тьме,
Старинный, одинокий, непонятный,
Держа в руках модель самолета
Работы первых строгих мастеров,
Мечтавших в девятнадцатом столетье
О высшей правде и победе человека
Над безобразным скопищем стихий.
Молился я ему. В цветные стекла
Стремился вечер. Мерное кадило
Вздыхало, колебалось, говорило.
В открытое окно шел легкий запах
Бульваров, мостовых и очень строгой,
Глубокой, вечерающей Москвы.
И батюшка в потертой желтой ризе
Невнятно бормотал о той же правде,
Что авиаторы последнего столетья
Хотели принести как жертву мне.
И это было всё едино:

бог

И Блерио, лобастый Менделеев,
Кюри, Пастер, Попов, Жуковский, Нансен —
Все люди-полубоги, все громады
В тяжелых бородах, в потертых фраках,
Солидные и грозные, как тучи,
Летающие над веком грозных снов.
Да, я молился.

Рослый, темнобровый,
Вставал Христос в огнях паникадила

И обещал смирение сердец,
И вечный мир, и тишину, и славу.
Всё детство трепетало в синей мгле...
Ведь я ребенок был, ребенок века,
Птенец неоперенный, полный веры
В кинематограф, лифт и телефон,
В трамвай, в Жюль Верна, в лимузины Форда.

Немало лет прошло уже с тех пор.
Я распят был болезнью в трудный час,
И в грозовую ночь мне бог приснился.
Я видел бога.

Он сидел во тьме,
Держа в руках модель атомной бомбы.
Не тот он был, что в детстве,

нет, не тот,
Угрюмее, грустнее и тревожней,
И сам дивился он тому, что создал.
Нет, не тому, что создал,

а тому,
Что быстро создали его создання,—
Печам Майданека, концлагерям,
Неслыханным предательствам и пыткам
И этим полушарьям из урана
В чуть-чуть дрожащей старческой руке.

И стало мне во сне так жалко бога:
Ведь только миг —

зевнет, как солнце,
взрыв,

И всё начнется с гибели вселенной.
И что-то детское я видел в нем,
Беспомощное перед наваждением
Холодных, точных форм существованья.
И так несчастна эта ночь была,
Несчастлива потому, что мне хотелось
Вершины человеческого счастья.
А видел я лишь атомную бомбу
В дрожащих бледных пальцах старика.
Вся гордость человечества.

Все муки
Людей, сидевших за седым огарком,

За тусклой лампой в дряхлом абажуре,
Перед которыми скопленья звезд,
Строение материи, весь смысл
Прекрасных и живых законов мира —
Раскрытая и понятая книга.
Все муки этих сумрачных и тихих,
Остробородых, лысых, близоруких
Ко мне пришли в ту ночь.

Я понимал
Тоску великих мировых открытий,
И, если есть на свете справедливость,
Я понимал ее.

Земля не стерпит,
Чтобы ее зеленый, грешный мир
Испепелен был скупой и бесстыдно,
Так ханжески и зло.

Горел ночник,
А за окном ты говорил, мой город.
Проснулся я.

И был осенне-рыж
Тот день выздоровленья. И казалось
Мне, что проехал кто-то дорогой,
Больной, но несгибаемый и твердый
В своей святой конечной вере в счастье,
Проехал в старой, латаной машине.

И всё же грозны силы человека,
Неисчерпаемы, бездонны, мерзки,
Чудесны, героичны.

Нет конца
Великим человеческим стремленьям,
И долго в человеке зверь таится.
Здесь ни один философ не сумеет
Найти предел, иль меру, иль объем.
И разве мог себе представить Маркс,
И разве мог уже предвидеть Ленин
Сожженье в полыхающих печах
Мильонов стариков, детей и женщин,
Испепеленье рас, племен, народов?
Кто, проносясь по Невскому, смеяся
Морозцу легкому, поверить мог
В смертельную блокаду Ленинграда?

Нет, в человечестве есть запасные силы
Добра и героизма, тьмы и страсти.

Что мне сказать,

плохому сыну века?

Я только много видевший свидетель,
Испуганный своим высоким знаньем.
Но я хочу страстней и беспристрастней
О времени и людях говорить.

Мне ничего не надо.

Я хочу

Лишь права сказки, права распадаться
На сотни мыслей, образов, сравнений,
На миллион осмысленных вещей,
Откуда снова возникает цельность,
Большие руки ласковых героев,
Правдивые и мудрые легенды.

Ты знаешь, город мой, душа России,
Ты знаешь:

в нашем мире человек

Оценивает жизнь свою сполна,
Смысл целой жизни — по своей эпохе,
По лучшему, чистейшему, что в ней
Он увидел, услышал и продумал,
Что понял неожиданно в бою,
В труде, в страданье, в подвиге народном.
О город мой, ты для меня вожатый
На всем моем пути. С тобой вошла
Моя душа в атомный век.

Вошла

В ускоренное, взвихренное время
Несущихся космических частиц.
Вошла душа в большое время правды,
Той правды, что для нас, людей, одна.
И жертвенность, и героизм, и гордость,
Что так привычны нашему народу,
Беспрекословно служат этой правде.
Народ великий, терпеливый, грозный
В терпении своем, в своем размахе
Не для того переносил невзгоды,

Невиданные тяготы и беды,
Чтоб усомниться в самой чистой правде.
Которую своей железной волей
Поставил выше всех на свете правд.
А в этой правде есть и быль и сказка.
Без сказок правды в мире не бывает.

И вера в человечество,
и вера
В родную землю,
в равенство людей
Перед Октябрьским, ленинским законом.
Ведь через нашу жизнь прошла, как совесть,
Отцовская, крутая голова.
Мы шли за ним.
Всегда, всегда за ним.
За Лениным. За нашим человеком,
Не бронзовым, не мраморным, не книжным,
Живым, пока в груди у нас дыханье.
Но помнишь — он с тобой в Кремле
протислся,
О город мой, звезда моя и слава,
В осенний, золотисто-рыжий день?
Он умер?
Нет, не умер!
Он вернулся!
Где видишь ты его?
Он рядом с нами.

1956

180. ЮНОСТЬ

Сегодня ночь простора, почь луны.
Пусть море Черное шумит.
Луна
Пускай со мною по шоссе походит —
Туда, обратно и опять туда.
Она такая милая, луна,
И легкая, вся в золотистом ситце
И тувельках из белого сиянья.

Пойдем с тобой, луна, над лунным морем
Всё выше, выше, к соснам Кореиза,
О, золотой, кисейный свет весны!
Девические вздохи ветра. Запах
Горелого навоза и корней
На виноградниках.

Тревожный.

Древний.

Там, наверху, — колонны корпусов,
Веранды и квадраты черных окон,
А выше — дом, игрушечный, беленый.
Ты слышишь — там она!

Одна она,

Вся вытянувшись, спит и тихо дышит.
А икры чуть шершавы, и ложбинка
Между грудей влажна чуть-чуть от сна.
И маленькие уши, а вокруг
Такая свежесть всех вещей и звуков,
Что не сравнишь ни с чем.

Нагорный ветер.

Спортивные плакаты. Расписание
Уроков плавания. Мячи. Ракетки.
И запах чебреца и дикой мяты,
Как при начале мира.

Крепко спит

На простынях, холщовых, грубых, серых.
Откинутые руки. Взрыв волос,
Обжегший всю подушку рыжим жаром.
Такое длинное, лепное тело,
Укрытое солдатским одеялом,
Чуть худощавое, налитое весной.

Ты, маленькая комната нагорий,
Наполненная рокотом цикад,
Ударами играющего моря,
Соленым бризом, светом, женским сном.
Ты, маленькая комната нагорий,
С окном, открытым прямо в парк.

Луна,

Ты здесь, ты не ушла?

Скорей заглянем

Туда. Засыплем лепестками вишни

Весь пол, подушку, одеяло, платье
С такими ярко-красными цветами,
Что даже ночью устают глаза.
А я смотреть на чудо не устану,
На это чудо радости моей
И молодости.

Нет, я власть имею
Всё раскрывать, всё видеть этой ночью.
Седой прожектор ходит на мысу.

А комната живет особой жизнью,
Дыханьем спящей, запахом вещей
И запахом дыханья, столь прозрачным,
Как лунный свет, прохладный лунный свет.
Еще здесь патефонные пластинки
И стопки книг. Секундомер. Копье.
Автомобили мчатся в Севастополь,
По верхнему шоссе бессонно мчатся.
И фары вдруг выхватывают жадно
Тех, кто прижались, обнялись, замолкли.
А на площадке фонари горят,
Неведомо зачем. Там танцевали
И свет забыли выключить. И трубы
Еще несут над парком ритм весны.

Но ты ведь ждешь меня.

Ты ждешь?

Твое

Литое тело нам поет о счастье,
О чистоте, о том, что расцветает
Всё на земле, всё в море, всё на небе.
И мощно дышат горные леса
Навстречу черному дыханью моря.

А под подушкой тихий сон, урчит
Котенок маленький или соенок серый.
И всё укрыто ветерком нагорий,
И крики сов:

— Я сплю, я сплю, я сплю!..

Спи, недопонятая мною, спи!
Спи, недоузнанная мною в мире,

Спи, недолюбленная, спи, как в детстве,
Инструктор спорта, юность комсомола,
Вся влажная, вся с привкусом полыни
На горьких и изогнутых губах.
Кругом ракетки, тапочки и плавки,
Проглаженные ветерком нагорий,
Огромные, как смерть, столбы луны.
Пылают синие зубцы Ай-Петри.
Движенье соков. Шорох и прохлада.
А за окном шаги.

Но это ведь не я.

Проходят люди, те, кто позабыли
Про гордость и про молодость свою.

Спи, завернувшись в одеяло ночи
И юности своей, с налетом соли
Морской на длинном и прохладном теле.
Спи, торжество мое, начало песни,
Что через жизнь мою, смеясь, летела,
И оборачивалась, и дразнила
Изогнутыми, алыми губами:
— Поймай меня и удержи меня!

Спи, мир творившая со мною вместе,
На молодой земле, едва просохшей
От крови Перекопа и Кронштадта,
На молодой земле, не принимавшей
Бесстыдного чиновника, который,
Одышливо вздыхая, одевает
В халат больничный голую Венеру.
На молодой земле, где Ленин жил,
Где слушал он Бетховена в молчанье,
А не веселый марш «ребят веселых».

Всё, чем гордиться только могут люди,
Всё это создавали мы впервые
И щедро раздавали всем народам.
— Берите! Чувств и мыслей наших хватит
Еще на два других планетных шара.
Да, мы богаты духом!

Посмотрите,

В каком великолепии мы живем!

Я слышу — дышишь ты легко и тихо.
Ведь вызвал я из времени тебя
Проспать всю эту ночь весной на взгорье
В беленом домике среди ракеток,
И тапок, и мячей для волейбола,
Чтобы с душой своей пробыть всю ночь.
Мы изменили прошлому?

О нет!

Трагически-прекрасно было время
Гигантских строек, подвигов, трудов,
Подвижничества, юного геройства,
Когда мы землю снова покоряли
Лопатою, киркою, топором,
А после — экскаватором и краном.
Над смертью Маяковского,
ты слышишь,
Всходила песня самоотреченья,
Сама себе сдавив руками горло
И твердо чувствуя себя счастливой.

Пусть листья не шумят.

Я вспоминаю:

Проходят люди, битвы, города.
Народ одолевал всё горе верой,
Он жадно верил юности своей,
Той молодости ленинской усмешки,
Той юности, единственной на свете,
Такой понятной, светлой, неподкупной,
Что для нее на свете всё простишь.
И человек, как смерч, летел к Мадриду,
Чтобы смести фашизм. Читал «Гренаду»,
Изведал горе, радость, ужас смерти
И жизнь окончил в небе над Берлином.

О молодость неслыханного мира,
Те десять дней, что потрясли весь мир,
Ты, молодость, сердца не выдавала
На посрамленье.

Ты переносила

Все тяготы, все беды, все сомненья
И самый тяжкий, грозный труд войны.

Теряла всё, на виселицах стыла,
В печах сгорала и под танк кидалась,
В блокаде умирала, смерть стыдила,
Народы поднимала. На рейхстаг
Вносила знамя. Жертвовала всем.

Да, сила юности зовет меня,
Той юности, единственной на свете,
Такой понятной, светлой, неподкупной,
Что миллионы гибли за нее.
Той юности, что в ленинской квартире
Сидит и смотрит на плетеном кресле
В такую даль, что и сказать нельзя.

Она жива!

Ты слышишь — нету в мире
Той силы, чтобы юность погубила.
Она зовет нас:

— Говорите правду,
Творите людям честное добро,
Навеки станьте под октябрьским ветром,
Чистейшим ветром с моря и Невы,
С горбатых переулков Красной Пресни. —
И каждого та юность ободряет:
— Ты человек, так будь самим собой,
Будь гордым, справедливым и свободным,
Ни перед кем не унижай себя. —

А шар земной —

он выкруглен для счастья!

Жук-часовщик спокойно точит стену.
Приходит с моря ровный, свежий бриз.
Полночный бриз, тебя мы называли
«Тугие паруса».

Тугие паруса,
Скорей будите ту, что крепко спит
Под ласковым солдатским одеялом,
Как молодость ушедшая моя.
Я жить хочу с живыми прежних дней,
Со всем, что нынче молодо и чисто.

Ты, молодость моя, ты, юность мира,
Будь путеводной, голубой звездой,
Ты, длиннотелая, с руками света,
За голову закинутыми.

Ты

В полночных хорах маленьких цикад,
Сверчков, гремящих по всему нагорью,
Вся в полотняном холоде луны,
Опять явись, как прежде появлялась.
Поэзия! Бессребренная слава
В холщовом платье, в тоненьких сандалях,
Проснись! В тебе такие силы есть,
Каких не знала память человека.

Хочу прохладного, тугого сна.
Хочу, чтоб мир был непреклонным, чистым.
Воспоминаньями не мучь меня.
Как вечный ритм трудов, работ, забот,
Электростанция стучит в ущелье.
Пусть снова всколыхнется полог звезд
И снова зазвучит во всем величье
Седая колыбельная сверчков.
Пусть люди мирно спят и видят сны
Счастливые. И пусть зашелестит
И развернется под луною книга,
Земная книга воли и свободы.
Пусть в нашем мире воцарится юность.

Тебя я вымыл месяцем и ветром.
Проснись и приходи под небо юга.
Вся в песнях ветра, в грохоте приборев,
Скорей явись!

Тебя я вызываю

Из времени, пространства и судьбы.

Дыханье молодости слышит мир,
Рожденный, чтобы вечно обновляться.
Так будем вечно обновлять его!

181. СКАЗКА О ЗЕЛЕННЫХ ШАРАХ

На той земле, в том времени, повсюду
Раскинулись зеленые лужайки,
Над ними шли воздушные шары
Зелеными и синими кругами,
И были там спортивные площадки,
Газоны, сизые от летних ливней,
Скамеек спины стройно изгибались.
Там были девочки с мячом, и клевер,
И кашка белая — медвяный шарик.
И кухнями в домах чудесно пахло,
И даже днем горели в небе звезды.
И это было так, как я сказал.
Стояла радуга в цветастом платье,
Над круглыми деревьями склоняясь.
Крутились утки в маленьких бассейнах,
Дроздиный вечер был, дрозды летали,
Обмениваясь легкими словами.
Так быстро говорить, как говорили
Дрозды в тот вечер, трудно человеку.
Зеленые решетки разделяли
Сады чужие, но не слишком строго.
И можно было видеть рост растений,
И завиванье хмеля, и летучий
Хвост семицветной радуги в садах.
Ходили там спокойные собаки,
Помахивая толстыми хвостами.
В одном саду гулял лукавый еж.
Был дождь, июльский дождь, и будет снова.

Вся зелень, ощетинясь, потемнела.
Сгустился воздух, сделался лиловым.
Сейчас придет широкая гроза.
Повсюду пирожки пекут на масле,
Пирожные с ладонь величиною.
И проплывают золотые рыбки —
Так... просто в воздухе — и после них
Серебряные стелются дорожки.
Большие синие стоят стрекозы,
Не опускаясь и не поднимаясь.
Играют дети, правильно бросая
Зеленые и красные мячи.
Здесь духи труб, дверей и черепиц,
Здесь палисадники полны вьюнками,
Глядит труба в окне у астронома,
Направленная прямо в сердце неба.
Выходит астроном, цветы срезает,
Из темной лейки поливает грядку
И поправляет крупные очки.
Играют всюду звучные рояли,
И двери белые в домах открыты,
И девочка веселая, как птица,
С хорошим, толстым носиком выходит,
И слушает, и ждет больших чудес.
Известно ей, что дерево каштан
Гудит, как шмель, что там живут на ветках
Миллионы тысяч этих всяких, разных,
А выше их, смеясь, сидят дрозды.
К дроздиному закату выше, выше,
К зеленым искрам на ветвях каштана!
Здесь люди вечера в зеленых платьях
Зеленые стоят в тени деревьев
И прячутся. Кузнечики гремят,
Играя на своих зубчатых ножках.
Выходят дождевые червяки
Шнурками из промоченных дорожек.
Еще играют на площадке в теннис
И отбивают звонкие мячи.
Из дома одного так сильно пахнет
Котлетами, что около него
Сидят, вздыхая, вежливые кошки.
И мальчик темный с круглыми ушами

Глядит, насупившись, — кошачий мальчик.
Гром пробегает, как вечерний поезд.
Так сильно пахнет розами и тмином,
Укропом, огородным сельдереем,
Что это всё нельзя передышать.
А девочка всё ходит, толстоносик,
Шныряя всюду жадными ноздрями.
Открыты ей дворы, предметов души
И настроенье утвари домашней,
Которое едва ли кто приметит.
Ей самая пора познать себя
Хозяйкой всей земли, хозяйкой дома.
К ней на руки, треща, садятся крылья
Широколапых, медленных жуков.
Как струны белые, встает до неба
Движение гамм по клавишам рояля.
Иди, хозяйка, говоря каштаны,
Покуда пирожки пищат, как мыши.
Дрозды, бранясь, перегибают ветки,
И плавают зеленые шары.
Становится земля зеленым вальсом,
Раскинутым, как руки, под грозой,
Кружи, лети, неси в больших ноздрях
Торжественные запахи июля.
Как будто лампы желтые зажглись,
И сизый свод перед грозой темнеет.
Рвануло молнией среди садов,
Открыли рты, дрожа, гелиотропы,
И пролетел по теннисным площадкам
Танцующий, совсем невнятный дождь.
Она, та девочка, была созданием
Из нашей плоти, нашей жаркой крови.
Ей встретился кошачий темный мальчик,
Он поглядел на девочку угрюмо
И не ответил на ее улыбку.
Вдруг, перечеркивая бровью небо,
Летит звезда параболой огромной
И падает, сверкая, на лугу.
К ней подбегает старый астроном,
Открывший настезь шумную калитку,
И схватывает быструю звезду
Щипцами сахарными за ресницы.

Исходит от звезды тончайший визг,
Летят по лугу голубые искры.
Шипит, шипит звезда, не умолкая.
«Опять на свете будет очень плохо», —
Так говорит сурово астроном.
«Да, будет плохо», — вторит темный мальчик.
«Что ж делать?» — снова говорит ученый,
Держа звезду железными щипцами.
«Нет, я хочу, чтоб всё навек осталось
Хорошим и счастливым. Я хочу,
Чтоб к нам не падали такие звезды», —
Так девочка сказала в страшный час
И поднялась над лугом, как пушинка,
Покачиваясь в легком, в белом платье.
Всё поднимается, плывет она
Над грозными деревьями всё выше.
Зарницы быстроглазые бегут,
И люди по домам бегут, скрываясь.
Кошачий мальчик, заслонив глаза
Ладонью темной, жадно смотрит снизу
На башмачки, летящие над лугом.
Звезда сверкает, вжатая в щипцы,
Внизу, шипя на бесконечных травах.
Летит над листьями, подняв плечо,
Большая девочка в шумящем платье
И говорит ночному мирозданию,
Площадкам белым, черепичным крышам,
Клубящемуся грозовому небу:
«Да, я хочу, чтоб у меня потом
Родились дети, чтобы никогда
Не погибали люди страшной смертью».
Деревьев кроны покатались книзу,
Дроздины заколыхались гнезда.
Мир непомерный шел под башмачками
В тяжелых пятнах лунной черноты.
Летела девочка над этим миром,
Кружилась на ветру послегрозовом,
И разные создания природы
К ней подлетали, чтобы поглядеть.
«Хочу, чтоб всюду было только счастье!»
Звезда внизу погасла.

И возникла

Над новым миром новая луна.
Пока она, кружась, летела в платье,
Легчайшем, обдуваемом ветрами,
Все слушали «Последние известья».
И только песня лунная вставала,
Так протянувшись от земли до неба,
Как светлая девическая гамма.
Погасли лампы, ибо все уснули.
Один стоял в тени кошачий мальчик,
Глядел, как, закружившись, проплывала
Откинувшая худенькие локти
Былинка-девочка — людское счастье.
А в темно-голубую ночь июля
Дышал упругий, мужественный, тихий,
Весь воздух заполняющий укроп.

1943 или 1945

182. ДОРОГА В ГОРЫ

Растет прибой и темный запах моря,
От памятника Ленина с обычным
Бетонным пьедесталом, от акаций
Больных и тощих, от романских окон
Кино «Восток» на сумрачной заре,
По улице, длиною в двести метров,
По главной улице. . .

Пылают окна
Универмага. Слышен шум подметок —
Здесь самый ход московских инженеров,
Румяных фифок, возжелавших чуда,
Секретарей заоблачных райкомов
Из Ботлиха, Гуниба и Ахваха
В крылатых бурках, в пасмурных папахах,
С кинжалами и сумками.

По той же
Величественной улице, где строго
Вознесся строй дорических колонн
И маленькие кубы наркоматов.

Акации. Шаги. Сухой асфальт,
А дальше галька, шумные деревья,

Кунацкие, рябые переулки,
Любовная восточная тоска.

Летит машина, полная простора,
К музею, где торжественно пылает
Седло Шамяля, пистолет и шашка,
И ядра русских, и немые реки
Кровавых горных маковых ковров.
Каспийский ветер мчит мильон пылинок.
Играет радио. Пивной ларек
Шумит, как раковина. Впереди
Громада гор.

И мимо Веры Ц.

Летит машина. Низенький и белый
Дом на бульваре. Шторы и цветы.
И лампа на буфете, и старинный,
Остывший зной ковров и половиц.

А Вера быстро надевает платье
Безумно-синее, шуршит шелками.
Ее большие, темные глаза
Спят на лице, красивом и тяжелом.
Она пристойно оголяет спину.
А мама за стеной стучит посудой,
Уходит, ставит водку и вздыхает.

Ну, мимо Совнаркома, где с балкона
Глядит дежурный в чистом лунном свете.
Президиум Верховного Совета
Всё в том же двухэтажном, милом здании.
Охранник, очумевший от москитов,
Без пропуска пускает в обе двери —
Романтика высоких, чистых гор.

И мимо длинной фабрики текстильной.
Где, словно духи душных общежитий,
Выглядывают смуглые хохлушки,
Туда, где бересклет, жасмин, шиповник,
Туда, где полукруглый взлет дороги
В шуршаньи шин легко несет наверх,
Туда, где каждый куст поет о высшем
Неведомом и несусветном счастье,

Туда — всё вверх и вверх!

Машина стонет,

Срывается, гудит.

Всё вверх и вверх!

И гравий мой, веселый, шумный гравий,
Летит из-под колес.

Всё вверх и вверх!

Дорога эта мне знакома. Ночью
Сюда не приезжал, а прилетал
Серго в огромной, словно ночь, машине.
Тот человек, чье имя было в небе,
В гигантском небе памяти. Один
Из тех любимых, дорогих для сердца,
Овеянных бессмертной, ровной славой.

И вот летит дорога. Вот он — дом,
Тот, где живут, играют, отдыхают.
Дом высоко на взгорье. Здесь кусты,
Боярышник и лунные просветы.
Ну, вот и мы. Двухъярусный коттедж,
Неудержимый запах биллиардных
И запах спален и шашлычной.

Вот —

Вот это то, о чем мечтала Вера!

Гостиные. Расстроенный рояль.
Наигрыванье медленное ночью
Рукою неискусной. И сидят
Полудрузья. Какой, однако, случай!
О, год тридцать седьмой, тридцать седьмой!
Арест произойдет сегодня ночью.
Все кем-то преданы сейчас.

А кто

Кем предан понапрасну — я не знаю,
Уж слишком честны, откровенны лица.
Кто на допросе выкрикнул неправду?
Судьба не в счет. Здесь все обречены.
И ждут они. Они глядят как совесть
На нашу жизнь, что обыденно длится.
Судьба уже раскрыта с ними рядом.
Вот Соня Сулейманова. Она

Как будто карта, крапленная кровью, —
Она — нарком собеса.

Вот идет

Оратор и остряк, но твердый парень.
Другой деляга, третий — прямодушный.
Наркомы. Биллиардная. Всё то же.
Ответственное, зыбкое житье.
Субботний отдых. Это всё родное
И старое, как жизнь. Теперь — пора!

А время?

Время движется рывками.

О Соня Сулейманова, ты завтра
Предстанешь перед тройкой. Злые ноздри
Еще вдыхают запах гор угрюмых
И мыла земляничного. Тот запах
Доносится из ледяной уборной.
О Соня Сулейманова, красотка!
Она в десятый раз хватается мыло
И моет руки. И опять уходит
И снова возвращается.

Едва ли

Придется ей назавтра вымыть руки,
Вновь обрести великую свободу —
Ходить в уборную, тревожить краны
И услышать спокойный запах мыла.
Он — легкий, белый путь через созвездья —
Тот запах из уборной. На фрамуге
Созвездья кружатся, трепещет полночь.

Стучат шары в бильярдной очень четко.
Выходят из бильярдной к телефону,
И кружатся, и медленно гуляют
Вокруг единственного телефона.
Но стоит ли звонить — ведь всё пропало!
Кто это сделал — я сейчас не знаю.
Кто испугался, оболгал, напутал,
Сам на себя неправду показал?
Быть может, тот солгал, а может, этот.
Что ж вы шарами крутите в бильярдной?
И пьете кахетинское зачем?

И в это время, вопреки всему,
Выносит крылья красные за полюс
Валерий Чкалов, через льды впервые
Соединяя два материка
В своем пути бессмертном к Ванкуверу.

А время?

Время движется рывками.
О Соня Сулейманова, теперь
Ты вроде злого мака на предгорьях.
Пропавшие глаза. Ужасный росчерк
Раскинутых бровей.

И не спеша
Она идет помыть в уборной руки
И долго пальцы трет и вытирает
Хрустящим от крахмала полотенцем.
Покашливают. Сумрачно тоскуют.
Подходят к телефону. Все вокруг —
Готовы ко всему. И белобрысый
Корреспондент из центра, рыхлый дурень,
На них готовит дикую статью,
Которая похуже всех доносов.

А время?

Время движется рывками.
О, год тридцать седьмой, тридцать седьмой!
И Верочка надела выходное
Бакинское сапфировое платье.
И медные от зноя инженеры —
Усталые и строгие ребята —
Бутылки ставят, режут колбасу
И глубоко вздыхают возле окон,
Где на портьерах запеклось тепло.
А те, вверху?

Неужто им поверить,
Что ночью свой же явится товарищ
И скажет: «Встаньте, граждане. Оденьтесь.
Вы арестованы!»

Тогда сурово
Они в карман засунут папиросы,
И сразу их посадят в грузовик.

В бильярдной шелкают, шумят в прихожей,
Выходят хмуро повстречать машины,
Те, что пришли с гостями. А потом
Ведут гостей в буфет, чтоб зарядиться.

Но есть другие люди.

Вот один

Лежит, скрестивши руки, на кровати.
Он думает: «Кто здесь во всем виновен?
Быть может, партия?»

Нет, нет и нет!

Виновен строй?

Строй этот создал Ленин!

Виновен тот, кого еще не знаю,
И я виновен в том, что променял
На сухость и на шоры самомненья
Пронзительную ленинскую страсть,
И всё же мы подвластны только правде,
Погибну я, но правда победит!»

Другой стоит у сетки волейбола
Под самым Млечным льющемся Путем.
Он звездам говорит:

«Прощайте, звезды!

Я прав во всем. Мне не в чем упрекать
И мысль свою, и жизнь свою, и совесть,
Враг хочет скрытно погубить меня
И погубить других. Они виновны
Лишь в том, что здесь томятся наверху.
Но разве нас забыла справедливость?
Над нами вождь. Он ничего не знает,
Что здесь творится. Он меня спасет.
Терпенье, выдержка и дисциплина!
Мы не погибнем. Это темный бред!»

Летит над мертвым миром Млечный Путь —
Седой и легкий мчится над горами,
И горы в бурках встали, наклонясь,
И валятся неспешно волны бурок;
Чернее черного, и вот тогда
У родника кричат сычи и совы.

Идет полночный шум — ветра предгорий.
Сорвался камень, покатился камень,
Исчез среди цикад. И это — знайте —
Есть Дагестан. Как горько это слово!
Всё щелкают бильярдными шарами,
Всё ждут конца. Железные ребята!
Они не радуются, не горюют,
Они тверды и пьют сегодня ночью
Из солидарности.

Кругом танцуют

И жмутся к телефону.

Шашлычок

Уже поспел. Стекают капли пота
По каменным щекам.

И лишь одна

Фатьма-ханум проходит, улыбаясь, —
Последний, может быть, уже потомок
Завоевателя Абу-Муслима. Он
Над сотнями народов нес зеленый
Победный стяг пророка и донес
До окончания мира — Дагестана —
Похлебки из камней, и здесь почил
В Хунзахе горном — стылый меч Ислама.
Ресницы черные. Тугая поступь.
Не первое столетье понимает
Она такие вещи. И не первый
Раз предает.

Но только по-другому —

Традиционно, вяло и небрежно,
Как подобает отпрыску царей.
Провинциальный блуд лежит в глубинах
Ее зрачков, и, смуглая, она
Всем улыбается темно и сладко.

Но шумно всех приветствует толстяк
В очках огромных, с тоненьким прибором
На круглой лысоватой голове.
Он только что приехал.

Это бог,

Бог грунтовых дорог, дорог шоссежных,
Бог аммонала, тропок и мостов.

Он опоясал Дагестан путями,
И для него весь коммунизм —

в дорогах,

Широких, светлых, шинами умятых,
Ведущих прямо к утреннему солнцу.
Не то чтобы он ясно разбирался
В теории, о нет, едва ли стоит
Его, такого, вразумлять цитатой,
Он всё творит от золотого сердца,
Ребенок старый, толстый человек.
Быть может, он сейчас тюрьмы боится?
Во-первых, он об этом и не думал,
Не знает он об этом ничего.
А если бы и знал, то отмахнулся —
Всего важнее здесь, на белом свете,
Не утвержденные по смете взрывы,
Наскальные работы, гул веселый
Пирушек и дорога в коммунизм.
Так выпьем же с тобой по стопке, старый,
Заветный друг, очкастый, толстый ангел,
Или поедем к Верочке домой!

А время?

Время движется рывками.

Лет восемнадцать с той поры прошло.
Тебя ничто на свете не сломило,
Ни в чем не усомнился ты. Работал
На Колыме под незакатным солнцем.
Дороги пробивал. Шумел, бранился.
Лез напролом. Мостил мосты. Гудрон
Раскатывал. Мотался всем назло.
И добротой своей пугал конвои.
И каждый новый путь через тайгу
Тебе казался трудной и тревожной
Дорогой в коммунизм.

Свой темный плен

Считал ошибкой ты. Всех ободрял,
Перевирал охотничьи рассказы,
Записки по начальству подавал
О разведении соболей в неволе.
Газеты не читал. Но твердо верил

И возвратился с той же твердой верой,
Седой и шумный, в треснувших очках.

Твое здоровье, старый бог дорог!
Так вот, пока капкан судьбы не щелкнул,
Поедем к Верочке скорее вниз!

Что? Поздно?

Да, теперь, пожалуй, поздно...

А там внизу —

там Вера Ц. танцует
И крупные, блистающие зубы
Показывает инженерам.

Эти

Хватают дам. И снова над вселенной,
Над белогривой вечностью прибоя,
Летит танго «Дымок от папирасы»...
Хорошее, я вам скажу, танго.
Славянский шкаф немного подпеваает
Семейным хрусталем, а Вера Ц.
Беспечно кружится и мнет платочек.
О Вера Ц., так ты и есть земля.
В приboях и орешнике шипящем.
Он, кстати, шелестит там, наверху.
Под молодой луной, луной холодной.
Там судьбы жизнью скупно понимают
Те люди наверху, простые люди.
И все они честны —

и это правда.

Они жадны до жизни —

тоже правда.

Грешны они?

Грешны, как все кругом.
Они молчат, и пьют, и жмут бокалы.
И снова горечь, бедные утраты,
Седая смерть, и снова ты, Шамиль,
И слуги мертвые твои в ущельях,
И русские могилы на предгорьях.

Здесь патефон и грустный запах мыла
Из ледяных уборных. И роаяль.

И жмутся к телефону. И предатель,
Щекой подергивая, всюду ходит,
Всех обнимая на своем пути.
Что будет с ним — он сделает карьеру
Или сопьется с горя и тоски?

О, смертная трагедия людей!
Чего они хотят?

И кто из них

О садике, о грядке возмечтает,
Лишь бы остаться здесь при свете солнца!
Ведь есть такое в мире искушение! —
Растаять, бросить всё, забыть борьбу
И получить в награду после бегства
Недвижное, как южный полдень, счастье:
Сидишь над сонным двориком, и можно
Вдруг выплеснуть ведро.

И снова тихо.

Пройдет соседка, пронося такой
Осатанелый пламень помидоров,
Что заболят глаза.

А ты идешь

В подштанниках по комнате. И море
Лежит, как скатерть на твоём столе.

Скажите, кто из вас, хотя бы в мыслях,
Вот в эту ночь не скроется туда?
Кто сделает добром два лишних шага
От этих грядок и арбузной корки,
Лежащей на облупленной скамье?

Нет! Есть борьба, бессонная борьба,
Ответ перед людьми, перед судьбою
И перед совестью. Есть справедливость,
Не подкупить, не расстрелять ее.
Быть твердым, не сдаваться ничему
И в этом горькую увидеть радость.
Быть человеком и самим собой.
Многообразна радость человека.
Так, значит, радость жизни существует,
Так, значит, забывать ее преступно!

Так заведем «Дымок от папиросы» —
Немного философское танго.

Я нынче на пиру со всеми вами,
Хочу я в город. Да! Скорее! В город!
О, как хотите вы скорее вниз!
Но это невозможно, ибо ночью
Грузовики приедут, ибо утром
Ударит радио в сто тысяч глоток,
Перебирая ваши имена,
А домы пышут жаром, нефть клокочет,
Стремятся поезда, пшеница зреет,
На рубеже таится пограничник,
Родятся дети, плача в эту ночь, —
И звезды над Кремлем пылают строго.
Далекий бриз доносит чистый посвист
Беспечных флейт из городского парка.
Там до утра танцуют и поют.

Какой тревожный воздух в этом доме!
За шторами, в ночных квадратах окон,
Рябинки звезд, и море, и кусты,
И дикий взлет ветлы.

А там, внизу,
Там огоньки. Опять всё тот же город.
Белесое, туманное пятно —
То осязаемый в небе Каспий ходит,
И там твое бесстыжее окно —
Танцуешь, Вера? Ну, танцуй, малютка.
Что ж рвешься ты сюда

и почему
Такая скорбь в твоих зрачках звериных?
Сюда не надо, Вера, приезжать!
Здесь все свои. Им очень, очень плохо.
А ты, ресницы дымные подняв,
Танцуешь, гнешься, трепетно скользишь
Французскими большими каблуками,
И рыжий, ржавый ветерок причалов
Врывается порывами в окно.
А рядом — парфюмерный магазин,
Огни ТЭЖЭ. И это сочетанье

Плохих духов и рыжей дикой жизни
Морских причалов в белом городке
Мне так понятно.

Вот откуда ты
Родилась, Верочка. Дрожит буфетик
От бешеного танца. Ржут машины,
Наполненные странными гостями,
Нетерпеливо, страшно поднимаясь
Всё вверх и вверх, всё вверх, и вверх, и вверх!

А Верочка танцует.

Очень трудно
Изобразить жестокое движенье
Тяжелых бедер.

Вера Ц. танцует.
Вокруг нее как будто звон стеклянный
Растет для танца. Ночь подвходная
Склоняется, как мама над закуской,
И подает зеленые фужеры
Мордатым инженерам, о которых
Не знает даже местный домовый,
Парням суровым, молчаливым, дельным,
Нефтяникам, героям производства.
То грубым, то застенчивым не в меру.
Она танцует. Боже, сколько силы
В том повороте бешеной лодыжки,
Которая, как сталь гребного вала,
В движение приводит винт души.

Что нужно Вере?

Говоря по правде,
Лишь маленького счастья в новом доме
И мужа, только бы оттуда, сверху.
Ее ведь так измучили довольством
Ответственные жены, а мужья —
Благополучьем мнимым, мнимой властью.
И вот она мечтает, как ребенок.
Тебе не нужно, глупая, мечтать!

Переливаясь синим, мрачным шелком,
Танцует Верочка.

И повороты

Летящих ног — на перекатной румбе
Всё те же, словно при начале мира.
Ты мчишься, девочка, расширив очи,
Лицо твое так дивно изменилось,
Как будто в нем запела вся земля.
И над громовым сбросом волн козлиных,
Лохматых, белошерстных, бородатых,
Одна встает девица — низколоба,
Каменногруда, с красным маникюром —
Властительница всей обычной жизни.
Тут мечется и умирает ночь.

Но как танцуешь ты, моя земля!
Ты кружишься, ты медленно поводишь
Округлыми кофейными плечами
В шелках морей, невероятно синих,
И вновь рассветом убиваешь ночь.

Кругом огни. Блуждают смерть и горе.
Но Верочка танцует.

Что ж, пляши!

Рвись к сердцу, пролетай огнем бессмертным
Над городом, над портом, над землей,
Извечно радостной, над всем, что было,
Над нашим поворотом во вселенной.

Какое счастье, —

это ты, Земля!

Ты, Верочка моя, чуть-чуть сырая
От золотых дождей и поутру
Пупырышки сгоняющая с кожи,
Бегущая по выбитым ступенькам
В сандалях к морю, в древний шум и плеск.

Танцует Верочка. Танго вздымают
Роскошные, утесовские трубы.
Ты — это ты.

И от тебя тепло.

Постукивая злыми каблуками,
Покачивая шелком синебедрым —
По кругу, всё по кругу, мимо окон,

Где дальней музыкой плывет из мрака
Подвыходная, пьяненькая ночь,
Подвыходная, в плеске вечеринок,
В шипеньи пива, в легком очуменьи,
В минутном безразличьи ко всему.

Валторны плачут. Выбегают ноты
Из медных труб оркестра. И лезгинка
Беспечным бубном юности гремит.
Вот эта самая, подвыходная,
Когда целуются, поют, дерутся
И много пьют и в пьяном ослепленьи
Себя равняют с теми, наверху.

А наверху лежит холодный вечер,
Заброшенные коченеют звезды
На гребнях диких и тревожных гор.
Мягутся и качаются деревья,
Посаженные здесь совсем недавно.
И нестерпимо твердый огонек
Костра пастушьего стоит в ущельи.

Здесь сам Шамиль, накинув бурку мрака,
Глядит на волейбольную площадку,
Где ходит одинокий человек,
Свою судьбу обдумывая строго.
Природа гор гудит на черных крыльях,
Подобная сове в ночном полете.

Она спустилась, молча, задыхаясь
От непомерной мудрости своей.
Она прильнула круглыми глазами
К широким рамам дома на предгорьи,
Где люди встали в ряд у телефона,
И вдруг раздался долгий и бесстрастный,
Какой-то режущий ночной звонок.

А время?

Время движется рывками,
Нет плавного течения у него.
То страшное, то полное простора,

Ну, милые мои ночные духи,
Сердца камней, стропил, железной крыши,
Дверей скрипящих, хлопающих окон,
Клозетных труб, урчащих, словно кошки,
Скрипучих южных золотых полов,
Сердца замков, щеколд и шпингалетов,
Ко мне, ко мне! Распахиваю двери,
Входите все, давайте будем вместе
В такую ночь, когда никто не знает,
Зачем на свете надлежит родиться.
Отчаянье, как вкус, как цвет, как запах,
Как нечто, от чего одно мгновенье
До полного безвыходного счастья.
Садитесь, гости: кто — на спинку стула,
Кто — на дверной крючок, а кто — на шторы.
Я, господа, известен вам немало
За двадцать лет. Я, господа, бывал
Здесь ежегодно. Много сотен жизней
Прошли передо мною в этом доме.
Он назывался, это вам известно,
Здесь домом отдыха, хоть никогда
Не видел отдыха в тених случайных,
Обедавших за круглыми столами
Вот там, в столовой. Впрочем, господа,
Какой же отдых может быть на свете,
Покуда в мире существует совесть!
Но думаю, что скоро будет день,
Когда она освободит пространство
Для безмятежной радости людей.
Итак, смотрите, здесь лежит случайный
Условный мир ночного постояльца:
Вот бритвенная кисточка, вот книги
Во вкусе пожилого гимназиста,
Вот веточка омелы, над которой
Лежат декабрьские слепые шквалы,
Соленые дожди унылых склонов,
Вот грязные ботинки, вот окурок,
Окрашенный густой губной помадой, —
Здесь женщина была, она ушла.
Как говорит, гремит ручей ущелий!
Давайте с вами выберем посольство,
Пойдемте, господа, к наружным братьям,

К тем, кто сидят в кустарниках и соснах,
В гравийном шорохе тугих дорожек,
И плеске ветра, и рябом дожде.
Скорей, скорей! Всею теплой мощью дома
Нарушим их холодный, свежий сумрак,
Белесый от тяжелого полета
Крупнозернистых пасмурных созвездий.
Пляшите, листья! Вейтесь, листья, мчитесь
По каменным ступенькам бесконечным
Холодной лестницы, идущей в город.
Зверьки, зверьки, кленовые зверята,
Садитесь на руки ночного проходимца,
Мы принесли тепло, а вы нам — холод.
Полночный сторож ходит по аллее,
Качая заржавелую берданку,
Он распевает гимны адвентистов,
И черная собака, как попало,
Уныло нюхает окрепший воздух.
Бормочет, задыхается ручей.
Меж черных лавров шествуют коты,
Теряющие с каждым поворотом
Свой человеческий достойный образ.
Какая мощь в полете ржавых листьев,
В ежовых иглах, что шуршат с обрыва,
В мигающих от напряженья тучах
Под молодой горбатою луной!
Опять горит один огонь на взморье.
И тени, словно в юности неверной,
Проходят всюду парочками снова,
Откинувшись, садятся на скамейки,
Опять ведут тупые разговоры,
Целуются и жмутся, задыхаясь,
И говорят враждебные слова.
Борис! Борис! Что сделалось с тобою,
Печальным, двоедушным прокурором?
Где ты теперь? — Я умер, уходи! —
Николенька, зачем сидишь спокойно
На нашей старой, голубой скамейке?
Тебя, насколько помню, расстреляли? —
Да, расстреляли. Умер. Проходи. —
А ты, Иван Иванович, детина,
Мореный дуб, чудовище мясное,

Где ты теперь? — Я кончен, уходи. —
— Я был обманут, — раздается голос, —
— Я был отвержен, — покачнулся шорох, —
Я подчинил себя чужим законам,
И потому я кончен. Уходи!
А ты, мой друг, мой маленький повеса,
С победными нечистыми глазами,
Мечтавший всё на свете переспорить,
Где ты теперь? — Молчи, я отдыхаю
На этой старой голубой скамейке.
Сегодня ночью здесь душа кочует,
А тело где? — за тридевять земель.
— Ты, Верочка? — Я умерла в три года,
Я обернулась львовскими шелками,
Я получаю ценные подарки,
Но в эту ночь я вызвана сюда.
— Ты, Агния? — Меня убил в приморье
Мой страшный муж, четырехзвездный летчик,
Он так меня баюкает и нежит,
Что стала я жемчужною свиньей.
— Людмила, ты? — Зачем ты опускаешь
Недремлющие горестные губы? —
Мой муж убит, и я убита тоже
Тем, кто со мной как выродок живет,
Он мне целует бедные колени,
Но он мертвец, и мало кто узнает,
Что он бессонный ласковый мертвец.
И я иду, как власть давно имевший
Среди людей или теней, — не знаю,
Сидящих на синеющих скамейках,
Бродящих между сонных кипарисов,
Играющих в любовь или разлуку
Под южным ветром — праведным судьей.
Ручей гремит по камешкам точеным,
Коты идут в коричневых аллеях,
Ежи топорщат медленные иглы,
Горбатая качается луна,
И божество, как некий символ страха,
Склоняется над маленькими снами,
Что поднимаются из города, который,
Как видно всем, лежит на самом дне.
Здесь целовался я, здесь ненавидел,

Здесь я ронял мальчишеские слезы.
Ах, Вера, Вера, сколько было мрака
В ущелье давней юности моей!
Какой была ты стройной и спокойной,
Как ты ныряла со скалы в пучину,
Какие гордые носила груди,
Как опускала мрачные глаза.
О, сколько легкости, вина и света
Кружится в беспорядке кипарисов,
В задохшихся от темной дури лаврах,
В ночном ручье, что цокает в ночи,
Как жеребец, летящий вниз с нагорий.
Неужто вы, умершие, живете
Неизменные в поступках прежних,
В словах обычных, в ожиданье старом
Какого-то последнего конца.
Конца не будет.

<1943—1945>.

ВАРИАНТЫ

1

Автограф
После 28 Всю ночь нам дозволено не расставаться,
А силища — ломит плечи.
Пойдем по полуночным странам шататься:
До света еще далече.

22

«Мускул»
(1929)
После 12 Был маузер моею игрушкой.
Цигарка — победным гербом.
Казармы, больницы, теплушки
Я вынес упорным горбом.

23

«Мускул»
(1929)
После 32 Там ясен и легок прощальный спор,
Там было ему просторно
В лиловом окружьи приморских гор —
Ставленников санаторных.

Там я обещал комитету стихий,
Редакции моря и суши,
Простить мою юность и строить стихи
Как можно просторней и суше.

30

«Мускул»
(1929)
После 20 Легла эта песня тиха и строга,
А в небо уперлись зубцы и рога,
Лишь камни рычали басом
О том, как в свирепую пену воды,
Кромсая, кидали тела молодых
Дарьялом шагавшие расы.

И вышла история в драном плаще
С коллекцией замков, кольчуг и мощей,
Легенда, и повесть, и песня, и стих
Гремели, как Терек в изломах пустых.
Так выше же, выше и выше!

После 26

Путеводитель зашелестел
И крикнул на тридцать четвертой версте:
«Дывьтесь бо, хлопцы, у твоей у хмары
Ось притульвсья замок Тамары!»

37

«Страдания
моих друзей»
(1930)

Ты строишь, кладешь и возводишь,
ты гонишь в ночь поезда,
На каждое честное слово
ты мне отвечаешь — «Да!»
Прости меня за ошибки —
судьба их назад берет.
Возьми меня в переделку
и двинь, грохоча, вперед.
Я плоть от твоей плоти
и кость от твоей кости.
И если я много напутал, —
ты тоже меня прости.
Наполни приказом мозг мой
и ветром набей мне рот,
Возьми меня в переделку
и двинь, грохоча, вперед.
Я спал на твоей постели,
укрыт снеговой корою,
И есть на твоих равнинах
моя молодая кровь.
Я к бою не опоздаю
и стану в шеренгу рот, —
Возьми же меня в переделку
и двинь, грохоча, вперед.
Такие, как я, срывались
и гибли наперебой.
Я школы твои, и газеты,
и клубы питал собой.
Такие, как я, поднимали
депо, и забой, и завод, —
Возьми меня в переделку
и двинь, грохоча, вперед.
Такие, как я, сидели
над цифрами день и ночь,
Такие, как я, опускались,
а ты им могла помочь.
Кто силен тобой —
в работе он,

Кто брошен тобой —
 умрет.
 Возьми же меня в переделку
 и двинь, грохоча, вперед.
 Я вел твои экспедиции,
 стоял у твоих реторт,
 Я делал свою работу, —
 хоть это не первый сорт.
 Ты строишь за месяцем месяц,
 ты крепнешь за годом год, —
 Возьми же меня в переделку
 и двинь, грохоча, вперед.
 Я шел за тобою следом
 с тяжелой, как жизнь, семьей,
 И мать, и жена, и сестры
 стирали белье твое.
 Я проклял квартирную плату,
 я проклял водопровод, —
 Возьми же меня в переделку
 и двинь, грохоча, вперед.
 Я сонным огнем тлею
 и еле качаю стих,
 За то, что я стал холодным, —
 ты тоже меня прости.
 Но время идет, и стройка идет,
 и выпадет мой черед, —
 Возьми же меня в переделку
 и двинь, грохоча, вперед.
 Три поколенья культуры
 и три поколенья тоски,
 И жизнь, и люди, и книги,
 прочитанные до доски.
 Республика это знает,
 республика позовет.
 Возьмет меня в переделку
 и двинет, гремя, вперед.
 Ты строишь, кладешь и возводишь,
 ты гонишь в ночь поезда,
 На каждое честное слово
 ты мне отвечаешь — «Да!»
 Так верь и этому слову —
 от сердца оно идет, —
 Возьми меня в переделку
 и двинь, грохоча, вперед.

1929

*«Страдания
 моих друзей»
 (1930)
 После 64*

40

Уходят калоши идущих на службу,
 В мозгу начинается новый зародыш,

Пальцем
и зрачками колется.
Пора наступать! Пора!
Да, товарищ,
вчера
Записался и я добровольцем.
Хочется спать.
Ах, тянет спать.
Звякают шпоры бездомно.
Звенит голова.
Утрет Москва.
Идет голова
донецкие отстаивать домны.

6 октября 1924
Сокольники

80

«Литературно-
эстрадный
сборник»,
М., 1940
После 48

Кружка кипятка,
вокзальный кров,
Рельсов шатких
две стальные жилы,
Стук неторопливый буферов...
С кем ты, ночь,
армейцев подружила?
Подружила полночь
храбрецов
С боевою
славой
и походом,
Побратала
молодых бойцов
С девятнадцатым
бессмертным годом.

81

Автограф
После 62

Ну, лети, лети со мной.
Подавай разумные советы.
Тучи синие стоят стеной.
Бешеный посвистывает ветер.

82

«Молодая
гвардия»,
1939, № 1
4-я строфа

Как я жил, когда родился
В этом мире молодом,
Где найду приют смертельный,
Где найду последний дом?

Автограф Нас пьяный нищий
 обручил с тобой.
 Прижалась
 к плечам Петра
 белокрылая ночь
 Ленинграда.
 Кем ты была,
 козырем?
 дамой пик?
 моей судьбой?
 Как ты легко прошла
 мимо каменных баб
 Летнего сада.
 Люблю я тебя,
 люблю!
 Через тысячу тысяч лет
 Дойдет до потомков твоих
 усталый и вежливый голос.
 Милая,
 это я!
 Это очень далекий привет,
 Тоненький,
 словно твой
 бронзовый волос.

125

Автограф Когда жила ты с горем пополам
 После 26 И не ждала ночных счастливых телеграмм.
 Когда глядел из синей пустоты
 Чимган, Чимган — далекие хребты.
 Затопишь ли мангал в тот синий час,
 Когда последний луч в горах погас.

133

Автограф Мы ему отдадим
 После 92 кровью крашенный флаг,
 (зачеркнуто) Длинный шаг пятилеток,
 науку творенья.
 Ожиданье
 никем не подаренных
 благ,
 Жажду подлинной правды
 и силу горенья.

Автограф
После 89

У нас обоях
есть теперь
свои машины,
Но дряхлый, гулкий
наш автобус
мне дороже,
На черта
мне сдались
чехлы, обивка, шины.
Из-за машины
разве стоит
стать машиной.
Той женщине
она родна,
близка до дрожи.
Весь мир
наполнен ревом
этой чертовщины.
У нас обоях
есть теперь
свои машины.

Автограф
После 106

Я не считал
удач твоих,
наград твоих
не числил.
Посты,
чины и званья —
это всё не в счет.
Но то,
что движет мир, —
взрыв бескорыстной мысли
Ты в графы перенес,
как в годовой отчет.
Иль, может быть,
ты стал
довольным, равнодушным,
Пустым,
как выеденный червяком
орех.
Не черт забрал
твою
застиранную душу.
Она сама сгнила —
и это
большой грех.

Иль, может быть,
 ты лез
 по лестнице
 всё выше,
 Любуясь лишь собой,
 в муку стирая всех.
 Ты подличал,
 ты льстил,
 в большие люди вышел,
 Ты предавал —
 а это
 самый тяжкий грех.
 Солгали мне,
 сказав
 твоих успехов даты.
 Солгали,
 рассказав,
 что душу ты сгубил,
 Солгал мне тот,
 кто говорил,
 что ты предатель,
 И тот,
 кто говорил,
 что ты давно прогнил!

141

«Знамя», Но теперь
1956, я рашу в Заполярье
№ 6 сады,
После Я, как мастер,
131 формую
 цветы и плоды
 Для народа,
 чтоб поднял
 тебя и меня
 В трудный год Революции,
 с первого дня.

144

«Москва», Так много лет
1957, один из них
№ 3 на свете проживет.
После 98 Второй умрет
 в тридцать седьмом,
 как мученик умрет.
 Из них
 ни первый, ни второй
 не выдаст никому

Тот давний молодости зов,
метельный гром
Коммун.

Автограф Но наши души длинной сетью
После 33 Вылавливали на заре.
Вытаскивали и говорили:
Вы едищицы, вы не в счет.
Но мы-то мучились, мы жили.
Кто в наших жизнях даст отчет?

150

«День Что,
поэзии», не ведая срока
1957 ни работе,
Вместо ни жарким бессонницам,
8—11 ни напряженью,
Вместо Академии ставили,
89—94 вузы
и школы ликбеза;
Бескорыстны с друзьями,
с врагами —
тверды, как железо.

Автограф Что питались
После 7 сухим концентратом
(зачерк- обедов насытных,
нуто) И в каморках своих
глинобитных,
Ночью
карту раскрыв,
изучали пространство
Востока
И не ведая срока...

162

1

ВСТУПЛЕНИЕ

Автограф Носильщик шел, хрипя под серым скарбом,
(Литератур- Навьюченным на сгорбленную спину,
ное наслед- Он яростно и смачно кашлял кровью,
ство, т. 74, С огромным вождеднем принимая
с. 701) В свою утробу посиневший воздух,
За ним шагал измученный ученый,
Держа в руках Коран и керосинку,
Большая дама в маленьком пальто
И существо, закутанное накрест
Зелено-красным белостокским пледом.
За километр от них стоял вокзал,
И паровоз, привезший эту тройку,

Ревел на стрелках, как бугай на бойне.
Отсюда начинался новый мир.
Стояли тополя, как смерть седые,
Карагачи цвели вишневым снегом,
В пушистых перьях пышно возносясь
К морозному пылающему небу.
Хребет лежал на звопком горизонте,
И вечер клал сумятицу теней
От солнца умиравшего на стены.
Земля летела дивно хороша
В кровавом и сапфирном океане
К престолу сатанинскому зари.
Вполнеба шли крутящиеся тучи,
Охваченные снизу красным жаром.
То будто паровозы или взрывы,
То самолеты, мчащиеся в пекло.
Летел на небесах веселый ад,
И окна пламенели словно печи,
А печки на крылечках чуть дымились
И там перебегали огоньки,
Как бесенята, гревшие кастрюли.
И клочья солнца плавали в воде,
Журчащей второпях, чтоб не замерзнуть,
И много было там чужих собак,
Чужих домов с деревьями чужими,
Чужих одежд, чужой вечерней мглы.
Пришли и дали деньги оборванцу,
Отсчитывали тусклые десятки,
Носильщик прохрипел: «Кусочек хлеба».
«Я не имею карточек, товарищ», —
Ответил тихо человек с Кораном
И положил его на керосинку.
— У нас продуктов, к сожаленью, нет.
Ушел носильщик, поводя глазами,
Карминными от дикого заката,
Багровые отогревая руки,
Вбирая в грудь пустую колкий воздух.
И в комнату тогда вселились трое.
Московские раскрыли чемоданы.
И зажили и чайник разогрели.
Пришел не торопясь соседний кот,
И существо, освободясь от плена,
Вдруг оказалось девочкой толковой
И село у вечернего окна.
А комната была совсем большая,
Сырая комната была в подтеках
И удивительные разбегались
Ватаги пятен по зеленым стенам,
Как будто от чужой оставшись жизни.
О чем они толкуют — неизвестно.
А мама закрывала эти пятна,
В них ничего совсем не понимая,

То ковриком истертым, то старушкой,
Сидящей, словно мышь, в дубовой рамке.
И стало кое-где уже уютно.
Отец поставил книги, шесть по счету.
На тощие постели общежитья
Ложились простыни, сырые от дороги,
И первый клоп пошел наискосок.
А девочка глядела на каштаны,
Стоявшие в сиреневых уборах,
Поскольку кровь сменилась синевою.
И видела зубчатый город снега
В больших ветвях взлетающих деревьев.
Почувствовала шум поленьев в печке,
Услышала, как закипает чайник,
И духи жизни входят в этот дом.
За ней стояло зарево пожаров,
Слепая толкотня бомбоубежищ,
Бессонный стук промерзших буферов.

2

Там башенные рдели города,
Колонки второпях переливались,
Носились сверху голубые птицы
И желтые рубашки жарких духов,
Игольчатые души древесины
Рвались в кромешном зеве дымохода,
Внизу шумели алые дома,
Перемещаясь каждую секунду,
И вспыхивала девушка на сучьях,
Положенных совсем недавно мамой.
Они, схватившись гнутыми руками,
Друг с другом вытанцовывали быстро,
Раздувши платье в золотую тьму.
Внизу гудели улицы косые,
Наполненные огненным народом,
Там иногда тоскливо пробегали
Лиловые людишки, но обычно
Сновали толпы красных пламенят,
У них была воздушная тревога,
Но очень радостная, как сеанс
В кинематографе, когда цветные фильмы.
Звенел, жужжал мелькающий народ,
И окна падали, потом вставляли снова.
А что касается тревоги, то она
Причиною имела непорядок
В печной трубе и больше ничего.
Всё танцевали барышни на ребрах
Седого саксаула. Саксаул
Шипел как черт, совсем не покоряясь
Тем ножкам девичьим.
И вдруг всходила новая одна

На черный сук и одиноко в мире,
Таинственно вздымала руки ввысь,
Зеленые, осыпанные пеплом.
Взметались язычки — народ особый.
Гребенчатые голубые звери
Ходили, полаяя вверх и вниз,
Там был король. Он понимал, конечно,
Что слишком быстро рушатся стропила
И бьются стекла, грустно раздробясь,
Такие измененья он предвидел,
Он вырос между этих изменений,
Не удивляясь и не покаяясь
Изменчивым законам естества.
Он вел в то время битву с духом мрака
И дочь имел — как говорят — хромую,
Немножко хулиганистую дочь.
Она тайком курила папиросы,
Врала отцу и матери дерзила,
Тайком писала детские стихи.
А сын стоял на отдаленном фронте.
Его постель без простыней, как память,
Блестя молчала впереди ковра
Из огненных рябых кусочков света,
Но, может быть, среди девиц летучих
На серебристых ребрах саксаула
Была одна, которую до гроба
Сын полюбил, да ведь не в этом дело.
А дело в том, что сожалел король
О быстротечном пламени на окнах,
О том, что девы к сроку поспевают
И шепчут, черт возьми, всё те же речи,
Как затвердили при начале мира,
И, дуры дурами, они лепечут
В огне летучем, в гибельных пожарах
Одни и те же женские слова.
А духи зла катились в поддувала,
Смерть принимая в серебристом пепле.
А поверху, давая волю жизни,
Бежали люди в розовом свете.
Была бомбежка или легкий праздник,
Того не ведаю, но одиноко
Король плешивый созерцал огонь.
Огонь родил убийства и напасти,
Он сам, лоснясь тяжелой медной мордой,
Входил клубами в раскаленный дом.
Пожарники, оборотясь, кричали,
Чтобы вода развертывала шланги,
И рвались будто звери в самый чад.
Так рушилась, держась на черной балке,
Красавица земли, названьем Люся,
Забитая дождем фугасной бомбы,
У ней поспешно погибала шубка

Искусственного котика. И страстно
 Она с бревна глядела в пустоту.
 Но шли огни в четвертом измерении,
 Подпрыгнувши, взлетая к дымоходу,
 И было навсверху темным-темно.
 Ведь всё равно созвездья искр летучих
 Не означают твердого пространства,
 Ночное пламя рвется в семь рядов,
 И морщится король, перенимая
 Обрывки скучных для него трагедий.
 Дочурка покупает папиросы,
 А сын лежит на фронте в блиндаже.
 Всё рушатся уступы саксаула,
 Вишневогривые летят зубатки
 Полос неукротимых вверх и вниз.
 Он, загораясь, как звезда на ветке
 Среди колючих барышень пожара,
 Вдруг понимает, что закрыта дверца
 И путь один на небо — в дымоход.
 Он понимает, что погибнут люди
 И города, и щепки саксаула,
 И улицы, покрытые лиловым
 Остывшим жаром мертвенных углей.
 А люди всё бегут вдоль красных улиц,
 Червонокудрые встают удары света,
 Как демоны, беседа поспешно
 С бегущими в червонной мгле людми.
 Перегибая бок медвяным пеплом,
 Летят наискосок домов громады,
 И королю приятно — ведь на свете,
 На белом свете он еще живет.
 Истлевший уголь падает золой,
 В печурку вновь подкладывают щепки,
 Взлетают птицы в золотых уборах,
 Взлетают барышни, смеясь, на сучья,
 И если, как всегда, подумать молча,
 То в мире всё — огонь и чистота.

< 1944 >

179

1

Автограф Я видел бога. Он сидел во тьме
(Литературное наследство, Старинный, одинокий, непонятный.
т. 74, Большой, как облако, как рощи, в темно-синих
с. 695) Светящихся одеждах. Он глядел
 На дачный поезд, что едва тащился,
 Как червь раздавленный, средь затемненных дач.
 В вагонах было пусто. Кое-кто

Уже лежал, свернувшись на скамейке,
И по вагонам несся тусклый запах
Военного коричневого хлеба,
Несвежей рыбы, женских платьев, горя
И свежий запах бешеной листвы.
Свет синих лампочек. С тобой пришли мы
К началу новой эры. Синий свет,
Свет невечерний, тихий свет июня,
Сияй, как прежде, на моем пути,
Пока до края не налетит кровью
Отмщающая чаша бытня.
А в темных окнах реяли, летели,
Клонились, кланялись и поднимались снова
Беспамятные полчища деревьев.
Деревья жили вековой жизнью
И осеняли каждое мгновение
Так беспристрастно, так неповторимо,
Что люди всюду доверяли им
Разлуку, горе, радость и свиданье.
Я видел бога. Он сидит во тьме,
Держа в руке модель самолета
Работы первых строгих мастеров,
Мечтавших в девятнадцатом столетии
О высшей правде и победе человека
Над безобразным скопищем стихий.
И Мамонтовка радостно шумела,
Когда по рельсам синим, в ночь сырую,
В мерцанье синих лампочек июня
Неповторимый поезд проходил.
Что было в нем? Всё то же, сударь мой,
Что полагается в романах и поэмах, —
Разлука, ненависть, страданье и любовь,
Коврига хлеба, полкило свинины
На лучший случай, номер «Крокодила»
И песня Уткина. Однако я не лгу,
То было человечество. Не надо
Шутить и балагурить о таком
Большом предмете. Это, сударь мой,
Явление занятное. Как прежде,
Оно стремится что-нибудь постичь,
Придумать телефон, сортир, подтяжки,
И в смертном ужасе перед последней пулей
Кричать: нет, нет, — и всё понять, и к черту.
Тебе молился я в гимназии. В окно
Стремился вечер. Мерное кадило
Вздыхало, колебалось, говорило.
В открытое окно шел легкий запах
Каштанов, мостовых и очень строгой,
Глубокой, вечеряющей Москвы.
И батюшка в потертой желтой ризе
Невнятно бормотал о той же правде,
Что авиаторы последнего столетия

Хотели принести, как жертву, мне.
И это было всё едино: бог
И Блерио и некий мудрый Вирхов,
Кюри, Пастер, Жуковский и Уэллс,
Всё люди — полубоги, всё — громады
В тяжелых бородах, в потертых фраках,
Украшенные звездами по праву,
Солидные и грозные, как тучи,
Летящие над веком пустоты.
Да, я молился. Рослый, темнобровый,
Вставал Христос в дыму паникадила
И обещал смирение сердец,
И вечный мир, и славу, и причастье.

Тарасовка шумела за окном,
Что делать мне, плохому сыну века.
Я был с тобой, мой город, я хотел
Прохладных улиц, холода музеев
И мраморных людей в тени порталов,
И книг, и справедливости. Но это
Всё устарело. Сам из глубины
Я вызвал силы мрака и преграды,
Не обращал вниманья на собак,
На кошек, на холодные помойки,
Где ночью чуть шуршат и шевелятся
Прописанные листы, на вещей мир
Предметов маленьких, звериных жизнью,
Которые приносят нам тоску,
Вниманье и душевное смятенье.
Вот он, тот вещей мир: ночные дачи,
Сон счетоводов, маленькие сны
Ребят, ушедших в теплые подушки,
Гусей и кур и мокрых огородов,
Где темной флейтою поет укроп
И жадно раскрывается капуста.

Средина века, смрадный черный вихрь
Над всем, что было. Пасмурные окна.
В крестах бумажных. Нечего желать
И некому молиться. Фолианты
Живут своей отдельной жизнью. Полночь
Их перелистывает. На полях столетних
Лежит луна безрадостно и тускло.
Вся гордость человечества, все муки
Людей, сидевших за седым огарком,
Перед которыми — громады океанов,
И полюсов, и золотых сечений,
И мудрых, как всегда, законов мира, —
Все муки этих хилых, тонкоробрых,
Остробородых, лысых и слепых
Ко мне пришли в ту ночь. Я целовал
Следы потертых докторских сандалий,

И если есть на свете справедливость —
Я понимал ее. Как хорошо
Сухое одиночество. По залам
Текут потоки медленных секунд,
И время, еле-еле прикасаясь
К хвосту ихтиозавра, принимает
Другие формы, и размер, и ритм.
О это чувство времени. Над миром
Я нес одну звезду, шуршащий сноп,
Победу света, листья лип московских,
Пречистенских, Остоженских, шумящих
От бешенства людей, чьи голоса,
Горячие и жадные, встречались
С холодными горами красноречья
Постановлений, смет, дурацких цифр
И медленного холода предательств.
Ночь, липы и луна, и черный купол
Обсерватории. Клянусь остатком жизни,
Что это дуло, кинутое в вечность,
Рефрактор в холоде гигантских стекол,
Дороже жизни, нет, дороже смерти,
Дороже справедливости. Смотри,
В нем — бесконечность, звезды, легкий полог
Галактик и туманностей. Над миром
Витает ночь, ей некуда идти
И некуда уйти. Она предвечна,
Скучна и целомудренна. Простите,
Я, кажется, забылся. Даже Гете
Немного забывался. Позади
Лежало мудрое, как сфинкс, столетье,
Увенчанное шапкой санюлотов
И верой в человечество. Вольтер
Смеялся медными губами, сам Руссо
Бродил среди шипящих рош. Сен-Жюст
И Робеспьер творили списки мертвых
Во славу разума. Опять луна,
И одиночество, и пыльный запах полок.
Мне ничего не надо. Я хочу
Лишь права сказки, права распасться
На сотни образов, на тысячи сравнений,
На миллионы маленьких вещей,
Откуда снова возникает цельность,
Большие руки ласковых героев,
И чудеса, и песни. Нестерпимо
Горит луна над поворотом дач.
И дачный поезд мчится, как бывало,
Среди прохладной князьминской листвы. —
Мы все — крупинки мира. Мы всегда
Шумим, как листья, мчимся, пропадаем
В сырых ночах и снова говорим
Среди полночных рош. Мы знаменуем
Собой столетье наше и не больше,

Но как оно сложилось, я не знаю.
Как испечен был свадебный пирог
Для дамочек и женишков кромешных,
Не знаю тоже, черт его дерн.
Но есть на свете старое кладбище
В тени, под Алексеевской слободкой,
Что за Сокольниками. Там в могиле
С кривым бугром, заросшим сорняками,
Вьюнками, подорожником, ромашкой,
Лежит спокойно, гордо мой отец.
Он, полнотелый, с мягкими губами
И мягкой сединой, в песне давнишнем,
Романтик радостный, педант ученый,
Он, Луговской А. Ф., родной, беззлобный,
Он это знал. Он был началом века.
Он — прокурор и адвокат, но я —
Случайный, схваченный за хвост свидетель,
Седеющий от лжи.

Текут пустыни.
На землю жесткую, дрожа, ступает Ева.
Крутобородый, горбоносый Каин
Воспитывает первых кузнецов.
Плывут, как тучи, медленные люди
По синему простору первых песен.
И горы шумные несут стада
На шерстяных своих тугих коленях.
Потом проходят, как всегда, века.
Тяжелорукий, старый Авраам
Под дубом черным ужинает с богом.
Иосиф мудрый продает пшеницу
По карточкам голодным египтянам.
И Моисей, гремя среди песков,
Точит из камня ледяную воду.
Колонны храмов воздвигает Фидий,
Сосут сосцы волчицы два младенца,
Два совладельца мира — Рем и Ромул.
Потом проходят, как всегда, века,
И мечется Христос в маслинной роще
От скорби, дурноты и вдохновенья.
И Магомет, сухой, как сон песков,
Льет на бараньи белые лопатки
Кровавую витуя вязь Корана.
И Чингисхан ведет могучий хор
Слепого зверства Азии предвечной
Во славу вышнего. И Тамерлан
По Самарканду кровь несет потоком.
Но это то, что помню я давно
Из мелких книг, написанных, как должно,
С благоговеньем к человечеству. Теперь
Бомбардировщики плывут, как рыбы,
По воздуху моей родной планеты,

Значительно и скупо сокращая
Мой нестерпимо медленный рассказ.

Ночь, липы и луна, и черный купол
Обсерватории. Клянусь остатком жизни,
Что это дуло, кинутое в вечность,
Рефрактор в холоде гигантских стекол,
Дороже жизни, нет, дороже смерти,
Дороже справедливости. Дороже
Могилы на обветренном холме.
Ведь есть на свете старое кладбище
С кривым бугром, заросшим сорняками,
Вьюнками, подорожником, ромашкой.
Там, тридцать лет уже не поднимаясь,
Лежит спокойно, гордо мой отец.
Он полнотелый, с мягкими губами
И мягкой сединой, в пенсне давнишнем,
Он знает всё. Он был началом века.
Был прокурором и судьей. А я
Случайный, схваченный за хвост свидетель.
Седеющий от лжи.
Я видел мир.
Я видел дальний мир.

Текут пустыни.

Но это то, что видел я давно
И позабыл давно в години горя.
Земля опять кругла, гола, светла.
Но есть один закон — веленье света.
Прорвавший сумрак всех земных времен.
К нему мы возвратились?

Возвратились.

Мы были с ним?

Мы непреклонно были.

Мы будем с ним.

Мы непреклонно будем.

Стою на площади, под синим небом.
На площади Кремля. Идут события.
Гляжу на блеклый ритм Никольской башни,
Как он глядел немало лет назад.
Величье Ленина всегда над нами.
Его мы не уступим злым, бетонным,
Неубедительным в своей тоске.
Дыханье молодости слышит мир,
Рожденный, чтобы снова повторяться.
Да будем вечно повторять его.
Когда я молод был — я видел брови
Чуть рыжеватые. Я видел глаз,
Направленный в грядущее — я видел
Незабываемые отсветы лица.
Он всё глядел на блеклый абрис башни,

Мы думали — он может возвратиться.
Он возвратился.

Да, он возвратился.

<1956>

2

*«Звезда»,
1957, № 1
После 148*

О город мой, ты — средоточье века.
Ты понимал жестокий ход событий,
Ты знал, что даже в самый страшный час
Мы шли вперед. По крови? Да, по крови.
И по костям? Да, по костям. Спроси
У тех костей — за что погибли люди?
Тяжелый ты ответ тогда услышишь
И справедливый: люди, мы боролись
За коммунизм. Живите! Мы простим!

После 188

О город мой, такой невероятный,
Что ночью снятся мне звонки ночные
(О год тридцать седьмой, тридцать седьмой!),
Что ночью слышу я шаги из мрака —
Кого? Друзей, товарищей моих,
Которых честно я клеймил позором.
Кого? Друзей! А для чего? Для света,
Который мне тогда казался ясным.
И только свет трагедии открыл
Мне подлинную явь такого света.
Но ленинский огонь еще светлей,
Чем свет трагедии, прямой и жгучий.

После 204

И всё же видел ты, что оглуплялись
Умы и души, полные тревоги,
Чудесного земного беспокойства
За новый взлет, за красоту открытий.
Ты видел, как стандартным черпаком
До дна исчерпывались эти души.

После 265

Подозревать меня ни в чем не надо.
Довольно подозрений. Хватит с нас!

После 275

Всё это я считал правдивым, честным
И посчитаю вновь правдивым, честным.
А если вкралась черная неправда,
Она не осквернит наш трудный путь,
Заставит лишь большее биться сердце,
Иль разорвет его, или положит
В него кусок спокойного свинца.

После 416

Мы видели гигантский вихрь страстей,
Увидели, как силы самовластья
Безудержно взметнулись до небес
И только смерть была для них границей.

ПРИМЕЧАНИЯ

Первый сборник стихотворений В. А. Луговского «Сполохи» был издан в 1926 г. Всего при жизни поэта вышло 36 книг. «Середина века» и «Синяя весна» изданы посмертно.

Как правило, в настоящем сборнике стихи Луговского даются в последней авторской редакции.

Структура настоящего издания такова: первый раздел — «Из сборников 20—30-х годов» — включает лучшие стихи, в том числе давно не перепечатывавшиеся, из книг «Сполохи» (М., 1926), «Мускул» (М., 1929), «Страдания моих друзей» (М., 1930) и «Европа» (М., 1932); стихи каждой из этих книг расположены в порядке их следования при первоначальном издании (подразделы ликвидированы). Цикл-эпопею «Большевикам пустыни и весны» Луговской писал в течение длительного времени; помещая этот раздел после стихов из книги «Европа», перед поэмой «Красные чашки» — главой из книги «Жизнь» (М., 1933), мы руководствовались тем, что лицо эпопеи определилось к 1933 г., когда были написаны 1-я и 2-я книги, а также тем, что из 3-й и 4-й книг (1947—1948; 1951—1954) для настоящего издания отобрано только несколько стихотворений, выдержавших испытание временем. Раздел «Из книги „Каспийское море“» включает лучшие стихи из одноименного сборника, вышедшего в Москве в 1936 г. Следующий раздел, — «Из сборников 40—50-х годов», — составляют лирические стихи (расположены в хронологическом порядке), входившие в книги: «Новые стихи» (М., 1941); «Избранное» (М., 1949); «Стихотворения» (М., 1952), «Лирика» (М., 1955) и «Лирика» (М., 1958, — посмертное издание). Полностью печатаются «Солнцеворот» (М., 1956) и «Синяя весна» (М., 1958). Книга поэм «Середина века» печатается целиком; за ней следуют еще 3 поэмы («Сказка о зеленых шарах», «Дорога в горы» и «Каблуки», опубликованные после смерти Луговского); точно определить их место среди других поэм-глав «Середины века» не удалось, т. к. несколько оглавлений к книге, сохранившихся в архиве, скорее представляют собою перечни поэм, предназначенных для «Середины века», и не могут оказать помощь в определении последовательности отдельных глав.

В разделе «Варианты» представлены наиболее значительные, как правило, ранние редакции и варианты отдельных строк и строк.

Большинство стихотворений и поэм сверено с автографами; в отдельных случаях исправлены опечатки, уточнено время написания стихотворений и сделана передатировка некоторых из них.

Рукописное наследие Луговского хранится в основном у вдовы поэта Е. Л. Быковой. Архив поэта состоит из большого количества тетрадей, блокнотов, реже это отдельные листки. Стихи написаны большей частью карандашом, иногда чернилами, неразборчиво, чаще всего встречаются черновики с большой авторской правкой. Стихи «Сполохов» и «Мускула», «Мускула» и «Страдания моих друзей» смешаны. Тетрадь со стихами «Синей весны» почти не сохранила следов авторской правки (Луговской стирал написанное).

Особый интерес представляют автографы «Середины века», встречаются 4 основные их разновидности: 1) поэмы, написанные под диктовку (Луговской плохо видел в 1943 г. и диктовал свою книгу сестрам Е. И. и И. И. Яковлевым, большим друзьям поэта по Ташкенту, а также О. М. Грудцовой), с пометами и правкой Луговского; 2) машинопись с пометами Луговского 40-х гг.; 3) машинопись с правкой Луговского 1956—1957 гг.; 4) беловые автографы некоторых последних поэм, написанных в пору завершения «Середины века». Можно сделать общий вывод о том, что, перерабатывая в 1956 г. ранее написанные поэмы, Луговской шел по линии большего обобщения, эпизации (отвлечения от автобиографических моментов), добивался большей исторической точности (вплоть до введения прямого обозначения времени действия), завершенности авторской мысли, вводил новых действующих лиц и новые эпизоды.

В ЦГАЛИ хранится машинопись «Мускула» с пометами Луговского; стихи, составившие 1-ю и 2-ю книги «Большевикам пустыни и весны» (в том же виде), и разрозненные автографы. В рукописном отделе ИМЛИ — гранки и машинопись «Мускула» с правкой Луговского, а также автографы отдельных его ранних стихотворений.

В примечаниях приводятся сведения о первой публикации, перечисляются те печатные издания и автографы, в которых текст подвергался изменениям, а также указывается источник, по которому печатается стихотворение (в тех случаях, когда такого указания нет, стихотворение печатается по первой публикации); сообщаются необходимые сведения биографического и реального характера.

Неоценимую помощь в работе над этой книгой оказала вдова поэта Е. Л. Быкова. Любезно предоставленные ею в наше распоряжение архивные материалы, дневниковые записи Луговского использованы в комментариях и при подготовке текстов. Редакция выражает также глубокую признательность и благодарность Б. Н. Агапову, А. А. Галичу, Т. Э. Груберт, О. М. Грудцовой, В. М. Инбер, К. Л. Зелинскому, Т. А. Луговской, М. Л. Матусовскому, Н. С. Тихонову, которые в письмах и личных беседах сообщили важные данные справочного характера, поделились воспоминаниями о В. А. Луговском.

Сокращения, принятые в примечаниях:

- «Бизнес» — Бизнес. Сборник литературного центра конструктивистов, М., 1928.
- «Большевикам» (1930) — В. Луговской. Большевикам пустыни и весны, М., «Молодая гвардия», 1930.
- «Большевикам» (1931) — В. Луговской. Большевикам пустыни и весны, М.—Л., ГИХЛ, 1931.
- «Большевикам», кн. 2, 1933 — В. Луговской. Большевикам пустыни и весны. Книга вторая, М., ГИХЛ, 1933.
- «Большевикам», кн. 3, 1948 — В. Луговской. Большевикам пустыни и весны. Книга третья, М., «Советский писатель», 1948.
- «Восток и Запад» — В. Луговской. Восток и Запад, М., 1932.
- «Европа» — В. Луговской. Европа. Стихи, М., «Федерация», 1932.
- «Жизнь» — В. Луговской. Жизнь. Поэма, М., 1938.
- «Избр.» (1930) — В. Луговской. Избранные стихи, М., «Огонек», 1930.
- «Избр.» (1932) — В. Луговской. Избранные стихи, М., «Федерация», 1932.
- «Избр.» (1935) — В. Луговской. Избранные стихи, М., Гослитиздат, 1935.
- «Избр.» (1949) — В. Луговской. Избранное, М., 1949.
- «Избр.», тт. 1—2 — В. Луговской. Избранные произведения в 2-х томах, М., Гослитиздат, 1956.
- «Каспийское море» — В. Луговской. Каспийское море. Стихи, М., Гослитиздат, 1936.
- «Крымские стихи» — В. Луговской. Крымские стихи, Симферополь, Крымиздат, 1954.
- «Лирика» (1955) — В. Луговской. Лирика. 1924—1954, М., «Советский писатель», 1955.
- «Лирика» (1958) — В. Луговской. Лирика, М., «Советский писатель», 1958.
- «Мое поколение» — В. Луговской. Мое поколение. Мускул. Страдания моих друзей, М., «Федерация», 1932.
- «Мускул» — В. Луговской. Мускул. Вторая книга стихов, М., «Федерация», 1929.
- «Новые стихи» — В. Луговской. Новые стихи, М., Гослитиздат, 1941.
- «Однотомник» — В. Луговской. Однотомник, М., Гослитиздат, 1935.
- «Песня о ветре» — В. Луговской. Песня о ветре, М., «Молодая гвардия», 1955.
- «Пустыня и весна» — В. Луговской. Пустыня и весна, М., «Советский писатель», 1953.
- «Раздумье» — В. Луговской. Раздумье о поэзии, М., «Советский писатель», 1960.
- «Середина века» — В. Луговской. Середина века. Книга поэм, М., «Советский писатель», 1958.
- «Синяя весна» — В. Луговской. Синяя весна, М., Гослитиздат, 1959.
- «Солнцеворот» — В. Луговской. Солнцеворот, М., «Советский писатель», 1956.
- «Сполохи» — В. Луговской. Сполохи, М., изд. «Узел», 1926.
- «Стих.» (1952) — В. Луговской. Стихотворения, М., Гослитиздат, 1952.

- «Стихи» (1931) — В. Луговской. Стихи (1923—1930), М.—Л., ГИХЛ, 1931.
- «Стихи» (1951) — В. Луговской. Стихи, М., «Правда», 1951.
- «Стихи и поэмы» (1941) — В. Луговской. Стихи и поэмы, Симферополь, Крымгиз, 1941.
- «Стихи об Узбекистане» — В. Луговской. Стихи об Узбекистане, Ташкент, ГИЗ УзССР, 1949.
- «Страдания моих друзей» — В. Луговской. Страдания моих друзей, М., «Федерация», 1930.
- «Страницы воспоминаний» — Страницы воспоминаний о Луговском, М., «Советский писатель», 1962.
- «Хозяева земли» — В. Луговской. Хозяева земли. (Стихи), М., Гослитиздат, 1949.

СТИХОТВОРЕНИЯ

ИЗ СБОРНИКОВ 20 — 30-х ГОДОВ

ИЗ КНИГИ «СПОЛОХИ»

Сборник «Сполохи» вышел в 1926 г. и состоял из 24 стихотворений 1923—1926 гг.; позднее, в «Однотомнике», поэт дополнил раздел «Сполохи» еще пятью стихотворениями. «Моя первая книга «Сполохи», — писал Луговской, — очень сборная по тематике, где была и гражданская война, и море, и стихийное удальство» (Автобиография. ЦГАЛИ).

1. «Сполохи», с. 3. Печ. по «Избр.», т. 1, с. 45. Автограф — без заглавия и посвящения; другой автограф — под заглавием «Ушкуйны», без посвящения. *Ушкуйники* (от «ушкуй» — плоскодонная ладья с парусами и веслами) — новгородцы, вольные люди; входили в ватагу, разъезжавшую по рекам и занимавшуюся разбоем, грабежом, отчасти торговлей. Александр Федорович *Луговской* (1874—1925) — отец поэта, преподаватель литературы, директор 1-й Московской гимназии, был высокообразованным человеком, и в частности большим знатоком старины, интерес и любовь к которой передал сыну. *Пятина* — береговое крыло невода.

2. «Сполохи», с. 4. Автограф — без заглавия.

3. «Сполохи», с. 5. Автограф — без заглавия. *Рублевская троица* — икона «Троица», из иконостаса Троицкого собора в Загорске (ныне хранится в Третьяковской галерее), — прославленное произведение гениального русского живописца Андрея Рублева (ок. 1360—1430). «„Дорога“ и „Повесть“ писались в самую первоначальную пору моего творческого пути — в пору стихийничества, песен об «ушкуйниках», воспевания стихийной, неосознанной, рвущейся вперед силы» (В. Луговской, О моих ошибках. — «Знамя», 1937, № 6, с. 281).

4. «Сполохи», с. 6, в цикле «XVIII—XIX в.». Автограф — без заглавия. *Огромный как смерть император* — Петр I. Я. В. Брукс (1670—1735) — государственный деятель, один из сподвижников Петра I, заведовал русским книгопечатанием; выйдя в отставку, занимался науками в своем имении, за что снискал славу черно-книжника, обладавшего сверхъестественными познаниями: ему приписывается «Брюсов календарь» (М., 1709), который был составлен лишь под его наблюдением.

5. «Сполохи», с. 11. Автограф — без заглавия.

6. «Сполохи», с. 15.

7. «Сполохи», с. 29, без первых семи строк. Печ. по «Однотомнику», с. 41. Автограф — без заглавия и посвящения. Тамара Эдгаровна *Груберт* (р. 1904) — первая жена Луговского, искусствовед.

8. «Сполохи», с. 30. *Биплан на Ходынке*. На Ходынском поле в Москве производились испытания и показательные полеты первых бипланов. *Иван Великий* — колокольня (сооружена в 1505—1508 гг.) на территории Кремля. *Шаболовские антенны*. В 20-е (и 30-е) годы на Шаболовке (район Москвы) были радиомачты.

9. «Однотомник», с. 26. Автограф — под заглавием «Подарок».

10. «Однотомник», с. 27. Автограф (машинопись без подписи Луговского) — под заглавием «Прогулка 1», датировано: 1925.

11. «Однотомник», с. 34. Автограф ЦГАЛИ — с посвящением В. Инбер.

12. «Однотомник», с. 38.

ИЗ КНИГИ «МУСКУЛ»

Вторая книга стихов Луговского — «Мускул» — вышла в Москве, в 1929 г., с посвящением Т. Э. Груберт (см. примеч. 7), состояла из 38 стихотворений 1926—1928 гг.; позднее, в книге «Мое поколение», Луговской включил в раздел «Мускул» еще 3 стихотворения. Автограф ЦГАЛИ — под заглавием «Утро Республик», 1926—1928; автограф ИМЛИ — под заглавием «Старт» (первоначальное заглавие «Утро Республик» зачеркнуто). «Книга «Мускул», вышедшая в 1929 году, — писал Луговской, — отражает мои политические и личные настроения этого периода: жажда стройки, энергичной деятельности, твердой выдержки и бездумной, чисто эмоциональной отдачи себя «молодым Республикам» [Образ из стихотворения «Утро Республик». — *Ред.*]» (Автобиография. ЦГАЛИ).

13. «Красная новь», 1927, № 8, с. 90; «Большевикам» (1930). Печ. по «Избр.», т. 1, с. 41. Автограф ИМЛИ — под заглавием «Из книги — «Молодежь» 1». Перефразируя строки этого стихотворения, Луговской говорил на Первом Всесоюзном съезде советских писа-

телей: «Мое поколение, которое теперь стало поколением мастеров и инженеров, механиков, лаборантов и строителей пятилеток, встретило мировую войну в 13 лет и в 16 лет услышало октябрьские залпы» («Раздумье», с. 172).

14. «Красная новь», 1929, № 2, с. 112. Автограф — без заглавия.

15. «Мускул», с. 14. Печ. по «Избр.», т. 1, с. 35. Приводя отрывок из этого стихотворения (заглавие в скобках: «Необыкновенное утро»), Луговской так определял его содержание: «Утро тренировки, собственно говоря, — рассвет. Спортивная тема» (Автобиография. ЦГАЛИ).

16. «Красная новь», 1929, № 2, с. 113. Печ. по кн. «Мускул», с. 16, где стихотворение посвящено Агапову; в последующих изданиях посвящение снято. Автограф — без заглавия и посвящения. Цитируя строки этого стихотворения: «Не спится ему. Конденсация сил...» (название в скобках: «Дело о человеке»), Луговской определяет его тему так: «„Описание ночи хозяйственника — коммуниста или некоммуниста...“, однако фактически преданного строительству, измученного» (Автобиография. ЦГАЛИ). На книге «Мускул», подаренной Б. Н. Агапову в 1929 г., поэт сделал следующую дарственную надпись: «Боре Агапову — простые стихи и сложная биография как залог строгой конструктивной спайки, ласковой дружбы, четкого понимания, как память о чудесных последних днях нашей беспутной молодости. Конструктивист — это явление мотивированное». «Само стихотворение «Делатель вещей», мне посвященное, — пишет Б. Н. Агапов, — как я думаю, имеет непосредственно ко мне лишь косвенное отношение. В то время, когда оно писалось, я еще никак не проявил печатно своего пристрастия к технике и промышленности, хотя Луговской и мог знать об этом увлечении. Лишь в 1930 году были напечатаны первые мои индустриальные очерки. Пожалуй, в группе конструктивистов Зелинский да я были наиболее выраженными техницистами, поклонниками всего индустриального... Два слова о самом стихотворении. У Луговского не было никакого научного, технического, производственного опыта. Пафос статистики, математики, рационализма был в нем наносным, как блатная тематика у Веры Инбер... В этом стихотворении, действительно, существует панегирик интеллигенции, что было для Луговского характерно. Он видел интеллигенцию в ореоле тех образов, которые обычны для его поэзии: сжатые челюсти, измученность и самоотверженность, противостояние урагану, отказ от комфорта, отказ от уютности, героическая примитивизация своей культуры, жертвенность и готовность на все ради идеи, готовность даже не только умереть, но, что для интеллигента в тысячу раз ужаснее, — убивать. В этом был стиль, и в этом была если не поза, то позиция, которую приказал себе поэт» (Из письма к Н. Банк от 21 ноября 1964 г.).

17. «Мускул», с. 19. Автограф ЦГАЛИ — под заглавием «Весна 1927»; другой автограф ЦГАЛИ — под заглавием «Весна»; автограф ИМЛИ — под заглавием «Весна», с пометой в скобках: «На-

звание можно изменить». *Ругая Мейерхольда*. В декабре 1926 г. в театре им. Вс. Мейерхольда состоялась премьера «Ревизора», в январе 1927 г. на страницах печати развернулась бурная дискуссия вокруг спектакля, многие высказывали недовольство новой работой режиссера, — видимо, это и имеет в виду Луговской. *Главком Кантона, длинный Чан-Кай-ши* и т. д. Китайский реакционный военный и политический деятель Чан-Кай-ши (р. 1887) в 1917 г. присоединился в Кантоне к Сун Ят-сену, после смерти которого захватил все главные посты в национально-революционной армии; в 1927 г., опираясь на помощь империалистических держав и крупной буржуазии, совершил контрреволюционный переворот.

18. «Мускул», с. 21. Печ. по сб. «Мое поколение», с. 15.

19. «Мускул», с. 35. *Корпус Буденного гонит на Воронеж*. В 1919 г. конница С. М. Буденного сыграла большую роль в осуществлении разгрома Деникина; решительным ударом на направлении Воронеж — Касторное Буденный полностью разгромил белогвардейские кавалерийские корпуса Мамонтова и Шкуро. *«Расшумелся, разгулялся...»* и т. д. — измененные слова белоказачьей песни «Всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон», получившей популярность во время первой мировой войны.

20. «Прожектор», 1927, № 4, с. 11; «Избр.» (1930). Печ. по «Избр.», т. 1, с. 38. Автограф (черновик) датирован: 25 октября 1926. *Дроздовцы* — название белогвардейских воинских частей, организованных в 1918 г. генералом Дроздовским.

21. «Мускул», с. 39.

22. «Мускул», с. 43, под заглавием «Лодя Гулимов». Печ. по «Избр.», т. 1, с. 27. Автограф ЦГАЛИ с пометой: «Посвящается Т. Э. Г.»; в автографе ИМЛИ посвящение зачеркнуто.

23. «Мускул», с. 46. Печ. по «Избр.», т. 1, с. 52.

24. «Бизнес», с. 185. Печ. по кн. «Мускул», с. 51. Автограф ИМЛИ.

25. «Мускул», с. 70.

26. «Бизнес», с. 182, под заглавием «Поезд»; «Мускул», под заглавием «Обреченный поезд», с посвящением Корнелию Зелинскому; «Стихи» (1931), под заглавием «Песня о ветре», под рубрикой «Из поэмы „Сибирь“» (с включением первой половины стихотворения «Белый офицер» — см. «Сполохи», с. 17), без посвящения (во всех последующих изданиях оно тоже отсутствует); «Избр.» (1932), в разделе: «Поэма „Сибирь“», под заглавием «Вступление. Песня о ветре». Печ. по «Избр.», т. 1, с. 18 (с исправлением опечаток). Автограф (черновик), без заглавия, в тетради стихов 1926 г.; автограф ИМЛИ, под заглавием «Поезд» (из поэмы «Сибирь»); другой автограф ИМЛИ, под заглавием «Сибирский путь».

Улагай — белогвардейский генерал. *Восьмого января Армией пятой Взят Красноярск*. 6 января 1920 г. (Луговской ошибся на 2 дня) советские войска 5-й армии Восточного фронта с помощью партизан заняли Красноярск, освободив его от колчаковцев. «*Эх, шарабан мой, американка!*...» и т. д. — из песни времен гражданской войны. «Я всегда любил свой ветер, ветер революции, свою песню о ветре, без кавычек», — говорил Луговской на Первом съезде писателей («Раздумье», с. 178).

27. «Мускул», с. 85. *Лаун-теннис* — в начале века так называлась игра в теннис. *Китеж*. В интеллигентской среде начала XX в. было распространено увлечение всем древнерусским, историческими и историко-легендарными сюжетами в искусстве; Луговской, вероятно, имеет в виду оперу Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии». Н. К. *Рерих* (1874—1947) — известный русский художник, темы многих его картин русского периода почерпнуты из области легенд, преданий, исторического прошлого России. *Шаляпин в «Борисе»*. Борис Годунов в одноименной опере М. П. Мусоргского был одной из центральных партий в репертуаре Ф. И. Шаляпина (1873—1938). *Думские соловьи* — по-видимому, ораторы-краснобаи из Государственной думы. *Льеж и Лувен* — бельгийские города, упорно оборонявшиеся и сильно пострадавшие во время первой мировой войны. *Перемышль* — крепость в Польше, не раз блокировалась русскими войсками, которые 3 июня 1915 г. оставили город при общем отходе из Галиции. «*Союз городов*» — либерально-буржуазная общественная организация, созданная в начале первой мировой войны в России. *Мунгос беседует с крысой Чучундрой* — эпизод из сказки Р. Киплинга «Рики-тики-тави». *Каледины* — белогвардейцы, действовавшие на Дону в конце 1917 и начале 1918 г. под руководством генерала царской армии А. М. Каледина. П. Н. *Сакулин* (1868—1930) — историк литературы, с 1902 г. преподавал в Московском университете. *Чехи спасали нацию*. Имеется в виду контрреволюционный мятеж чехословацкого корпуса в Советской России в мае-ноябре 1918 г. Отдельные черты биографии Нечаева повторяются в судьбе прапорщика Цветкова (поэма «Как человек плыл с Одиссеем» в «Середине века»).

28. «Мускул», с. 89.

29. «Мускул», с. 97. Печ. по «Избр.», т. 1, с. 44. Автограф — под заглавием «Море».

30. «Красная новь», 1927, № 12, с. 112; «Мускул». Печ. по «Избр.», т. 1, с. 54. *Грузинская дорога* — Военно-Грузинская дорога. «*Молодая гвардия*» — популярная советская песня на стихи А. Безыменского (1922). «*В глубокой теснине Дарьяла...*» и т. д. — первые строки из стих. М. Ю. Лермонтова «Тамара» (1841).

31. «Прожектор», 1928, № 38, с. 6, под заглавием «Пограничное». Печ. по кн. «Мускул», с. 106. *Хуло* — название селения. *Лаваш* — плоский пшеничный хлеб, употребляемый в Закавказье.

Третья книга стихов Луговского — «Страдания моих друзей» — вышла в 1930 г.; включенные в нее стихи 1928—1929 г. составили 4 раздела; в книге «Мое поколение» раздел «Страдания моих друзей» пополнился «Послесловием». В одной из тетрадей Луговского со стихами, вошедшими в этот сборник, есть нечто вроде оглавления:

«Страдания общественные

Страдания любовные

Страдания бытовые».

«В процессе работы над книгой «Страдания моих друзей», — писал Луговской, — у меня произошел резкий конфликт с тем социальным окружением, которое воспринимало только культурную и технически прогрессивную сторону революции и нивелировало грозный, трудный и далеко не праздничный путь рабочего класса, стремящегося к уничтожению всех классов» (Автобиография. ЦГАЛИ).

32. «Страдания моих друзей», с. 9.

33. «Страдания моих друзей», с. 13. Автограф — без заглавия и эпиграфа. «*Вадим ехал скоро...*» и т. д. — цитата из 14-й главы незаконченного романа М. Ю. Лермонтова «Вадим». *Цекубу* — Центральная комиссия по улучшению быта ученых. «В дальнейшем постепенно произошел и литературный отход от конструктивизма, — вспоминал Луговской. — В целом ряде стихотворений я вступил с ним в окончательный для меня литературный и общественный спор («О друзьях», «Повелитель бумаги» и др.). В последнем стихотворении я серьезно поставил себе вопрос о том, какова же творческая задача поэта в эпоху реконструкции, в эпоху социалистического наступления, и осудил для себя те литературные тенденции, которые ставят поэта выше (а по существу, конечно, ниже) эпохи, дают ему полную возможность и право «ошибок» только потому, что он как поэт берет на себя функцию судить эпоху» (Автобиография. ЦГАЛИ).

34. «Новый мир», 1929, № 6, с. 41, без двадцати первых строк, с большими разночтениями. «Большевикам» (1930) — без посвящения; «Однотомник» — без девяти последних строк. Печ. по кн. «Страдания моих друзей», с. 20. Автограф — без посвящения. Эдуард Георгиевич Багрицкий (1895—1934), как и Луговской, примыкал к «Литературному центру конструктивистов»; поэты были дружны между собой, Багрицкий редактировал первые сборники Луговского (см. об этом выступление Луговского на II съезде писателей — «Раздумье», с. 225—226); о том, как Луговской впервые читал эти стихи Багрицкому, вспоминает А. Исбах («На литературных баррикадах», М., 1964, с. 324—325); 6 февраля 1930 г. поэты вместе вступили в РАПП, как бы делегированные в эту организацию конструктивистами (письмо К. Л. Зелинского к Н. Банк от 23 октября 1964 г.). Поэма «*Курьерский поезд*». По словам Т. А. Луговской, поэт когда-то начинал стихи под таким заглавием (в архиве не обнару-

жены). *Кунцево* — район Москвы, где с 1925 по 1931 г. жил Э. Багрицкий; в его доме бывал Луговской, впоследствии он посвятил Багрицкому стихотворение «Кунцево» («Лит. газ.», 1959, 21 марта, с. 3). *ВХУТЕМАС* — Высшее художественное училище театрального мастерства. «*Не думали мы еще с вами вчера...*» и т. д. — строка из популярной песни «Варяг» («Гибель „Варяга“»), русский перевод стихотворения немецкого поэта Р. Грейнца осуществлен Е. М. Студенской (1904). *Хорошая спортсменка* и т. д. — относится к Е. С. Шишмаревой (р. 1902), знакомой Луговского (ныне зав. кафедрой сценического движения ГИТИСа). Строку «*Мы в сумрачной стройке сражений теперь...*» Луговской приволил в подтверждение того, что «в 1928 году, перед началом решающего социалистического наступления... категорически определил для себя... эпоху» (В. Луговской, *Мой путь к пролетарской литературе*. — «Красная новь», 1932, № 5, с. 177).

35. «Красная новь», 1930, № 3, с. 133, под заглавием «Твой голос уже относилось». Печ. по кн. «Страдания моих друзей», с. 24. *Уленишпигель* — герой романа Шарля Костера «Легенда об Уленишпигеле и Ламме Гудзаке» (1867); о близости Тиля Уленишпигеля романтической поэзии Луговского см.: А. Исбах, *На литературных баррикадах*, М., 1964, с. 335. Ссылаясь на это стихотворение, которое Луговской считал «этапным» для себя, поэт утверждал, что в «Страданиях моих друзей» «впервые ставил вопрос о классовой борьбе» (Автобиография. ЦГАЛИ).

36. «Страдания моих друзей», с. 30. Автограф — без заглавия. «В этом стихотворении, как и в целом ряде других стихов... я самым резким образом творчески размежевался с конструктивизмом, — говорил Луговской на поэтическом совещании РАПП в 1932 г. — Я писал и о тех литературно-политических тенденциях, которые представлял собой тогда конструктивизм, и о тех друзьях (в широком смысле), которые меня окружали... Это размежевание было политическим, несомненно» («Мой путь к пролетарской литературе». — «Красная новь», 1932, № 5, с. 176). *Улыбались, как поросята в витринах* и т. д. «Поросята — это были мы, конструктивисты, — грустно-иронически комментировала эти строки в 1932 г. В. Инбер. — Дальше идет речь о «небольшом враге», о «сусликах» (см. стих. «Суслик». — *Ред.*), «индивидуалистах-приспособленцах» и «мелкобуржуазной интеллигенции». Всё это были мы. Со всем этим, как выяснилось впоследствии, при его вступлении в РАПП, Луговской вел борьбу. И становится ясно, что конструктивистская среда была бы губительна для поэта, если бы он вовремя не спасся. Но я, «суслик», очевидно, более выносливый, чем Луговской, не так остро ощущала вредоносность данной группировки» (В. Инбер, *За много лет*, М., 1964, с. 14). *Вежеталь* — туалетная вода.

37. «Страдания моих друзей», с. 36. Печ. по «Избр.», т. 1, с. 60. Автограф — без заглавия. «Восприятие революции еще пассивное, — писал Луговской, цитируя рефрен. — *Ход революции ощущается как волевой приказ, как веление, которому подчиняется поэт*»

(Автобиография. ЦГАЛИ). В докладе на поэтическом совещании РАПП Луговской отмечал, что «просьба о взятии в переделку — это и есть основная тенденция всей книги» («Красная новь», 1932, № 5, с. 178). Интересно замечание Л. Левина, что лейтмотив «Письма...» сформировался не без влияния «Нашей биографии» И. Сельвинского (см.: Л. Левин, Владимир Луговской. Книга о поэте, М., 1963, с. 61). О том, как Луговской читал свое «Письмо...» на одном из московских активов комсомола, см.: А. Исбах, На литературных баррикадах, М., 1964, с. 328—329.

38. 1-е стих. — «Октябрь», 1929, № 7, с. 64. Печ. по кн. «Страдания моих друзей», с. 45. 2-е стих. — «Страдания моих друзей», с. 47; автограф — без заглавия. Луговской признавал, что классовая борьба у него «часто выражалась... в борьбе с «небольшим» врагом — с «сусликами», индивидуалистами-приспособленцами, политическим мещанством» (Автобиография. ЦГАЛИ).

39. «Красная новь», 1930, № 1, с. 163. «Страдания моих друзей» — с посвящением В. Инбер. Печ. по кн. «Стихи» (1931), с. 84. Эпиграф — из стих. Г. Гейне «Не знаю, что значит такое...» (1823) в переводе А. Блока. *Квершлаг* — горизонтальная или наклонная подземная горная выработка.

40. «Страдания моих друзей», с. 76, — с иной концовкой (еще 12 строк); «Избр.» (1932); «Стих.» (1952) — под заглавием «Пробуждение». Печ. по «Избр.», т. 1, с. 248. Автограф — с посвящ. Т. А. Л. — Татьяне Александровне Луговской, сестре поэта. В статье «О моих ошибках» Луговской пытался обосновать отказ от последних двенадцати строк стихотворения в его первоначальном виде: «Это прощание с прошлым, прощание с любимой женщиной, в образе которой сквозят черты России, но которую отнюдь не следует отождествлять с Россией... Но прощание с любимой женщиной завершается строками, проклинающими любимый русский снег и любимую природу, ибо автор в ныне давно отброшенном им «жертвенном экстазе» так понимал творческий, безоговорочный переход к революции. Не стихотворение здесь порочно, а строки эти, портящие дорожку для меня вещь. Они не нужны...» («Знамя», 1937, № 6, с. 283).

41. «Красная новь», 1929, № 6, с. 113, под заглавием «Любовь». Печ. по кн. «Страдания моих друзей», с. 91. Автограф — без заглавия. «*Уймись, волнения страсти*» — романс М. Глинки на стихи Н. Кукольника «Сомнение». «*Расстались гордо мы*» — романс А. Даргомыжского на стихи В. Курочкина «В разлуке» (1856). «*Что в имени тебе моем?..*» — романс А. Даргомыжского (есть также романс Н. Римского-Корсакова) на стихи А. С. Пушкина «*Что в имени тебе моем?..*» (1830). «В этой книге очень много индивидуализма, переходящего иной раз в кричащий биологизм, — полагал Луговской, — например, стихотворение «Волчий вой» — само название которого за себя говорит» («Красная новь», 1932, № 5, с. 177—178).

42. «Страдания моих друзей», с. 97. Автограф — без заглавия,

43. «Красная новь», 1929, № 6, с. 115. Печ. по кн. «Страдания моих друзей», с. 99. Автограф — без заглавия; автограф ЦГАЛИ — под заглавием «Лицом к лицу» (зачеркнуто), сверху надписано: «Ночь». Ф. В. *Ростопчин* (1763—1826) — московский генерал-губернатор во время войны 1812 г. *Рябушинские и Морозовы* — московские меценаты. *Стоцветные фрески пишет для них сумасшедшая мощь Врубеля*. М. А. Врубель (1856—1910) выполнял заказы для известных московских меценатов: для «готического» кабинета в доме А. В. Морозова, во Введенском переулке, в 1896 г. исполнил панно на мотивы из «Фауста» Гете; для особняка С. Т. Морозова на Спиридоновке (впоследствии этот дом принадлежал М. П. Рябушинскому) — скульптурные группы из бронзы — «Роберт и Бертрам».

44. «Избр.» (1930); «Мое поколение»; «Песня о ветре» — под заглавием «Прямой разговор», дата: 1931. Печ. по «Избр.», т. 1, с. 62. Автограф — без заглавия. *Я был политпросветчиком, солдатом и поэтом*. «Мое политпросветничество так и продолжалось вплоть до 1928 года, когда я впервые воспринял литературу как профессию, — писал Луговской. — Красная Армия и политпросвет были для меня основной жизненной и политической школой» (Автобиография. ЦГАЛИ).

ИЗ КНИГИ «ЕВРОПА»

Сборник стихов «Европа» вышел в Москве в 1932 г., состоял из тринадцати стихотворений, написанных в 1930—1931 гг.

«От знойных песков и голубых гор Туркмении я почти сразу по возвращении домой отправился в качестве корреспондента «Красной звезды» с эскадрой Черноморского флота в Турцию, Грецию и Италию. Европа была тогда в самом разгаре великого кризиса, и вечная красота природы Средиземноморья, сотни раз воспетая классиками, только подчеркивала страшную поступь безработицы, обнищания, безысходности и фашизации европейских стран. Так родилась книга „Европа“, — вспоминал Луговской («Раздумье», с. 18—19). «В книге «Европа» (1930—1931) для меня встал со всей остротой вопрос об изображении классовой ненависти и основных движущих сил социального процесса. Вместо индивидуалистического «я» позволяется в моей поэзии слово „мы“» (Автобиография. ЦГАЛИ).

45. «Октябрь», 1932, № 1, с. 3. Печ. по «Избр.», т. 1, с. 141. *Гафель* (рангоут) — крупные деревянные брусья или стальные трубы, составляющие часть парусного вооружения судов. *Юнион-Джек* — английский флаг. *«Руль, Британия»* — английский гимн. «...Одно дело путешествовать одному, но совсем другое дело, когда вы сходите на берег буржуазного государства с коллективом в 300 краснофлотцев, — рассказывает В. Луговской. — Здесь классовые симпатии и классовые антипатии различных социальных групп выражаются с исключительной резкостью по отношению к этому коллективу и к вам — члену коллектива» («Красная новь», 1932, № 5, с. 180).

46. «Молодая гвардия», 1932, № 2, с. 26. Печ. по кн. «Европа», с. 35.

47. «Европа», с. 38. *Айя-София* — собор св. Софии (537 г.) — замечательный памятник византийского искусства. *Банджо* — струнный щипковый джазовый инструмент.

48. «Красная новь», 1931, № 12, с. 44, под заглавием «Dies irae»; «Европа»; «Избр.» (1949). Печ. по «Избр.», т. 1, с. 152. Автограф (черновик) — без заглавия. «*День гнева*» («Dies irae») — католическое песнопение. *Булла* (папская) — важный указ или торжественное послание, скрепляемое мталлической печатью, которая именуется так же. *Навин* (Иисус Навин) — библейский персонаж.

«БОЛЬШЕВИКАМ ПУСТЫНИ И ВЕСНЫ»

Впервые сборник стихов Луговского под таким наименованием был издан в 1930 г., тогда же в «Избр.» (1930) появился раздел «Из книги „Большевикам пустыни и весны“», повторяющийся и расширяющийся в «Избранном» последующих лет. Многие стихи, составившие первую книгу эпопеи, вошли в сборник «Большевикам» (1931), а некоторые стихи из будущей второй книги — в сборник «Восток и Запад», 1932; 2-я книга вышла целиком в 1933 г., 1-я и 2-я вместе — в 1934 г. После большого перерыва, в 1948 г., Луговской выпускает 3-ю книгу. В 1953 г. выходит сборник «Пустыня и весна», включающий стихи из всех четырех книг. «... Удивительно емкое название, которое само по себе есть уже стихотворение» (В. Инбер, За много лет, М., 1964, с. 491). «Мне пришлось побывать и в пустыне и на границе, в горах Копет-Дага, проплыть по Аму-Дарье от Керков до Чарджоу на парусном каяке, — вспоминал впоследствии Луговской о своей поездке в Среднюю Азию в составе туркменской бригады писателей весной 1930 г. — Гром тракторов той весны, героика колхозных будней Туркмении, тысячи лиц, море красок навсегда остались в памяти и определили целый этап в моем творчестве — эпопею «Пустыня и весна», которую я, то отходя от этой книги, то снова возвращаясь к ней, писал в продолжение почти четверти века. Так для меня раскрылись наяву тема Средней Азии, тема преобразования природы, борьбы за всепобеждающую жизнь, вопреки всяческому старью, косности, темноте, проiscaм врагов и невероятным трудностям... Это стихи о жизни и смерти, о любви и дружбе, о работе и подвигах многих людей советского общества... Пустыня — это все старое, мрачное, отжившее. Весна — это то, что принесели коммунисты в быт, в работу, в природу, в отношения между людьми» («Раздумье», с. 17—18, 221). О возникновении замысла этой книги см.: Н. Тихонов, Туркмения, 1930 год. — «Страницы воспоминаний», с. 74. Луговской писал о новых героях, появившихся в «Большевиках пустыни и весны»: «... Люди, не отвлеченно стремящиеся к какому-то большому делу, не мечтающие о деле вообще («Мускул»), не люди, страдающие от внутренней несогласованности, преодолеваящие в себе противоречия, как в «Страданиях моих друзей». Здесь впервые появляются те, которые творчески работают

на определенном участке, порученном им партией, побеждают ряд трудностей и в конечном итоге проводят в жизнь укрепленную волей идею победоносного социализма» (Автобиография. ЦГАЛИ).

ИЗ ПЕРВОЙ КНИГИ

49. «Октябрь», 1930, № 7, с. 3; «Большевиком» (1931); «Избр.» (1932); «Избр.» (1935) — без заглавия; в «Песне о ветре» — дата: 1931; «Пустыня и весна». Печ. по «Избр.», т. 2, с. 101. «Первое стихотворение... эпопеи... было написано ночью в Чарджоу и сразу определило содержание, а также название всех будущих моих книг о Средней Азии» («Раздумье», с. 18). О рождении и первом чтении этого стихотворения см. также воспоминания Н. Тихонова («Страницы воспоминаний», с. 86—87).

50. «Большевиком» (1930), с. 25, без посвящения; «Пустыня и весна». Печ. по «Избр.», т. 2, с. 104.

51. «Октябрь», 1930, № 9, с. 82. Печ. по «Избр.», т. 2, с. 111.

52. «Большевиком» (1931), с. 50; «Туркменистан весной», М.—Л., 1932, с. 264, под заглавием «Гибель экзотики». *Конрад Фейдт* (Вейд) (1893—1943) — немецкий киноактер. *Дервиши* — мусульманские монахи, многие из них занимаются знахарством, гаданием и т. д. *Шейх* (арабск.) — старик, старец; в арабских странах — глава рода, деревенский старшина. Факт, описанный в стихотворении, реальный. «Встретили мы... также охотника за змеями — старичка туркмена в оборванном халате. Старичок расхвастался: говорит, за последний месяц 300 штук змей ушиб и продал их Госторгу» (Вс. Иванов, Повесть бригадира М. М. Синицына. — «Туркменистан весной», М.—Л., 1932, с. 143).

53. «Большевиком» (1931), с. 54. *Нури* — лицо, встречающееся и в очерках Н. Тихонова начала 30-х годов (Кара-Кала. Вниз по Сумбару. Нури. — «Туркменистан весной», с. 410—412). *Текинцы* — одно из крупных туркменских племен.

54. «Красная новь», 1930, № 12, с. 82; «Восток и Запад». Печ. по «Избр.», т. 2, с. 123. *Белуджи* (балючи) — народ иранской языковой группы, живет в Иране и Афганистане, а также в Пакистане; в начале 30-х годов белуджи, кочевавшие на территории советской Средней Азии, были постепенно переведены на оседлый образ жизни. См. о переселении белуджей из Индии в письме Луговского к сестре (в кн.: Л. Левин, Владимир Луговской, М., 1963, с. 82).

ИЗ ВТОРОЙ КНИГИ

Весной 1931 г. по командировке ЛОКАФА Луговской поехал на границу в Таджикистан. «Я надел военную гимнастерку и три с половиной месяца ездил по всей границе — от Дарваза по линии реки Пяндж до Туркмении. Я прошел пустыню Кара-Кум, которая

отнюдь не была так романтична, как я ее изобразил в „Большевиках пустыни и весны“» («Красная новь», 1932, № 5, с. 183).

55. «Красная новь», 1932, № 8, с. 3, с подзаголовком «Поэма»; «Большевикам», кн. 2, 1933, с посвящением М. С. Погребинскому (партийный работник, друг А. А. Фадеева). Печ. по «Избр.», т. 2, с. 127. *Младобухарская партия* — буржуазно-националистическая партия, многие ее члены являлись организаторами басмачества. *Солдаты... Фрунзе принесли... великий двадцатый год*. Войска Туркестанского фронта под командованием М. В. Фрунзе (1885—1925) в 1920 г. провели успешные операции против белогвардейских войск и банд басмачей.

56. «Красная новь», 1932, № 5, с. 13; «Большевикам», кн. 2, 1933. Печ. по «Избр.», т. 2, с. 136. Автограф ЦГАЛИ — с подзаголовком: «Из книги „Граница“». *Иган-Берды* — реально существовавшее лицо; М. Матусовский пишет, что у Луговского в 30-е годы было оружие, принадлежавшее этому знаменитому басмачу (письмо к Н. Банк от 4 декабря 1964 г.). *Гиссар* — Гиссарский хребет, наиболее высокая восточная часть его покрыта снегами.

57. «Большевикам», кн. 2, 1933; «Песня о ветре». Печ. по кн. «Пустыня и весна», с. 40.

58. «Красная новь», 1933, № 1, с. 61; «Большевикам», кн. 2, 1933; «Избр.» (1949); «Пустыня и весна». Печ. по «Избр.», т. 2, с. 152. *Джидда* (джидда, джигда) — крупные кустарники или небольшие деревца с мучнистыми плодами в Средней Азии.

59. «Октябрь», 1932, № 8, с. 21. Печ. по «Избр.», т. 2, с. 158. *Алайцы и саперы* — Алайский полк и саперный батальон.

ИЗ ТРЕТЬЕЙ КНИГИ

60. «Звезда Востока», 1947, № 9, с. 39; «Большевикам», кн. 3, 1948; «Избр.» (1949). Печ. по кн. «Пустыня и весна», с. 99. «...Только начнется дорога, ветер с юга, пыль, шоферы... — старый чертовский хмель бьет мне в голову... — и всё в порядке — и снова верю в свои силы, в старую молодость, в великого Бога Странствий и Путей... Все здесь — новое, свежее, бодрит и зовет к будущему», — писал Луговской жене Е. Л. Быковой 29 марта 1947 г. из Узбекистана; это письмо — своеобразный комментарий к стихотворению.

61. «Большевикам», кн. 3, 1948, с. 31. Печ. по кн. «Стих.» (1952), с. 173. Автограф (черновик) — без посвящения. Елена Леонидовна *Быкова* (р. 1919) — жена В. Луговского.

62. «Большевикам», кн. 3, 1948, с. 51; «Стихи об Узбекистане» — без заглавия. В записях В. Луговского о Фархаде (тетрадь 1947 г.) можно наблюдать рождение стихотворных строк: «...Красная Фар-

хадская скала. Торжественные облака. Справа синие, туманные горы, зеленеющие поля. Пыль как взрывы. Туман. Водяной свод над песком. Воду бросает метров на 15. Ровный, радостный рев. . . Туркестанский хребет. Белая дорога. Вечный путь. Вспышки поля: летучие мыши».

ИЗ ЧЕТВЕРТОЙ КНИГИ

63. «Знамя», 1952, № 12, с. 12, в цикле «Главный Туркменский. Из новой книги стихов»; «Пустыня и весна». Печ. по «Избр.», т. 2, с. 224. Автограф, под заглавием «Давно это было», — без посвящения. По словам Н. С. Тихонова, посвящение не случайно: содержание «Баллады. . .» — пережитое вместе с Луговским; в 1934 — 1935 гг. Тихонов задумал роман о пустыне, о борьбе с басмачами, собирал соответствующий исторический материал; это произведение так и не было написано; помня о давнем интересе друга к теме пустыни, Луговской спустя много лет посвятил ему это стихотворение (из беседы с Н. С. Тихоновым 21 декабря 1964 г.). Луговской сам «умирал от жажды в Каракумах (что отражено в «Балладе о пустыне»), хоронил товарищей, вырывая могилу в песках» («Раздумье», с. 39—40).

64. «Знамя», 1952, № 12, с. 15, в цикле «Главный Туркменский. Из новой книги стихов»; «Пустыня и весна». Печ. по «Избр.», т. 2, с. 241.

ИЗ КНИГИ «ЖИЗНЬ»

«Жизнь. Книга первая» вышла в Москве, в 1933 г., состояла из пяти частей, впоследствии получивших заглавия: 1 — «Красные чашки», 2 — «Комиссар», 3 — «Мельник», 4 — «Сапоги», 5 — «Акрополь». «. . . Я написал . . . книгу «Жизнь», состоящую из ряда автобиографических поэм философской направленности. Эту тему я продолжал развивать и в последующие годы творчества. Смысл ее — столкновение человека с невероятным многообразием действительности, творческая победа человека над огромным, то зловещим, то радостным миром» («Раздумье», с. 20).

65. «Молодая гвардия», 1933, № 3, с. 3, без заглавия. Печ. по «Избр.», т. 2, с. 27.

ИЗ КНИГИ «КАСПИЙСКОЕ МОРЕ»

Сборник «Каспийское море» в составе 22 стихотворений 1933—1936 гг. вышел в Москве в 1936 г. «В 1933 году Н. Тихонов, П. Павленко и я поехали в Дагестан. Эта поездка еще больше укрепила дружбу между нами, а меня вдохновила на книгу „Каспийское море“» («Раздумье», с. 21).

66. «Знамя», 1934, № 10, с. 105. Печ. по «Избр.», т. 1, с. 292.

67. «Лит. газ», 1934, 31 декабря, под заглавием «Огненный жук»; «Избр.», т. 1, с. 123, дата: 1936. Печ. по кн. «Каспийское море», с. 19.

68. «Знамя», 1935, № 4, с. 49; «Каспийское море»; «Лирика» (1955). Печ. по «Избр.», т. 1, с. 245. *Стрингерс* (стрингер) — продольная связь корпуса судна, имеет форму бруска или балки.

69. «Знамя», 1935, № 5, с. 118. Печ. по кн. «Каспийское море», с. 26.

70. «Знамя», 1935, № 6, с. 114. Печ. по сб. «Лирика» (1955), с. 164.

71. «Знамя», 1935, № 8, с. 151. Печ. по «Избр.», т. 1, с. 247. Автограф — без заглавия.

72. «Знамя», 1935, № 7, с. 44; «Каспийское море»; «Избр.» (1949). Печ. по «Избр.», т. 1, с. 121. *Фирн* — плотный снег, состоящий из массы ледяных крупинок. *Кахиб* — село в Дагестане.

73. «Каспийское море», с. 53. Печ. по «Избр.», т. 1, с. 251.

74. «Знамя», 1936, № 8, с. 102, в цикле «Из книги „Каспийское море“», с посвящением Григорию Широкову. Печ. по «Избр.», т. 1, с. 243. Автограф (черновик) — без заглавия и посвящения.

ИЗ СБОРНИКОВ 40 — 50-х ГОДОВ

75. «Знамя», 1933, № 2, с. 106, «Новые стихи»; в «Избр.» (1949) — дата: 1928; в «Лирике» (1955) — дата: 1925. Печ. по «Избр.», т. 1, с. 15. Автограф, ранний вариант.

76. «Молодая гвардия», 1936, № 11, с. 58; в «Избр.» (1949) — дата: 1937; автограф — с эпиграфом из стихотворения П. Верлена:

Il pleure dans
mon coeur,
Comme il pleut
sur la ville.

77. «Избр.» (1949), с. 71. «Меня увлек сценарий Павленко «Александр Невский». Для этого кинофильма я написал ряд песен и среди них гимн „Вставайте, люди русские“» («Раздумье», с. 22).

78. «Молодая гвардия», 1939, № 1, с. 118, в «Лирическом цикле»; «Стих.» (1952). Печ. по «Избр.», т. 1, с. 239.

79. «Молодая гвардия», 1939, № 7, с. 96. В «Стихах» (1951) и «Избр.», т. 1 — дата: 1940. Печ. по «Избр.» (1949), с. 6. Об этом стихотворении, стих. «Лозовая» и др. Луговской писал: «Это было большое лирическое движение в область самого заветного, что есть у человека в жизни» («Раздумье», с. 22).

80. Литературно-эстрадный сборник, М., 1940, под заглавием «Станция Лозовая». Печ. по кн. «Лирика» (1958), с. 26.

81. «Красная новь», 1941, № 1, с. 75. Автограф — без заглавия. Печ. по «Избр.», т. 1, с. 306.

82. «Молодая гвардия», 1939, № 1, с. 118, в «Лирическом цикле», с посвящением С. Ч. (Сусанна Михайловна Чернова). Печ. по кн. «Новые стихи», с. 61. В «Избр.», т. 1 — дата: 1940. Автограф — другая редакция.

83. «Красная новь», 1939, № 7, с. 107, в цикле «Лирические стихи». В «Избр.», т. 1 — дата: 1940.

84. «Звезда», 1939, № 9, с. 84, — в цикле «Лирические стихи».

85. «Звезда», 1939, № 9, с. 84, — в том же цикле.

86. «Новый мир», 1939, № 3, с. 149, в цикле «Лирические стихи»; в «Избр.» (1949) — дата: 1938. Печ. по «Избр.», т. 1, с. 310. По свидетельству Л. Левина, В. Луговской считал «Остролистник» «чем-то вроде своего поэтического герба» (Л. Левин, Владимир Луговской, М., 1963, с. 142).

87. «Знамя», 1939, № 4, с. 133. Печ. по «Избр.», т. 1, с. 86. По словам Е. Л. Быковой, адресовано А. А. Фадееву.

88. «Новый мир», 1939, № 3, с. 149, в цикле «Лирические стихи». Печ. по кн. «Стихи и поэмы», с. 88.

89. «Новый мир», 1939, № 3, с. 150, в том же цикле.

90. «Новый мир», 1939, № 3, с. 150, в том же цикле. Печ. по кн. «Новые стихи», с. 78. Через 15 лет, в 1954 г., Н. С. Тихонов так написал на двухтомнике своих избранных произведений, подаренном Луговскому: «Дорогому старому другу Володе Луговскому в воспоминание чудесных дорог и чудесных краев земли и тех, кто украшал эти края, — наших дорогих друзей — советских людей нашей молодости и, увы! старости, которая уже бредет по нашему следу, придется ускорить шаг...» (хранится в библиотеке В. Луговского).

91. «Молодая гвардия», 1939, № 1, с. 121, в «Лирическом цикле», под заглавием «Переулوك». Печ. по кн. «Лирика» (1955), с. 126.

92. «Молодая гвардия», 1939, № 7, с. 98. Печ. по «Избр.», т. 1, с. 308. В кн. «Стихи и поэмы» (1941) — с посвящением М. Матузовскому.

93. «Новый мир», 1939, № 3, с. 148, в цикле «Лирические стихи». Печ. по «Избр.», т. 1, с. 302. Об обстоятельствах возникновения

и первом чтении стихотворения вспоминает К. Паустовский («Страницы воспоминаний», с. 102—106).

94. «Знамя», 1939, № 4, с. 134; «Новые стихи»; «Стихи и поэмы» (1941). Печ. по «Избр.», т. 1, с. 261.

95. «Знамя», 1940, № 10, с. 118, в цикле «Лето 1940 года»; «Избр.» (1949) — последние 19 строк стихотворения. *Дюнкерк* — крупный порт на Северном море, через который в 1940 г., бросив вооружение, из Северной Франции спешно эвакуировалась под угрозой окружения немецко-фашистскими войсками английская экспедиционная армия.

96. «Лирика» (1955), с. 168. Автограф — под заглавием «Николаю Тихонову».

97. «Огонек», 1958, № 24, с. 18. *Е. Л. Б.* — Елена Леонидовна Быкова — жена поэта.

98. «Лирика» (1955), с. 136. Печ. по «Избр.», т. 1, с. 268. Автограф — без заглавия.

99. «Избр.» (1949), под заглавием «Агитпроп Латинского квартала». Печ. по кн. «Лирика» (1958), с. 86.

100. «Новый мир», 1939, № 3, с. 151, в цикле «Лирические стихи». Печ. по «Стих.» (1952), с. 221.

101. «Лирика» (1955), с. 140. Печ. по «Избр.», т. 1, с. 271.

102. «Стих.» (1952), с. 217. Печ. по «Избр.», т. 1, с. 273. Автограф — без заглавия.

103. «Лирика» (1955), с. 174. *Старый друг* — А. А. Фадеев.

104. «Октябрь», 1953, № 11, с. 101, в цикле «Журавлиная ночь»; в «Песне о ветре» — дата: 1954. Печ. по «Избр.», т. 1, с. 275.

«СОЛНЦЕВОРОТ»

«Все бродит и бродит в голове новая книга, — писал В. Луговской жене 23 августа 1955 г. — Новое придумывается. Но для этого нужно еще природы, пути, отрешения». Есть основания полагать, что речь идет о замысле «Солнцеворота».

ВЕСНА

105—108. «Огонек», 1956, № 20, с. 8, в цикле «Весенняя пора».

109. «Новый мир», 1956, № 8, с. 23. Печ. по кн. «Солнцеворот», с. 12.

110. «День поэзии», М., 1956, с. 21. Печ. по кн. «Солнцеворот», с. 16.

111. «День поэзии», М., 1956, с. 20.

112. «Знамя», 1956, № 9, с. 31. Печ. по кн. «Солнцеворот», с. 21.

ЛЕТО

113, 114. «Звезда», 1956, № 6, с. 46.

115. «Октябрь», 1956, № 5, с. 135.

116. «Солнцеворот», с. 36.

117. «Солнцеворот», с. 38. Автограф — другая редакция, без заглавия.

118. «Октябрь», 1956, № 7, с. 77. Печ. по кн. «Солнцеворот», с. 40.

119. «Звезда», 1956, № 6, с. 45. Печ. по кн. «Солнцеворот», с. 44.

ОСЕНЬ

120. «Новый мир», 1956, № 4, с. 173, под заглавием «Осенью». Печ. по кн. «Солнцеворот», с. 49.

121. «Звезда», 1956, № 6, с. 47.

122. «Звезда», 1956, № 6, с. 48. Автограф — без заглавия. *Дочь* Луговского — Людмила Владимировна Голубкина (р. 1933) — литературный редактор киностудии «Мосфильм».

123. «Октябрь», 1956, № 5, с. 134.

124. «Солнцеворот», с. 56.

125. «Новый мир», 1956, № 8, с. 20. Автограф.

126. «Лит. газ.», 1956, 6 сентября. *Кондо-озеро* — озеро в Карелии.

ЗИМА

127. «День поэзии», М., 1956, с. 19.

128. «Октябрь», 1956, № 7, с. 79.

129. «День поэзии», М., 1956, с. 20. Печ. по кн. «Солнцеворот», с. 74.

130. «Солнцеворот», с. 76. *Окружная* — железная дорога под Москвой.

131. «Солнцеворот», с. 79.

132. «Новый мир», 1956, № 4, с. 174.

133. «Новый мир», 1956, № 8, с. 21. Печ. по кн. «Солнцеворот», с. 81. Автограф.

ПАМЯТИ ДРУГА

Посвящено Александру Александровичу Стрехихееву (1912—1955) — ученому-химику, профессору, другу Луговского.

134. «Новый мир», 1956, № 7, с. 89.

135. «Солнцеворот», с. 94. Автограф — без заглавия.

136. «Новый мир», 1956, № 7, с. 42.

137. «Новый мир», 1956, № 7, с. 43.

ВРЕМЯ

138. «Новый мир», 1956, № 8, с. 18. Автограф включает дополнительные 21 строку.

139. «Знамя», 1956, № 6, с. 11. Автограф включает еще несколько строф. *Царь Эдип* — трагедия Эсхила. А. В. *Луначарский* (1875—1933) в течение 12 лет (до 1929 г.) был народным комиссаром просвещения РСФСР.

140. «Знамя», 1956, № 6, с. 13. *Самед Вургун* (1906—1956) — известный азербайджанский поэт и драматург, друг Луговского; в конце 30-х годов Луговской и Вургун вместе работали над созданием антологии азербайджанской поэзии (см. об этом воспоминания П. Антокольского и Е. Долматовского в кн. «Страницы воспоминаний», с. 21—22, 185—190). Луговской переводил стихи Вургуна. *Манташевские дни* — от фамилии бакинского нефтепромышленника Манташева.

141. «Знамя», 1956, № 6, с. 9, с еще одной строфой. Печ. по кн. «Солнцеворот», с. 120. *Крестовая гора* — в Крыму; здесь белогвардейцы расстреливали коммунистов; по словам Е. Л. Быковой, Луговской вошел в Крым с войсками Фрунзе после взятия Перекопа.

«СИНИЯ ВЕСНА»

«Я задался целью в книжке «Синия весна» рассказать о том лучшем, что у нас было на протяжении нашей истории, — лирически, без грома, без маршей. А есть у нас в этом смысле и Октябрь,

и гражданская война, и командиры, и бойцы периода нэпа... Это то поколение, которое сейчас правит государством, которое выковывалось в период гражданской войны и нэпа, это первые пятилетки, это годы становления с очень сложными, великолепными, победительными взглядами, как чкаловские крылья через Северный полюс, это Отечественная война» («Раздумье», с. 55).

142. «Москва», 1957, № 3, с. 36. *Венгрия Советская стоит в кольце врагов*. Венгерская советская республика в 1919 г. была подвергнута экономической блокаде и империалистической интервенции.

143. «День поэзии», М., 1957, с. 185. *Города Смоленщины* и т. д. В стихотворении отразились воспоминания Луговского о том времени, когда он служил в Полевом контроле Западного фронта (см. «Раздумье», с. 13). *Карл Либкнехт* (1871—1919) — выдающийся деятель германского и международного рабочего революционного движения, был арестован и зверски убит офицерской бандой 15 января 1919 г.

144. «Москва», 1957, № 3, с. 33, с дополнительной строфой. Автограф — под заглавием «Новый год». Печ. по кн. «Синяя весна», с. 12. *Роден* О. (1840—1917) — крупнейший французский скульптор. *Микеланджело* (1475—1564) — гениальный итальянский скульптор, живописец, архитектор. *Давид* (1748—1825) — выдающийся французский живописец. *Верхарн* (1855—1916) — бельгийский поэт, драматург, критик, один из любимых поэтов Луговского. *Вильгельм Второй в Голландии* и т. д. Кайзер Вильгельм II в ноябре 1918 г. бежал в Голландию.

145. «Октябрь», 1957, № 5, с. 118. *Черное озеро* — легендарное озеро.

146. «Лит. газ.», 1960, 11 июня. Автограф включает еще 6 строк.

147. «День поэзии», М., 1957, с. 181. *Ю. Пилсудский* (1867—1935) — буржуазный контрреволюционный националист, польский государственный деятель, один из активнейших участников интервенции против Советской Республики. *Только что кусок просила* и т. д. В 1921—1922 гг. голод поразил 35 губерний России, особенно Поволжье.

148. «Октябрь», 1957, № 3, с. 70, под заглавием «Пир». Печ. по кн. «Синяя весна», с. 31. *Супрематист* — от супрематизм (формалистическое направление в русской живописи начала XX в., основанное Малевичем). *Кронштадтские сны* Имеются в виду события, связанные с подавлением кронштадтского мятежа.

149. «Лит. газ.», 1961, 1 июля. *Петровский парк* — район Москвы, где жили цыгане. *Масловка* — улица в Москве. *Уралмаш, Турксиб, Магнитка, Крамашстрой* и т. д. — крупнейшие стройки первых пятилеток.

150. «Лит. газ.», 1957, 16 июля, — дата: 1956; «День поэзии», 1957, с. 178. Автограф — в тетради «Солнцеворота» (стихотворение включено в «Синюю весну» вдовой поэта Е. Л. Быковой). Печ. по кн. «Синяя весна», с. 36.

151. «Новый мир», 1957, № 9, с. 77. Об обстоятельствах написания в первом чтении стихотворения см.: Л. Озеров, Ветер времени (в кн. «Страницы воспоминаний», с. 212).

152. «Москва», 1961, № 6, с. 41. Датировано со слов Е. Л. Быковой.

153. «Лит. газ.», 1960, 11 июня. Автограф — в тетради со стихами конца 40-х — начала 50-х годов.

154. «День поэзии», М., 1957, с. 183 и «Лит. газ.», 1957, 28 мая.

155. «Москва», 1957, № 8, с. 157.

«СЕРЕДИНА ВЕКА»

«Эту книгу я писал с 1943 года, писал с мукой, с горячностью, с душевным раздумьем о судьбах времени, о судьбах моей страны, о судьбах революции» («Раздумье», с. 25—26). ... *вдруг стало видно* (видимо. — ред.) *далеко во все концы света* — из повести Н. В. Гоголя «Страшная месть», гл. 14. *Und so lang du das nicht hast* и т. д. — цитата из стихотворения Гете «*Süße Sehnsucht*» (сб. «Западно-восточный диван» — 1814—1819, «Книга певца»); эти слова в собственном переводе Луговской цитировал на Первом съезде писателей («Раздумье», с. 177—178).

156. «Середина века», с. 9. О возникновении этого своеобразного введения см.: Л. Левин, Владимир Луговской, М., 1963, с. 203.

157. «Нева», 1957, № 1, с. 65. Автограф — под заглавием «Шуба», с посвящением Татьяне Луговской, дата: 30 августа 1943 г.; другой автограф — под заглавием «Сказка о шубе»; на отдельном листке — 7 вставок (реплики гостей по поводу событий начала века). Печ. по кн. «Середина века», с. 12. *Киплинг Редьярд почтен наградой Нобеля* и т. д. В 1907 г. Р. Киплинг (1865—1936), автор двух «Книг джунглей» (1894—1895), переведенных на многие европейские языки, был удостоен Нобелевской премии. *Вы слышали Шалыпина в «Борисе»* и т. д. (см. примеч. 27). *Блерио не может улететь на моноплане* и т. д. Блерио (1872—1936) — французский конструктор самолетов и пилот; самолетам Блерио долго не удавалось взлететь, французы прозвали его «человеком, который ломает свои самолеты»; в одной из ранних тетрадей Луговского есть стих. «Блерио» (20 октября 1920 г.). *Кубизм* — направление в живописи. *А где Ульянов* и т. д. В декабре 1907 г. В. И. Ленин по решению большевистского центра эмигрировал за границу.

158. «Середина века», с. 20. Автограф — под заглавием «Когда я плыл вместе с Одиссеем». Отец — А. Ф. Луговской (см. примеч. 1). *На дворе бродили десятки раненых* и т. д. В помещении 1-й московской гимназии во время первой мировой войны был лазарет. *Распутина прикончили вчера*. Г. Е. Распутин (1872—1916) был убит в Петрограде группой монархистов в ночь с 17 на 18 декабря 1916 г. *Демон* — излюбленный персонаж картин М. А. Врубеля, вершина его изображения — «Демон поверженный» (1902). *Под Верденом* (город на северо-востоке Франции) в 1916 г. произошло одно из кровопролитнейших сражений первой мировой войны. *«Нибелунги»* — древнегерманское эпическое сказание. *Вильгельм Второй* (1859—1941) — последний германский император. *Король Георг* — Георг V (1865—1936) — английский король.

159. «Звезда», 1957, № 7, с. 56. Печ. по кн. «Середина века», с. 29. *Губернский музей* — очевидно, музей в Смоленске. Автокомментарий Луговского к образу комиссара Сережи Зыкова — «Раздумье», с. 13—14. *Ленин вынес выстрелы Каплан*. 30 августа 1918 г. В. И. Ленин был тяжело ранен эсеркой-террористкой Ф. Каплан. *Вильсон* (1856—1924) — президент США в 1913—1921 гг. *Ллойд-Джордж* (1863—1945) — английский политический деятель и дипломат, играл видную роль в политике английского империализма, направленной к подготовке мировой империалистической войны. *Клемансо* (1841—1929) — французский политический деятель, в годы первой мировой войны вел шовинистическую пропаганду. *Лига наций* — международная организация государств, существовавшая между первой и второй мировыми войнами. Проекты ее создания появились в различных странах в годы первой мировой войны. *Морзянки отстучали: «Пал Баку!»* 31 июля 1918 г. власть в Баку была захвачена контрреволюционным правительством, 4 августа 1918 г. город оккупировали английские империалисты. *Взойдет «Спартак»* и т. д. «Спартак союз» («Spartakusbund») — революционная организация германских левых социал-демократов, была создана во время первой мировой войны; в период ноябрьской революции 1918 г. спартаковцы боролись за углубление революции, против антисоветской интервенции. *Вскинет Бела Кун над Будапештом красный флаг Советов*. Кун Бела (1886—1933) — один из основателей и руководителей Коммунистической партии Венгрии, фактический руководитель советского правительства в Венгрии, провозглашенного в марте 1919 г.

160. «Середина века», с. 40. Автограф — дата: май — июнь 1942; другой автограф — дата: май — июнь 1943. *Эфемера*, по словам Е. Л. Быковой, реально существовавшее лицо — Мария фон Лауриц, жена эпмана-барона. *Саваоф* — бог-отец. *Лев Толстой*... *сводное Евангелие писал*. Имеется в виду «Как читать Евангелие и в чем его сущность?» Л. Н. Толстого (1896). *Мария Магдалина* — евангельский персонаж. *Клеопова Мария* — персонаж Евангелия от Иоанна. *Армафейская гробница* — гробница Иисуса Христа в Армафее (город в Иудее).

161. «Середина века», с. 56. Автограф — с посвящением С. Шилловскому; в другом автографе — дата: 6 мая 1943 года; еще один

автограф — дата: 1947 г.; в записных книжках заготовки к поэме, под заглавием «Мой сон о Дербенте». С драматургом Александром Аркадьевичем *Галичем* (р. 1918) Луговской близко подружился летом 1956 г. в Переделкине; Галич был одним из первых слушателей многих поэм, вошедших в окончательный вариант «Средины века»; Луговской очень доверял вкусу и мнению Галича, считался с его советами, использовал в «Дербенте» его впечатления, связанные с Северным Кавказом. *Железные ворота* — так называли Дербент географы в средневековых источниках. *Город мертвых*. На севере от Дербента находится кладбище Кырхляр с арабскими погребениями VII в. *Первая Марна* — сражение 1914 г. между главными французскими и германскими силами, во Франции, на реке Марне, закончившееся поражением немецких войск. *Сегодня Гитлер был провозглашен* и т. д. Фашистская диктатура в Германии была установлена в январе 1933 г. *Метерлинк* (1862—1949) — бельгийский писатель-символист, его поэзия исполнена смутных намеков, тревожных ожиданий. *Семнадцатый съезд ВКП(б)* происходил в Москве 26 января — 10 февраля 1934 г.

162. «Середина века», с. 66. Автограф — с посвящением О. Г. (Ольга Моисеевна Грудцова); другой автограф — под заглавием «Сказка о воробьином снеге» (вошла как составная часть в окончательный текст поэмы); третий автограф — под заглавием «Вступление к сказке»; «Лит. наследство», т. 74, М., 1965, с. 701—705 («Вступление» и «Сказка о печке»).

163. «Середина века», с. 74. Автограф — под заглавием «Народы, вставайте» (в плане книги есть также заглавие «Коминтерн»), дата 7 мая 1943 г., Ташкент — зачеркнута; в другом автографе — дата: 7 мая 1943 г., Ташкент; автограф — с посвящением М. А. Б. (Михаил Афанасьевич Булгаков). *Гостиница «Международная»* — в 30-е годы гостиница «Люкс» на *Тверской* (ныне ул. Горького), где находилось общежитие Коминтерна. *Будто Бонапарт рванулся, побледнев, а впереди Аркольский мост...* В районе Арколе (селение на Северной Италии) в 1796 г. произошел бой между войсками Наполеона Бонапарта и австрийскими войсками; в этом сражении Наполеон шел впереди батальона, рискуя жизнью при переходе через Аркольский мост. *Пластрон* — туго накрахмаленная грудь мужской сорочки под открытым жилетом. *Митральеза* — французское название скорострельного многоствольного оружия — картечницы. *Ш. Делеклюз* (1809—1871) — французский политический деятель и журналист, участник Парижской Коммуны. *Восстание на Яве* — вооруженное восстание 1926 г. было подавлено голландскими империалистами, после чего были разгромлены организации коммунистической партии. *Южный Крест* — распространенное название яркого созвездия Крест.

164. «Середина века», с. 82. Автограф — без заглавия, с посвящением И. Сельвинскому; другой автограф — под заглавием «Когда я шел в Париже со смертью». *На Монпарнасе, в мерзостной больнице* и т. д. В 1936 г. Луговской лежал в парижском госпитале после автомобильной катастрофы. *Бомбят Мадрид*. В во-

ябре 1936 г. началось мадридское оборонительное сражение республиканской армии против франкистов. *Этьенетта* (Этьенетта Дюпар) — знакомая Луговского по Франции, в дальнейшем участница движения Сопротивления.

165. «Избр.», т. 2, с. 79, в разделе: «Из книги „Век“» (это заглавие есть на одной из папок с автографами «Середины века»), дата: 1937. Печ. по кн. «Середина века», с. 89. Автограф — дата: 1—2 ноября 1943 г., Ташкент; в плане книги встречается заглавие «Кунсткамера (Лондон)». При посещении Лондона Луговской был в *Британском музее*; человек всеобъемлющих интересов, он хорошо знал, в частности, историю религий разных народов, верования, истоки культуры. *Клады Ниневии*. В Британском музее среди памятников отдела Древнего Востока выделяются ассирийские рельефы из Ниневии — древнего города в северной Месопотамии, развалины которого были обнаружены при раскопках в 1845 г. *Рамзес Второй* (1317—1251 гг. до н. э.) — египетский фараон. *Сумер* (Шумер) — древнейшее рабовладельческое государство в южной Месопотамии, в искусстве которого ведущую роль играла архитектура, а также мелкая культовая скульптура. *Элам* — древняя историческая область, восточный сосед стран Двуречья, один из очагов «культур крашеной керамики». *Камбоджа* — область древней своеобразной художественной культуры. *Тотемы Сиу*. Тотемизм — одна из древнейших форм религии, исповедуемой, в частности, племенами северо-американских индейцев сиу (тотем — не божество, ему не поклоняются, а считают родственником, старшим братом, отцом). *Сохо* — улица и район Лондона. *Уайтчепел* — еврейский квартал в Лондоне. *Лаймхауз* — китайский квартал в Ист-Энде. *Людовик XVI* (1754—1793) был судим Конвентом и гильотинирован. *Ковент-гарден* — один из центральных районов Лондона. *Год девятнадцатый, когда над Темзой застыло всё* и т. д. Имеются в виду многочисленные стачки и забастовки, имевшие место в Англии в 1919 г. *В твоих библиотечных строгих залах недаром Ленин думал*. В 1902—1903 гг., в мае 1908 г. В. И. Ленин много занимался в библиотеке Британского музея, широко пользовался также и лондонскими читальнями. *Армия спасенья* — религиозно-филантропическая организация (основана в 1865 г. в Лондоне). *Оковы Индия срывает*. Подъем антиимпериалистического движения в Индии относится к 1928—1935 гг., начало нового подъема национально-освободительного движения — к 1935—1936 гг. *Малайский тигр готовится к прыжку*. Накануне второй мировой войны в национально-освободительном движении в Малайе принимали участие трудящиеся всех национальностей.

166. «Избр.», т. 2, с. 75, в разделе: «Из книги „Век“», дата: 1943. Печ. по кн. «Середина века», с. 105. *Асфодель* (асфодил, аффодел) считается цветком траура.

167. «Середина века», с. 110. *Сорбонна* — старейшее учебное заведение в Париже, часть Парижского университета. *Савойские Альпы* — один из районов Франции, охваченный в период оккупации движением Сопротивления. *Колпак фригийский* — головной

убор французской революции XVIII в., обычно красного цвета; якобинцы использовали его как эмблему свободы.

168. «Звезда», 1957, № 1, с. 3. Печ. по кн. «Середина века», с. 116. В автографе — дата: 6 сентября 1943 г., Ташкент. *Далекая слава Марны*. Имеются в виду марнские сражения 1914 и 1918 гг., бесславные для Германии. *Курфюрстендамм* — улица в Берлине 30-х годов. *Лютер и его слова: «Тот, кто не пьет вина...»* — пересказ мотивов застольных песен М. Лютера (1473—1546). *«Stille Nacht»* — из традиционной немецкой рождественской песни. *Макс и Морц* — персонажи юмористических рисунков и стихов В. Буша (1832—1908), немецкого рисовальщика и карикатуриста. *Тельман за стеной бетонной*. Эрнст Тельман (1886—1944) стал одной из первых жертв фашистского террора, с 3 марта 1933 г. находился в строжайшей изоляции, в центральной тюрьме гестапо. *«Цирк»* (1936) — известный кинофильм режиссера Г. В. Александрова. *«На Рейне стража верная стоит»* — из фашистской песни времен гитлеризма.

169. «Середина века», с. 127. Автограф — под заглавием «Могилы Абу-Муслима, или Ночь определений», дата: 14 ноября 1943 г., Ташкент, с несколькими эпиграфами из Корана; в другом автографе — дата: 1946; третий автограф — с посвящением М. Айбеку. *Абу-Муслим* — древний полководец, «один из арабских завоевателей Дагестана» (В. Луговской, Четыре дороги. — В кн.: Дагестан, М., 1936, с. 58). *Хунзах* — нагорный аул в Дагестане. *Великое нашествие арабов*. В 664 г. в Южный Дагестан вторглись арабы. *Мекка и Медина* — священные города на западе Саудовской Аравии, связанные с зарождением мусульманства. Войска Карла Мартелла (ок. 688—741) нанесли поражение арабам в битве при Пуатье в 732 г. *Хаджи-Мурат* (ум. в 1852) — один из деятелей национально-освободительного движения под руководством Шамиля на Кавказе в XIX в., родился близ Хунзаха. *Пророк* — Мухаммед.

170. «Середина века», с. 139. Автограф — под заглавием «Val des Nègres»; другой автограф — под заглавием «Двенадцать ночи. Тяжкий темный Лувр». Г. Гейгер (1882—1945) — немецкий физик, в 1908 г. определил заряд электрона; последние годы занимался исследованиями в области космических лучей. Э. Резерфорд (1871—1937) — великий английский физик, заложил основы современного учения о радиоактивности и строении атома. Н. Бор (1885—1962) — выдающийся датский физик, один из создателей современной квантовой физики, в последние годы принял активное участие в разработке теории атомного ядра. М. Планк (1858—1947) — выдающийся немецкий физик-теоретик. Э. Ферми (1901—1954) — великий итальянский физик, впервые наблюдал искусственную радиоактивность. Оба *Жолио-Кюри* — Ирен (1897—1956) и Фредерик (1900—1958) — крупнейшие ученые в области физики атомного ядра. *Мюнхен торжествует*. Имеется в виду Мюнхенское соглашение (сентябрь 1938 г.) о расчленении Чехословакии. А. Эйнштейн (1879—1955) — великий ученый-физик. *Саргассово море* — район в северной части

Атлантического океана. Ж. Дорио (р. 1898) — деятель рабочего движения Франции, впоследствии социал-предатель. Э. Даладьё (р. 1884) — французский политический деятель, в апреле 1938 г. сформировал кабинет.

171. «Середина века», с. 152. Автограф — без заглавия, с посвящением Е. С. Б. (Елена Сергеевна Булгакова), дата: 21 октября 1942 г. *Святая песня Шуберта* — «Форель» («Die Forelle»), песня для голоса с фортепьяно (1817), текст Х. Ф. Шуберта.

172. «Знамя», 1957, № 5, с. 78. Печ. по кн. «Середина века», с. 163. *Гудериан* — один из военачальников танковых сил фашистской Германии. *Ярцево* — город в Смоленской области (на шоссе Москва — Минск), под которым в июле-сентябре 1941 г. шли ожесточенные оборонительные бои. *Ордынка* — улица в Москве. *Корпуса Ивановы*. Имеется в виду революционная борьба иваново-вознесенских рабочих (иваново-вознесенская стачка 1905 г.). *Пресня* (Красная Пресня) — район Москвы, ставший центром Декабрьского вооруженного восстания 1905 г. *Кержацкая воля*. Луговской имеет в виду кержацкие скиты — поселения старообрядцев, скрывавшихся в лесах по реке Керженцу от преследований царского правительства (XVII—XIX вв.).

173. «Середина века», с. 173. В поэме много автобиографического. *Актрисы... кинорежиссеры*. В Луговской эвакуировался в Среднюю Азию вместе с С. Эйзенштейном, Г. Александровым, Л. Траубергом, Л. Орловой и др. *В Чаирском парке розы зацветают* — вольное переложение строки из романса К. Листова «В парке Чаир распускаются розы».

174. «Середина века», с. 184. Автограф — под заглавием «Алма-Ата (Город снов)», дата: 7—9 сентября 1943 г., Ташкент. С *Всеволодом* Вячеславовичем *Ивановым* (1895—1963) Луговской был очень дружен с начала 30-х годов, с первой поездки в Туркмению. *Гарри Купер* — американский киноактер. *Великий мастер* — С. М. Эйзенштейн (1898—1948), выдающийся советский кинорежиссер; в 1942 г. Луговской работал вместе с ним над текстом (песни и диалоги) фильма «Иван Грозный». «...Волнуюсь по каждому поводу, связанному с Иваном Грозным, — писал Луговской Эйзенштейну 12 июня 1942 г. — Произведение это Ваше поистине замечательно, а те дни, которые я провел в Вашей комнате, одни из самых лучших в моей жизни» (ЦГАЛИ). *Покойник* — Валентин Кадочников (1908—1942), ученик Эйзенштейна, талантливый режиссер и художник, умер на заготовках саксаула. *Площадь перед ЦК* — ныне пл. Коммунаров (в Алма-Ате). *Дом искусства, где мой ночлег* — во время войны нечто вроде гостиницы, где жили работники «Мосфильма». *Ему, конечно, снятся ребра башен* и т. д. Луговской воспроизводит мысли, образы, возникавшие у Эйзенштейна в процессе работы над «Иваном Грозным». *Беседуют о людях Возрождения, о Микеланджело*. В этих беседах, происходивших в маленькой комнате сестры Луговского, принимали участие

К. Г. Паустовский, кинооператор А. Н. Москвич, артист Жаков, И. И. Юзовский и другие эвакуированные москвичи. *Художница* — сестра поэта Т. А. Луговская. *Моя весна в Загорске*. Луговской вспоминает юность, поездки в Загорск к сестрам и отцу, заводившему там лесной школой после революции. *Рисунки нестерпимой силы* — рисунки Эйзенштейна к «Ивану Грозному». О времени, людях, показанных в поэме, об обстоятельствах работы Луговского над ней см. воспоминания В. Шкловского «Добро и гений» и О. Грудцовой «Луговской в Алма-Ате» («Страницы воспоминаний», с. 110—115, 117—127).

175. «Середина века», с. 196. Автограф — под заглавием «Литерическая глава о вещах», дата: июнь 1942. С. И. Вавилов (1891—1951) — крупнейший советский физик, автор многочисленных работ, главным образом по вопросам физической оптики. *Алексеевское кладбище* — старое кладбище в Москве близ Сокольников, где похоронен отец Луговского.

176. «День поэзии», М., 1956, с. 18. Печ. по кн. «Середина века», с. 203. Автограф — с надписью: «„Смерть матери“ — одна из 42 поэм, написанных мной и составляющих гигантскую книгу, которую я написал за эти 2 с половиной года...» Мать поэта Ольга Михайловна Луговская похоронена в Ташкенте (ум. в 1943).

177. «Избр.», т. 2, с. 91, в разделе: «Из книги „Век“», дата: январь 1945. Автограф — под заглавием «Полет» (зачеркнуто). *Патриаршие пруды* — район Москвы. *Кутузов и Суворов в медальонах* и т. д. — станция метро «Новокузнецкая» в Москве. *Я знаю песни древние* и т. д. Луговской имеет в виду «Илиаду» и «Одиссею» Гомера.

178. «Звезда», 1956, № 10, с. 57. В автографе — дата: 3 октября 1943 г., Ташкент. *Дутар* — народный щипковый музыкальный инструмент с двумя струнами. *Нарген* (Наргин) — остров в Каспийском море близ Баку. *«Дымок от папирасы»* — модное танго 30-х годов. *Желонщик* — рабочий-нефтяник. *Убили комиссаров... в песках Ахча-Куймы*. Злодейское убийство 26 бакинских комиссаров, организованное представителями английского командования с помощью эсеров, состоялось 29 сентября 1918 г., на 207-й версте от Красноводска, в глухих песках, на перегоне между станциями Ахча-Куйма и Перевал. *«Мусават»* («Равенство») — контрреволюционная буржуазно-помещичья националистическая партия в Азербайджане, находилась у власти в 1918—1920 гг., опираясь на поддержку турских, а затем английских интервентов. *В часы... резни*. Имеются в виду зверства германо-турецких войск и мусаватистских банд при захвате Баку в сентябре 1918 г. и позднее. *Сураханы, Балаханы* — нефтепромысловые районы Баку. С. Г. Шаумян (1878—1918) — один из двадцати шести бакинских комиссаров. *Стоит луна на капитанской вахте* — автореминисценция Луговского из «Лимонной ночи» (см. стих. 42). *Почтовый переулок*. Стихотворение под таким заглавием см. в книге Луговского «Каспийское море», с. 47—48. *Лианозов, Манташев* — крупные бакинские нефтепро-

мышленники. М. Азизбеков (1876—1918), П. А. Джапаридзе (1880—1918), И. Г. Фиолетов (1884—1918) — бакинские комиссары.

179. «Звезда», 1957, № 1, с. 9, под заглавием «Москва — 1956»; «Лит. наследство», т. 74, М., 1965, с. 695—700. Печ. по кн. «Середина века», с. 232. *Малый Николаевский дворец* находится на территории московского Кремля. *Я служил в Кремле*. В конце 1922 г. Луговской вернулся из Смоленска в Москву и поступил на службу в Кремль. *Никольская башня* — часть московского Кремля. *Корбюзье* (1887—1965) — французский архитектор и теоретик архитектуры, проектировал для СССР здание Центрального статистического управления на ул. Кирова в Москве (1929—1936). *Москва Димитрова встречает*. Г. М. Димитров (1882—1949) приехал в СССР 27 февраля 1934 г. *Хоронят стратонавтов*. В 1934 г. погиб экипаж стратостата «Осоавиахим-1» (П. Ф. Федосеенко, А. Б. Васенко и И. Д. Усыкин), поднявшегося на высоту 22 км.

180. «Середина века», с. 245. В автографе — дата: 12 июля. *Гре-нада* — известное стихотворение М. Светлова (1926). *В такую даль, что и сказать нельзя* — автореминисценция из стихотворения Луговского «Полночь» (см. стих. 95). *Полночный бриз, тебя мы называли* и т. д. — автореминисценция из стихотворения Луговского «Тугие паруса» («Лит. газ.», 1936, 6 ноября).

181. «Лирика» (1958), с. 428. В автографе — дата: 9 ноября 1943 г., Ташкент.

182. «День поэзии», М., 1962, с. 292. Автограф — под заглавием «Верх и низ»; в другом автографе — дата: 1947. *Дом высоко на взго-рье* — дача Совнаркома Дагестана над Махачкалой, куда приезжали отдыхать ответственные работники республики и где многие из них в 1937 г. были арестованы. *Бог грунтовых дорог* — Гаджимет Сафаралиев, энтузиаст строительства дорог в Дагестане, был репрессирован.

183. Печ. по кн. «Лит. наследство», т. 74, М., 1965, с. 706—710 (вместе с поэмой «Октябрь», не включенной в настоящее издание).

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис*. В. А. Луговской. Фотография. 1956 г.
2. *Между стр. 192 и стр. 193*. В. А. Луговской. Фотография. 1939 г. Ялта.
3. *Между стр. 224 и стр. 225*. В. А. Луговской и Н. С. Тихонов. Фотография. 1956 г. Переделкино.
4. *На обороте*. В. А. Луговской (последний снимок). Фотография. 1957 г.
5. *Стр. 295*. Рукопись стихотворения «Ночной патруль».

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ И ПОЭМ

- Апрель («В час предутренний видишь всю жизнь позади...») 191
Астроном («Ты моя...») 53
- Баку! Баку! («Железная, резная дверь. Луна...») 512
Баллада о Новом годе («У статуи Родена...») 299
Баллада о пустыне («Давно это было...») 164
Барсук («Боз-су. Ни ветра, ни души...») 219
Басмач («Дым папиросный качнулся...») 147
Белая ночь («Дом как дом, но русалок среди листвы...») 239
Белькомб («Под сенью богоматери белькомбской...») 417
Берлин 1936 («Я это видел ночью наяву...») 422
Биография Нечаева («Ваше здоровье!...») 75
«Боз-су. Ни ветра, ни души...» (Барсук) 219
Большевикам пустыни и весны («В Госторге, у горящего костра...») 125
«Большой человек, повелитель бумаги...» (Повелитель бумаги) 83
Бревенчатый дом («Деревянные стены...») 274
«Бронепоезда взывают вдруг...» (Лозовая) 193
«Был вечер черствее, чем старый лаваш...» (Хуло) 80
- «В Госторге, у горящего костра...» (Большевикам пустыни и весны) 125
«В двенадцать ночи тяжек темный Лувр...» (Двенадцать ночи) 443
«В мерцающей шапке...» («День гнева») 121
В сельской школе («Не горит электричество...») 265
«В то утро он, как нужно, уезжал...» (Первая свеча) 473
«В час предутренний видишь всю жизнь позади...» (Апрель) 191
«В этом радостном мире...» (Льва Толстого, 4) 233
«Ваше здоровье!...» (Биография Нечаева) 75
Весна («Прости...») 58
Веснянка («За горами Урала сизыми...») 229
«Ветер ерошит крыло воронье...» (Рубка под Воронежем) 65
«Ветер стелется в ущелье...» (Ночлег) 183
«Ветровые почы...» (Песенка) 177
«Вечер сел в малиновые сани...» (Чтобы больному спалось) 78

- Вечерний костер («Вечерний костер...») 167
 «Вечная тема...» (Повесть) 52
 «Взвод курсантов...» (Тревога) 303
 «Виноградник шелестит...» (Колыбельная) 209
 Возвращение («Снова, как прежде...») 160
 «Возьми прилети, мое сердце...» (Сердце) 268
 «Волны стелют по ветру свистящие косы...» (Остролистник) 200
 Волчий вой («Любовь?») 104
 Восток («С первым ветром весны...») 235
 «Вот будто бы большие марши лестниц...» (Сказка о сне) 454
 «Вот сквозь сон дощатая ограда...» (Середина лета) 240
 Вот тогда («Ночь живет шуршанием и хрустом...») 227
 «Вошедший был латыш в пальто реглан...» (Проданные стихи) 63
 «Вошли мы в год тридцать второй...» (Обычная гостиница) 385
 «Врашалась ночь. Была тяжка она...» (Капитанский штиль) 78
 «Временем уменьшенный...» (Ночной патруль) 296
 «Всё потемнело...» (Цирк Шапито) 252
 «Всё это рассказал мне подполковник...» (Москва. Бомбардировочные ночи) 464
 Вставайте, люди русские! 191
 «Всю ночь горел один огонь на взморье...» (Каблуки) 561
 «Вьются листья — червонные козыри...» (Кондо-озеро) 254
 «— Выходи на балкон...» (Ночь весны) 287

 «Галки, галки...» (Колыбельная с черными галками) 262
 «Гигантский...» (Подкова счастья) 245
 Голос («Я человек...») 117
 Город снов («Сеанс окончился...») 483
 Горы («Тамадой руководимый...») 205
 Гроза («Гроза так рванула...») 241
 Гуниб («Тревожен был грозовых туч крутой изгиб...») 243
 Гуси («Над необъятной Русью...») 226

 «Да!...» (Заря) 247
 «Давно это было...» (Баллада о пустыне) 164
 «Дай мне руку...» 328
 «Дай руку. Спокойно...» (Кухня времени) 87
 «Далекий, горький голос паровоза...» (Обходчик) 232
 Далекий привет («Нас обручили...») 244
 Двадцать шесть («Снилось мне...») 284
 Двенадцать ночи («В двенадцать ночи тяжек темный Лувр...») 443
 «Дверь отворяется — и входит дед...» (Сказка о дедовой шубе) 331
 Девичья полночная («Что ж ты, милая, сердце-то забыла...») 72
 «Девочке медведя подарил...» (Медведь) 208
 Девушка моет волосы («По безлюдным улицам...») 179
 Делатель вещей («Не плакать, не хныкать, не ныть, не бояться...») 62
 «День гнева» («В мерцающей шапке...») 121
 Дербент («Дербент, Дербент — Железные ворота...») 370
 «Деревянные стены...» (Бревенчатый дом) 274
 «Дождь весны...» (Платок Этьенетты) 216
 «Должна Сумбара...» (Милиционер Нури) 136

- «Дом как дом, но русалок среди листвы...» (Белая ночь) 239
 Дорога («Дорога идет от широких мечей...») 50
 Дорога в горы («Растет прибой и темный запах моря...») 547
 Дорога Дарьяла («Ручей подзадоривал. Ветер помог...») 79
 «Дорога идет от широких мечей...» (Дорога) 50
 Дочери («Милка, девочка моя...») 250
 Другу («Опять, как в те года, когда над головой...») 212
 Другам тридцатого года («Путь...») 318
 «Дубы шумят...» 323
 «Дым папиросный качнулся...» (Басмач) 147
- «Если бы я в бога веровал...» (Змеевик) 134
- «Железная, резная дверь. Луна...» (Баку! Баку!) 512
 Жестокое пробуждение («Сегодня ночью...») 102
 Жизнь («Ночь глуха...») 157
 Журавлиная ночь («Здесь...») 222
- «За горами Урала сизыми...» (Веснянка) 229
 «Запорошились серебряные села...» (Продотряд) 70
 Заря («Да!...») 247
 «Заря поднимает гребни розовые...» (Утро республик) 60
 Звезда («Звезда, звезда, холодная звезда...») 265
 Звезды осени («Тишь стареющей природы...») 248
 «Звон, да тяжелый такой, да тягучий...» (Отходная) 50
 «Здесь...» (Журавлиная ночь) 222
 Зеленый маячок («Стала ты совсем другою...») 197
 Земли Красной Звезды («Невозможные силы весны...») 138
 Змеевик («Если бы я в бога веровал...») 134
 Зяблик запел («Зяблик запел на березе лыловой...») 228
- «И мы возвратились...» (Хельманжоу) 153
 «Имперскими флагами вея и рея...» (Интернационал) 113
 Интернационал («Имперскими флагами вея и рея...») 113
 Испанка («Так постепенно стекленели...») 67
 «Итак, начинается песня о ветре...» (Песня о ветре) 72
- Каблуки («Всю ночь горел один огонь на взморье...») 561
 Каблуки («Черная, холодная...») 259
 «Как буря на Северный полюс...» 61
 «Как морозит! Как морозит!...» (Свет на землю) 264
 «Как рокот железных уключин...» 56
 Как человек плыл с Одиссеем («Шестнадцатый кончался страшный год...») 338
 «Какая тишина!...» (Пила) 203
 Капитанский штиль («Вращалась ночь. Была тяжка она...») 78
 «Когда ты спишь...» (О друзьях) 92
 Колыбельная («Виноградник шелестит...») 209
 Колыбельная с черными галками («Галки, галки...») 262
 Кондо-озеро («Вьются листья — червонные козыри...») 254
 Конек-горбунок («Ночь пройдет...») 196
 Костры («Пошади мое сердце...») 325

«Красноармейцы...» («Царь Эдип») 280
Красные чашки («Я помню...») 170
Курсантская венгерка («Сегодня не будет поверки...») 192
Кухня времени («Дай руку. Спокойно...») 87

«Легкая ночь...» (Рассвет) 187
Лимонная ночь («Луна стоит на капитанской вахте...») 106
Листопад («Что-то мне печально стало очень...») 214
Лозовая («Бронепоезда взывают вдруг...») 193
Лондон до утра («Обычный день обычно начался...») 398
«Луна стоит на капитанской вахте...» (Лимонная ночь) 106
Льва Толстого, 4 («В этом радостном мире...») 233
«Любовь?..» (Волчий вой) 104

Майская ночь («Ты помнишь ли...») 322
«Мальчики заводят на горе...» (Мальчики играют на горе) 207
Мальчики играют на горе («Мальчики заводят на горе...») 207
Медведь («Девочке медведя подарил...») 208
«Меня берут за лацканы...» (Послесловие) 110
«— Меня поцелуй покрепче!..» (Петровский парк) 314
Мертвый хватает живого (1—2) 96
Милиционер Нури («Долина Сумбара...») 136
«Милка, девочка моя...» (Дочери) 250
Могила Абу-Муслима («Случилось это двадцать лет назад...») 432
Молодежь («Товарищи!..») 59
Морское прощанье («Нет, я не звал тебя...») 57
Москва («Осенний день был золотист и рыж...») 525
Москва. Бомбардировочные ночи («Всё это рассказал мне подполковник...») 464
Московское небо («Что ж, любовь, ты осыпана бурой листвой...») 249
Мужество и нетерпенье («Пароходный чистый ветер...») 185
«Мы с тобою сбились оба...» (Обыск сердца) 98

На булыжной мостовой («На булыжной мостовой...») 306
На Лисьей горке («На Лисьей горке стылые осины...») 251
«На Монпарнасе, в мерзостной больнице...» (Сказка о том, как человек шел со смертью) 392
На смерть друга («Тополь встал у забора...») 272
«На той земле, в том времени, повсюду...» (Сказка о зеленых шарах) 543
«На третьей полке...» (Синяя весна) 292
На улице дождь («О, только бы слышать твой голос!..») 189
«Над необъятной Русью...» (Гуси) 226
«Над степью стрекочущей нотой гудит...» (Степь) 161
«Нас обручили...» (Далекий привет) 244
Начало века («Смолкает баталий воинственный топот...») 51
«Не горит электричество...» (В сельской школе) 265
«Не от любви...» 199
«Не плакать, не хныкать, не ныть, не бояться...» (Делатель вещей) 62

«Не скоро привыкнешь к подземной муштре...» (Штейгер и Лорелея) 99

«Не узнать твои черты...» (Олень) 261

«Невозможные силы весны...» (Земли Красной Звезды) 138

«Нет...» (Та, которую я знал) 277

«Нет, я не звал тебя...» (Морское прощанье) 57

Новый год («У статуи Родена, в мерзлой тьме...») 345

Ночлег («Ветер стелется в ущелье...») 183

Ночной патруль («Временем уменьшенный...») 296

«Ночь...» (Посевная) 128

Ночь («Постой! Темно. Выключатель сбежал...») 107

«Ночь...» (Стамбул) 118

Ночь весны («Выходи на балкон...») 287

«Ночь глуха...» (Жизнь) 157

«Ночь живет шуршанием и хрустом...» (Вот тогда) 227

«Ночь пройдет...» (Конек-горбунок) 196

Ночь Фархада («Тутовое дерево листвою...») 163

Нэпман Звавич («Нэпман Звавич гуляет...») 310

О друзьях («Когда ты спишь...») 92

«О, если бы забыть мне тяжесть лет...» (Чимган) 253

«О, только бы слышать твой голос!...» (На улице дождь) 189

Обращение («Я требую больше веры...») 82

Обходчик («Далекий, горький голос паровоза...») 232

Обыск сердца («Мы с тобою сбились оба...») 98

Обычная гостиница («Вошли мы в год тридцать второй...») 385

«Обычный день обычно начался...» (Лондон до утра) 398

Олень («Не узнать твои черты...») 261

«Они поднялись по пояс над сушей...» (Полночь) 211

«Опять, как в те года, когда над головой...» (Другу) 212

«Осенний день был золотист и рыж...» (Москва) 525

Остролистник («Волны стелют по ветру свистящие косы...») 200

«Отзвенели капли...» (Юность) 228

Отходная («Звон, да тяжелый такой, да тягучий...») 50

«Пароходный чистый ветер...» (Мужество и нетерпенье) 185

Пепел («Твой голос уже относилось...») 89

Первая свеча («В то утро он, как нужно, уезжал...») 473

Первый луч («Я просыпаюсь...») 181

«Передо мною середина века...» 329

Перекоп («Такая была ночь, что ни ветер гулевой...») 66

«Перекресток. Красный светофор...» 212

Пер-Лашез («Стена покрыта сверху черепицей...») 413

Песенка («Ветровые ночи...») 177

Песня («Рождается звон. Начинается песня...») 54

Песня о ветре («Итак, начинается песня о ветре...») 72

Петровский парк («— Меня поцелуй крепче!...») 314

Пила («Какая тишина!...») 203

Письмо («Товарищ Маслова...») 132

Письмо к Республике от моего друга («Ты строишь, кладешь и водишь...») 94

Платок Этьенетты («Дождь весны...») 216

- «По безлюдным улицам...» (Девушка моет волосы) 179
 Повелитель бумаги («Большой человек, повелитель бумаги...») 83
 Повесть («Вечная тема...») 52
 «Под сенью богоматери белькомбской...» (Белькомб) 417
 «Подвал рукою черной влез во тьму...» (Эфемера) 355
 Подкова счастья («Гигантский...») 245
 Полевой стан («Спой мне песню, глуше и короче...») 182
 Полночь («Они поднялись по пояс над сушей...») 211
 «Поманила пальцем...» 199
 Посевная («Ночь...») 128
 Послесловие («Меня берут за лацканы...») 110
 «Постой! Темно. Выключатель сбежал...» (Ночь) 107
 «Поцлади мое сердце...» (Костры) 325
 Поэма о вещах («Я оптик — понимаете, друзья...») 494
 «Приходят юные числа...» (Сын кулябского нищего) 141
 Проданные стихии («Вошедший был латыш в пальто реглан...») 63
 Прототряд («Запорошились серебряные села...») 70
 «Прости...» (Весна) 58
 Прошлое («Разве прошлое ушло?») 276
 Прощание («Уезжает друг на пароходе...») 201
 Прощанье с юностью («Так жизнь протекает светло, горячо...») 69
 «Пусть...» (Друзьям тридцатого года) 318
- «Разве прошлое ушло?») (Прошлое) 276
 Рассвет («Легкая ночь...») 187
 «Растет прибой и темный запах моря...» (Дорога в горы) 547
 «Ребята, в отчетливом свете...» (Юность) 67
 «Рождается звон. Начинается песня...» (Песня) 54
 «Розовый суслик глядит на тебя...» (Суслик) 96
 Рубка под Воронежем («Ветер ерошит крыло воронье...») 65
 «Ручей подзадоривал. Ветер помог...» (Дорога Дарьяла) 79
- «С первым ветром весны торопись...» (Восток) 235
 «Сбирался дождь...» (Съезд) 150
 Свет на землю («Как морозит! Как морозит!...») 264
 «Сеанс окончился...» (Город снов) 483
 «Сегодня не будет поверки...» (Курсантская венгерка) 192
 «Сегодня ночь простора, ночь луны...» (Юность) 536
 «Сегодня ночью...» (Жестокое пробуждение) 102
 Сердце («Возьми прилети, мое сердце...») 268
 Середина лета («Вот сквозь сон дощатая ограда...») 240
 «Сивым дождем на мои виски...» 173
 Синий жук («Я мальчишкой мечтал о пути по великой прямой...») 175
 Синяя весна («На третьей полке...») 292
 Сказка о дедовой шубе («Дверь отворяется — и входит дед...») 331
 Сказка о зеленых шарах («На той земле, в том времени, повсюду...») 543
 Сказка о печке («Там башенные рдели города...») 379
 Сказка о сне («Вот будто бы большие марши лестниц...») 454
 Сказка о том, как человек шел со смертью («На Монпарнасе, в мерзостной больнице...») 392

- «Случилось это двадцать лет назад...» (Могила Абу-Муслима) 432
 Смерть матери («Что ж, кончено. Дыханье пресеклось...») 499
 «Смолкает баталий таинственный топот...» (Начало века) 51
 Снег («Спиральный конус мчащихся снежинок...») 504
 Снегурочка («Снегурочка сидела под окном...») 220
 «Снилось мне...» (Двадцать шесть) 284
 «Снова, как прежде...» (Возвращение) 160
 Сон («Ты забылась в теплой дреме...») 218
 Спасибо («Спасибо — кто дарит...») 55
 «Спиральный конус мчащихся снежинок...» (Снег) 504
 «Спой мне песню, глуше и короче...» (Полевой стан) 182
 «Стала ты совсем другою...» (Зеленый маячок) 197
 Стамбул («Ночь...») 118
 «Старый друг...» (Уфа) 221
 «Стена покрыта сверху черепицей...» (Пер-Лашез) 413
 Степь («Над степью стрекочущей нотой гудит...») 161
 Суслик («Розовый суслик глядит на тебя...») 96
 Съезд («Сбирался дождь...») 150
 Сын кулябского нищего («Приходят юные числа...») 141

- Та, которую я знал («Нет...») 277
 «Та ночь началась нетерпением тягучим...» (Ушкуйники) 49
 «Так жизнь протекает светло, горячо...» (Прощанье с юностью) 69
 «Так постепенно стекленили...» (Испанка) 67
 «Такая была ночь, что ни ветер гулевой...» (Перекоп) 66
 «Такая ночь...» 324
 «Там башенные рдели города...» (Сказка о печке) 379
 «Тамадой руководимый...» (Горы) 205
 «Твой голос уже относило...» (Пепел) 89
 «Тебя давно уж нет на свете...» 305
 «— Теперь засни...» (Шаги большого сна) 64
 «Тишь стареющей природы...» (Звезды осени) 248
 «Товарищ Маслова...» (Письмо) 132
 «Товарищи!...» (Молодежь) 59
 «Тополь встал у забора...» (На смерть друга) 272
 «Тот чудесный переулок...» 206
 Тревога («Взвод курсантов...») 303
 «Тревожен был грозových гуч крутой изгиб...» (Гуниб) 243
 «Тутовое дерево листвою...» (Ночь Фархада) 163
 «Ты давно уж разлюбила...» 198
 «Ты забылась в теплой дреме...» (Сон) 218
 «Ты моя...» (Астроном) 53
 «Ты помнишь ли...» (Майская ночь) 322
 «Ты руку на голову мне положила...» 185
 «Ты строишь, кладешь и возводишь...» (Письмо к Республике от моего друга) 94

- «У статуи Родена...» (Баллада о Новом годе) 299
 «У статуи Родена, в мерзлой тьме...» (Новый год) 345
 «Уезжает друг на пароходе...» (Прощание) 201
 Утро республик («Заря поднимает гребни розовые...») 60

Уфа («Старый друг. . .») 221

Ушкуйники («Та ночь началась нетерпением тягучим. . .») 49

Фотограф («Фотограф печатает снимки. . .») 258

Хельманжоу («И мы возвратились. . .») 153

Хуло («Был вечер черствее, чем старый лаваш. . .») 80

«Царь Эдип» («Красноармейцы. . .») 280

Цирк Шапито («Всё потемнело. . .») 252

«Черная, холодная. . .» (Каблуки) 259

Чимган («О, если бы забыть мне тяжесть лет. . .») 253

«Что ж, конечно. Дыханье пресеклось. . .» (Смерть матери) 499

«Что ж, любовь, ты осыпана бурой листвой. . .» (Московское небо) 249

«Что ж ты, милая, сердце-то забыла. . .» (Девичья полночная) 72

«Что-то мне печально стало очень. . .» (Листопад) 214

Чтобы больному спалось («Вечер сел в малиновые сани. . .») 78

Шаги («Шумит сосна. . .») 204

Шаги большого сна («— Теперь засни. . .») 64

«Шестнадцатый кончался страшный год. . .» (Как человек плыл с Одиссеем) 338

Штейгер и Лорелея («Не скоро привыкнешь к подземной муштре. . .») 99

«Шумит сосна. . .» (Шаги) 204

«Эта ночь проходит не напрасно. . .» 53

Эфемера («Подвал рукою черной влез во тьму. . .») 355

Юность («Отзвенели капли. . .») 228

Юность («Ребята, в отчетливом свете. . .») 67

Юность («Сегодня ночь простора, ночь луны. . .») 536

«Я мальчишкой мечтал о пути по великой прямой. . .» (Синий жук) 175

«Я оптик — понимаете, друзья. . .» (Поэма о вещах) 494

«Я помню. . .» (Красные чашки) 170

«Я просыпаюсь. . .» (Первый луч) 181

«Я требую больше веры. . .» (Обращение) 82

«Я человек. . .» (Голос) 117

«Я это видел ночью наяву. . .» (Берлин 1936) 422

СОДЕРЖАНИЕ

В. А. Луговской. Вступительная статья В. Ф. Огнева	5
--	---

СТИХОТВОРЕНИЯ

ИЗ СБОРНИКОВ 20—30-х ГОДОВ

Из книги «Сполохи»

1. Ушкуйники	49
2. Отходная	50
3. Дорога	50
4. Начало века	51
5. Повесть	52
6. «Эта ночь проходит не напрасно...»	53
7. Астроном	53
8. Песня	54
9. Спасибо	55
10. «Как рокот железных уключин...»	56
11. Морское прощанье	57
12. Весна («Прости...»)	58

Из книги «Мускул»

13. Молодежь	59
14. Утро республик	60
15. «Как буря на Северный полюс...»	61
16. Делатель вещей	62
17. Проданные стихи (Весна 1927)	63

18. Шаги большого сна	64
19. Рубка под Воронежем	65
20. Перекоп	66
21. Испанка	67
22. Юность (<i>Лодя Гулимов</i>)	67
23. Прощанье с юностью	69
24. Продотряд	70
25. Девичья полночная	72
26. Песня о ветре	72
27. Биография Нечаева (<i>Вариант</i>)	75
28. Чтобы больному спалось (<i>Отступление колчаковцев</i>)	78
29. Капитанский штиль	78
30. Дорога Дарьяла	79
31. Хуло	80

Из книги «Страдания моих друзей»

32. Обращение	82
33. Повелитель бумаги	83
34. Кухня времени	87
35. Пепел	89
36. О друзьях	92
37. Письмо к Республике от моего друга	94
38. Мертвый хватает живого	
1. Суслик	96
2. Обыск сердца	98
39. Штейгер и Лорелея	99
40. Жестокое пробуждение	102
41. Волчий вой	104
42. Лимонная ночь	106
43. Ночь («Постой! Темно. Выключатель сбежал...»)	107
44. Послесловие	110

Из книги «Европа»

45. Интернационал	113
46. Голос	117
47. Стамбул	118
48. «День гнева» (<i>Dies irae</i>)	121

БОЛЬШЕВИКАМ ПУСТЫНИ И ВЕСНЫ

Из первой книги

49. Большевикам пустыни и весны	125
50. Посевная	128
51. Письмо	132

52. Змеевик	134
53. Милиционер Нури	136
54. Земли Красной Звезды	138

И з в т о р о й к н и г и

55. Сын кулябского нищего	141
56. Басмач	147
57. Съезд	150
58. Хельманжоу	153
59. Жизнь («Ночь глуха...»)	157

И з т р е т ь е й к н и г и

60. Возвращение	160
61. Степь	161
62. Ночь Фархада	163

И з ч е т в е р т о й к н и г и

63. Баллада о пустыне	164
64. Вечерний костер	167

ИЗ КНИГИ «ЖИЗНЬ»

65. Красные чашки	170
-----------------------------	-----

ИЗ КНИГИ «КАСПИЙСКОЕ МОРЕ»

66. «Сивым дождем на мои виски...»	173
67. Синий жук	175
68. Песенка	177
69. Девушка моет волосы	179
70. Первый луч	181
71. Полевой стан	182
72. Ночлег	183
73. «Ты руку на голову мне положила...»	185
74. Мужество и нетерпенье	185

ИЗ СБОРНИКОВ 40—50-х ГОДОВ

75. Рассвет	187
76. На улице дождь	189
77. Вставайте, люди русские! (Песня из кинофильма «Александр Невский»)	191
78. Апрель	191

79. Курсантская венгерка	192
80. Лозовая	193
81. Конек-горбунок	196
82. Зеленый маячок	197
83. «Ты давно уж разлюбила...»	198
84. «Не от любви...»	199
85. «Поманила пальцем...»	199
86. Остролистник	200
87. Прощание	201
88. Пила	203
89. Шаги	204
90. Горы	205
91. «Тот чудесный переулочек...»	206
92. Мальчики играют на горе	207
93. Медведь	208
94. Колыбельная	209
95. Полночь	211
96. Другу	212
97. «Перекресток. Красный светофор...»	212
98. Листопад	214
99. Платок Этьенетты	216
100. Сон	218
101. Барсук	219
102. Снегурочка	220
103. Уфа	221
104. Журавлиная ночь	222

СОЛНЦЕВОРОТ

Весна

105. Гуси	226
106. Вот тогда	227
107. Юность	228
108. Зяблик запел	228
109. Веснянка	229
110. Обходчик	232
111. Льва Толстого, 4	233
112. Восток	235

Лето

113. Белая ночь	239
114. Середина лета	240
115. Гроза	241
116. Гуниб	243
117. Далекий привет	244
118. Подкова счастья	245
119. Заря	247

О с е н ь

120. Звезды осени	248
121. Московское небо	249
122. Дочери	250
123. На Лисьей горке	251
124. Цирк Шапито	252
125. Чимган	253
126. Кондо-озеро	254

З н и м а

127. Фотограф	258
128. Каблуки («Черная, холодная...»)	259
129. Олень	261
130. Колыбельная с черными галками	262
131. Свет на землю	264
132. Звезда	265
133. В сельской школе	265

П а м я т и д р у г а

134. Сердце	268
135. На смерть друга	272
136. Бревенчатый дом	274
137. Прошное	276

В р е м я

138. Та, которую я знал	277
139. «Царь Эдип»	280
140. Двадцать шесть	284
141. Ночь весны	287

С И Н Я Я В Е С Н А

142. Синяя весна	292
143. Ночной патруль	296
144. Баллада о Новом годе	299
145. Тревога	303
146. «Тебя давно уж нет на свете...»	305
147. На бульжной мостовой	306
148. Нэпман Звавич	310
149. Петровский парк (1929)	314
150. Другьям тридцатого года	318
151. Майская ночь	322
152. «Дубы шумят...»	323

153. «Такая ночь...»	324
154. Костры	325
155. «Дай мне руку...»	328

СЕРЕДИНА ВЕКА

156. «Передо мною середина века...»	329
157. Сказка о дедовой шубе	331
158. Как человек плыл с Одиссеем	338
159. Новый год	345
160. Эфемера	355
161. Дербент	370
162. Сказка о печке	379
163. Обычная гостиница	385
164. Сказка о том, как человек шел со смертью	392
165. Лондон до утра	398
166. Пер-Лашез	413
167. Белькомб	417
168. Берлин 1936	422
169. Могила Абу-Муслима	432
170. Двенадцать ночи	443
171. Сказка о сне	454
172. Москва. Бомбардировочные ночи	464
173. Первая свеча	473
174. Город снов	483
175. Поэма о вещах	494
176. Смерть матери	499
177. Снег	504
178. Баку! Баку!	512
179. Москва	525
180. Юность	536

ПОЭМЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В КНИГУ

181. Сказка о зеленых шарах	543
182. Дорога в горы	547
183. Каблуки («Всю ночь горел один огонь на взморье...»)	561
В а р и а н т ы	567
П р и м е ч а н и я	591
А л ф а в и т н ы й у к а з а т е л ь с т и х о т в о р е н и й и п о э м	624

Луговской
Владимир Александрович
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель»,
1966 г. 640 стр.
Тем. план вып. 1966 г. № 415.

Редактор *Г. М. Цурикова*
Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *М. А. Ульянова*
Корректор *З. Н. Петрова*

Сдано в набор 2/II 1966 г. Подпи-
сано в печать 14/IV 1966 г. Бумага
84×102¹/₂ № 1. Печ. л. 20,0 + 3 вкл.
(33,91). Уч.-изд. л. 34,39.
Тираж 25 000 экз. Заказ № 257.
Цена 2 р. 02 коп.

Издательство
«Советский писатель».
Ленинградское отд.
Ленинград, Невский пр., 28.

Ленинградская типография № 5
Главполиграфпрома Комитета
по печати при Совете Министров
СССР. Красная ул., 1/3.

«БИБЛИОТЕКА ПОЭТА»

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

Б о л ь ш а я с е р и я

ВАСИЛИЙ МАЙКОВ

Н. М. КАРАМЗИН

В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР

И. СУРИКОВ И ПОЭТЫ-СУРИКОВЦЫ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

ПОЭТЫ «САТИРИКОНА»

ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ

И. УТКИН

М. СВЕТЛОВ

В. САЯНОВ

БОРИС КОРНИЛОВ

«ЧАСТУШКА»

«БИБЛИОТЕКА ПОЭТА»

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

М а л а я с е р и я

ШОТА РУСТАВЕЛИ

АБАЙ

«ПОЭТЫ-ПЕТРАШЕВЦЫ»
